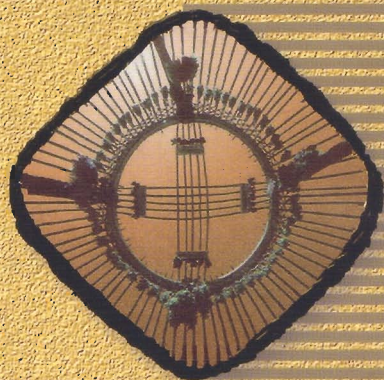




Н. Н. Крадин
Кочевники
Евразии





Николай
Крадин

Н. Н. Крадин родился в 1962 г. в Бурятии. После окончания исторического факультета Иркутского государственного университета с 1985 г. работает в Институте истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения РАН во Владивостоке. Доктор исторических наук (1999), профессор (2001). Автор более 250 научных работ на русском, английском, японском, корейском и китайском языках, из них – 11 коллективных книг и 6 мо-

нографий, в том числе таких известных работ, как “Кочевые общества” (1992), “Империя Хунну” (1996, 2-е изд. 2002), “Политическая антропология” (2001, 2-е изд. 2004), “Монгольская империя” (2006, в соавторстве с Т. Д. Скрынниковой). Научные интересы связаны с изучением кочевников Евразии. Участник многих археологических и этнографических экспедиций в Монголии, Сибири и на Дальнем Востоке России.

R. B. SULEIMENOV
INSTITUTE OF ORIENTAL STUDIES
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN



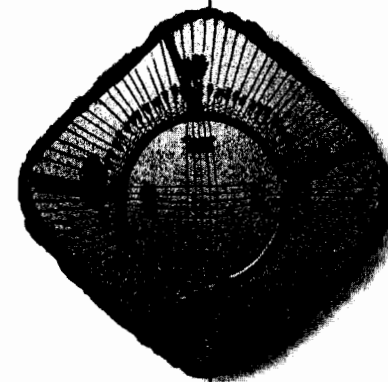
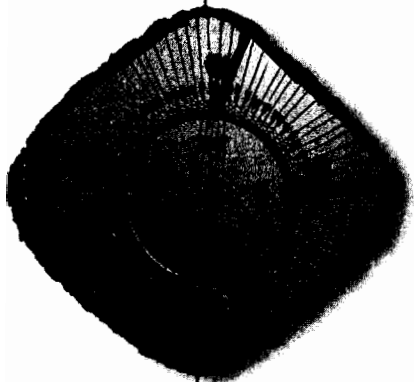
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
ИМЕНИ Р. Б. СУЛЕЙМЕНОВА
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

N. N. Kradin
**The Nomads
of Eurasia**

Н. Н. Крадин
**Кочевники
Евразии**

Almaty "Daik-Press" 2007

Алматы "Дайк-Пресс" 2007



*Утверждено к печати
Ученым советом
Института востоковедения
им. Р. Б. Сулейменова МОН РК*

*РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
“КАЗАХСТАНСКИЕ ВОСТОКОВЕДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ”:*

И. Н. Тасмагамбетов (председатель),
М. Х. Абусейтова (зам. председателя),
Ю. Г. Баранова, Б. А. Казгулов, Б. Е. Кумеков,
А. К. Муминов (Казахстан);
Б. М. Бабаджанов (Узбекистан);
С. Г. Кляшторный (Россия);
А. М. Хазанов (США);
Винсент Фурньо (Франция)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Замысел этой книги родился во время международной конференции “Феномен кочевничества в истории Евразии. Номадизм и развитие государства”, которая проводилась по инициативе Н. Э. Масанова в Алматы в декабре 2005 г. В процессе обсуждения проблем труднодоступности научной литературы на постсоветском пространстве директор Института востоковедения М. Х. Абусейтова и директор издательства “Дайк-Пресс” Б. А. Казгулов предложили мне переиздать мою депонированную в 1987 г. книгу о кочевниках. Несмотря на столь специфический способ введения в научный оборот, эта книга получила определенную известность и достаточно часто цитировалась в кочевниковедческой литературе. Данная работа вышла почти двадцать лет назад (и еще каких двадцать лет!), и публиковать ее без каких-либо изменений было бы очень неосмотрительно. Именно поэтому у меня возникла мысль сделать работу, которая отражала бы трансформацию собственных взглядов после публикации достаточно важной для меня книги “Кочевые общества” (1992 г.).

Данная монография вышла в тот период, когда страна переживала тяжелые экономические времена. Она была опубликована довольно небольшим тиражом и поэтому труднодоступна для коллег. В этой работе я попытался творчески развить некоторые направления западного марксизма и сформулировать концепцию особого пути социальной эволюции кочевников-скотоводов в рамках марксистского видения исторического процесса. Кроме того, я

ревизионистски подошел к некоторым фундаментальным параметрам марксистской теории. Впрочем, с научной точки зрения это было уже не актуально. Историки оказались в такой ситуации, когда отпала необходимость смотреть на мир только посредством марксистской методологии. Мы находились перед открывающимися новыми перспективами. Именно тогда у меня сложилось представление о том, что исторический процесс стало возможным изучать и интерпретировать в рамках различных теоретических подходов.

Это не значит, что я отказываюсь от того, что написано в работах 1987–1992 гг. Напротив, мне и сейчас кажется, что это было действительно новое слово в марксистской теории. Я могу судить об этом по доброжелательному отклику Э. Геллнера, который написал мне в ответном письме, получив “Кочевые общества”, что данная работа, по его мнению, свидетельство глубокого потенциала творческого марксизма. Однако сейчас мне более интересно смотреть на исторический процесс и природу кочевых обществ через другую сторону призмы. За эти полтора десятилетия я написал большое количество работ, где пытался использовать для описания номадизма неэволюционистские парадигмы. Данная книга в некоторой степени отражает этот взгляд на степной мир. В настоящее время меня более интересует сравнительная теория цивилизаций, история повседневности и мир-системный подход. Надеюсь, что у меня будет возможность предложить свое видение мира кочевников, исходя из перечисленных выше методологических подходов.

Я начинал изучение кочевых обществ как теоретик и историограф. Образование я получил на историческом факультете, где в течение пяти лет нас учили в первую очередь работать с письменными источниками. В дальнейшем эти навыки пригодились в процессе работы над кандидатской диссертацией, где были разделы, посвященные социальной истории киданей и ранних монголов, и в ходе работы над книгой о хунну. Еще в конце 1980-х гг. Г. Е. Марков настоятельно советовал мне съездить в этнографическую экспедицию, чтобы я сам смог увидеть мир номадов. Несколько позднее, при содействии А. М. Хазанова, я расширил тематику своих исследований до изучения трансформационных процессов в обществах кочевников нового и новейшего времени.

Все это стимулировало меня заняться полевой этнографией кочевых и скотоводческих обществ. Потом благодаря поддержке

член-корреспондента РАН Б. В. Базарова я оказался в числе участников международной экспедиции ЮНЕСКО по Монголии в 2001–2002 гг. Это были незабываемые поездки. Только тот, кто был вынужден изучать объект своего исследования по литературным источникам, сможет понять мои чувства, когда я впервые пересек российско-монгольскую границу. И хотя сейчас я ежегодно бываю в Монголии, две первые поездки — самые памятные. В моем личном архиве лежат полевые дневники этих экспедиций. Я думаю, что придет время и для их публикации.

Мне кажется, что только комплексный подход к кочевничеству — с позиций истории, культурной антропологии и археологии — позволит понять суть номадизма как историко-культурного явления. Узкая специализация в пределах какой-то одной из наук не дает возможность осуществить широкий, комплексный охват изучаемого объекта. Я делаю все возможное, чтобы следовать изложенному здесь принципу. Благодаря дружеской помощи директора Института изучения кочевых цивилизаций ЮНЕСКО Б. Энхтувшина удалось расширить круг источников нашего исследования. В 2004 г. совместная монгольско-российская экспедиция приступила к археологическим исследованиям памятников киданьского времени. Несмотря на начало долговременного проекта, нами уже получены интересные результаты, показывающие, что роль городов в кочевых империях номадов Евразии должна быть серьезно переосмыслена. Со временем желательно расширить и ареалы исследования, и хронологию изучаемых памятников.

В то же время я убежден, что, только используя разные парадигмы, можно глубже понять суть изучаемого явления. Рассматривая объект всего лишь в одной плоскости, понимаешь, что может наступить определенный предел, когда ты уже не способен сказать ничего нового. В этой ситуации необходимо менять либо угол зрения, либо объект исследования. Я старался следовать первому принципу. Именно поэтому нет никакого противоречия в моих ранних работах: в них я следовал творческому марксизму, а позднее пытался применить неэволюционистскую парадигму и другие теории. Я рассматриваю это не как кардинальное изменение моих научных взглядов, а всего-навсего как смену угла обзора, под которым мы смотрим на предмет наших изысканий.

Несколько слов о структуре книги. Данная работа написана в первую очередь для моих казахстанских коллег, которым из-за разорванности научных коммуникаций на постсоветском пространстве мои исследования после 1991 г., как правило, были недоступны. По этой причине в монографию отобраны те статьи и доклады, имеющие, как мне кажется, важное историографическое, теоретическое и методологическое значение. В некоторых из них сделаны определенные изменения и сокращения. Кроме того, при отборе я старался следовать сформулированному выше принципу, чтобы в работу были включены материалы, характеризующие автора не только как теоретика, но и как историка, этнолога-антрополога и археолога. Насколько замысел удался, судить читателям.

Идея этой работы с большим энтузиазмом была поддержана Н. Э. Масановым. После конференции (декабрь 2005 г.) в г. Алматы мы встретились с ним на международном симпозиуме в Париже. Бродили по уютным парижским улочкам, обменивались новыми идеями, строили планы и обсуждали будущие совместные книги. Кто бы мог тогда подумать, что это наша последняя встреча. Когда я пишу эти строки, его уже нет. Это чудовищная несправедливость, горькая утрата не только для казахстанской науки и казахстанского общества, но и для мирового кочевниковедения. Наука потеряла своего талантливого Служителя, а страна — верного Сына и настоящего Гражданина (еще не пришло время полностью понять и осознать горечь этой утраты). Он принадлежал к поколению “детей перестройки” — поколению Романтиков и Мечтателей. Он хотел сделать Мир лучше и чище, искал Истину, он будоражил друзей и врагов и не оставлял никого равнодушным. Именно таким — верным Ланцелотом Правды — он и останется в нашей памяти навсегда.

7 октября 2006 г.

Часть I

ИСТОРИОГРАФИЯ НОМАДИЗМА

КОЧЕВНИЧЕСТВО В СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЯХ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА*

Кочевничество в частности, как и Восток в целом, относится к тем составляющим всемирно-исторического процесса, которые с трудом вписываются в общепринятые (и, надо признать, евроцентристские по своей сути) периодизации истории. Исторически сложилось, что наибольший вклад в обсуждение этой проблемы внесли отечественные и зарубежные марксистские авторы. В ходе так называемой дискуссии о “кочевом феодализме” были высказаны следующие основные точки зрения:

1. Концепция *предклассового общества* у кочевников (Марков, 1976; Kopig, 1981; Семенов, 1982; Калиновская, 1989; Павленко, 1989: 86–90; Шнирельман, 1989: 404 и др.).
2. Концепция *раннего государства* у кочевников (Хазанов, 1975; Першиц, 1976; Escedy, 1981; 1989; Khazanov, 1981; 1984; Таскин, 1984: 3–62; Бунятян, 1995 и др.).
3. Различные интерпретации теории *кочевого феодализма* (Владимирцов, 1934; Козьмин, 1934; Потапов, 1954; Шахматов, 1962; Толыбеков, 1971; Федоров-Давыдов, 1973; Семенюк, 1974; Нацагдорж, 1975; Петров, 1981; Златкин, 1982; Плетнева, 1982; Полянский, 1982; Wojna, 1983; Кшибеков, 1984; Маннай-Оол, 1986 и многие др.).

* Кочевничество в современных теориях исторического процесса // *Время мира. Альманах. Вып. 2. Структуры истории.* Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. С. 369–396.

4. Концепция *номадного* способа производства (Марков, 1967; Bonte, 1981; 1990; Дигар, 1989; Андрианов, Марков, 1990; Масанов, 1991; 1995 и др.).

Особняком среди исследований отечественных кочевниковедов всегда стояли работы Л. Н. Гумилева, который практически был единственным и в условиях ортодоксального марксистского диктата пытался интерпретировать *номадизм* в рамках классической цивилизационной теории.

В первое “постмарксистское” десятилетие дискуссия продолжалась, но достаточно вяло, что, впрочем, неудивительно. Появилась возможность заниматься другими интересными проблемами, использовать в своих исследованиях иные научные парадигмы и подходы. В основном проблема продолжала обсуждаться в русскоязычной литературе. При этом сохранились в той или иной степени все основные высказывавшиеся ранее точки зрения. Так, часть исследователей по-прежнему придерживается *феодалной* интерпретации кочевых обществ (Матвеев, 1993; Авляев, 1994 и др.). К этой же точке зрения относятся и сторонники объединения всех послепервобытных доиндустриальных обществ в рамках единой феодальной стадии (Кобищанов, 1995). Другие авторы поддерживают мнение о догосударственном, *предклассовом* характере обществ кочевников-скотоводов (Фурсов, 1995; Скрынникова, 1997 и др.). Третьи пишут о складывании у кочевников *ранней государственности* (Трепавлов, 1993; Кляшторный, Савинов, 1994; Кычанов, 1997). Некоторые находят сходство кочевых империй с *восточными деспотиями* (Семенов, 1997: 19, 21)*.

* Ю. И. Семенов (1993: 205, прим. 24) некорректно упрекает меня в искажении его точки зрения, ссылаясь при этом на совместную с С. И. Вайцштейном рецензию на книгу Г. Е. Маркова “Кочевники Азии”, опубликованную в журнале “Советская этнография” (1977. № 5). Действительно, в этой работе он сопоставил кочевые империи с земледельческими (восточными) деспотиями. Однако в статье 1982 г. он даже не намекнул на сходство кочевых империй с его “политарным” способом производства. Именно поэтому, с моей точки зрения, было вполне естественным сослаться на последнюю публикацию, кстати, единственную работу Семенова, специально посвященную кочевникам-скотоводам. К точке зрения 1977 г. Семенов вернулся уже после публикации критикуемых им моих работ (1993: 205; 1997: 19, 21). Впрочем, данный автор столько раз менял свои взгляды по различным поводам, что ему самому немудрено было запутаться.

Однако наибольшее обсуждение вызвали попытки обоснования *особого пути развития* обществ кочевников-скотоводов. Предмет дискуссии сконцентрировался вокруг вопроса, что является основой специфичности *номадизма* — внутренняя природа скотоводства, т. е. база так называемого *номадного* способа производства, или же особенности внешней адаптации кочевников к земледельческим “мир-империям” (Масанов, 1991; 1995; Крадин, 1992; 1996; Калиновская, 1994; 1996; Марков, 1998 и др.).

В то же время в условиях преодоления формационного монизма появились публикации, в которых делается попытка рассмотреть кочевничество с точки зрения *цивилизационного подхода* или *евразийской парадигмы* (Буровский, 1995; Урбанаева, 1995; Кульпин, 1998 и др.). Опубликование методологически новых работ стоит только приветствовать.

На Западе (исключая кочевниковедов-неомарксистов) проблема периодизации кочевничества в контексте всемирной истории не настолько популярна. В трудах теоретиков модернизации и неэволюционистов проблема социальной эволюции кочевников-скотоводов не является широко обсуждаемой. В обобщающих эссе по культурной эволюции главное внимание уделено процессам роста аграрных культур и цивилизаций (Polanyi, 1968; Service, 1971; 1975; Adams, 1975; Johnson and Earle, 1987; Sanderson, 1990; 1995 etc.). Редкие авторы включали кочевников в свои схемы культурной интеграции (Lenski, 1966; Sahlins, 1968; Hollpice, 1986). Пожалуй, единственное исключение — книга Л. Крэдера (Krader, 1968) о происхождении государства; симпатии этого автора к кочевниковедческой проблематике были обусловлены собственными научными интересами.

Несколько более популярна тема кочевников в трудах “мир-системщиков” (см., напр.: Chaze-Dunn, 1988; Abu-Lughod, 1989; Hall, 1991 etc.), но и здесь большинство проблем находится пока в стадии предварительного обсуждения. В исследованиях же западных авторов, специально занимавшихся проблемами социокультурной эволюции *номадов*, подчеркивается, как правило, отсутствие у кочевников внутренних потребностей к созданию прочных форм государственности, циклический характер политических процессов, появление перспектив к устойчивому развитию только в случае

симбиоза с земледельцами (*Lattimore, 1940; Bacon, 1958; Irons, 1979; Kwanten, 1979; Khazanov, 1984; Fletcher, 1986; Barfield, 1989; 1992; Голден, 1993* и др.).

В данной главе мне хотелось бы остановиться на анализе некоторых новых работ и концепций, появившихся в последние десятилетия, рассмотрев ряд вопросов. 1. Как кочевники вписываются в классические однолинейные периодизации исторического процесса? 2. Можно ли говорить об особой кочевнической цивилизации? 3. Можно ли говорить о способности кочевников к созданию собственной государственности или же это были структуры, подобные вождеству? 4. Как интерпретируется кочевничество в рамках многолинейной теории эволюции? 5. Какое место занимают кочевники в мир-системном анализе? 6. Можно ли считать империи кочевников мир-империями? Относятся ли они к “периферии” или являются “полупериферией”? Рассмотрим данные вопросы.

Марксистские периодизации

Как уже было сказано, наиболее активно вопрос о специфике кочевых обществ и месте кочевничества в периодизации всемирной истории наиболее активно обсуждался в марксистской и особенно советской литературе (*Федоров-Давыдов, 1973; Хазанов, 1975; Марков, 1976; 1989; 1998; Першиц, 1976; 1994; Коган, 1981; Халиль Исмаил, 1983; Khazanov, 1984; Gellner, 1988: 92–114; Попов, 1986; Крадин, 1987; 1992; Васютин, 1998* и др.).

Дискуссия прошла несколько этапов. До середины 1930-х гг. были высказаны практически все основные точки зрения на природу кочевых обществ (от первобытно-родовых до развитых феодальных). С 1934 г. утверждается так называемая теория кочевого феодализма. Было выдвинуто несколько версий этой теории, но постепенно возобладало упрощенное сталинское понимание степного феодализма. С середины 1950-х гг. начинаются внутренние брожения — высказываются новые интерпретации феодализма у кочевников, согласно которым главным средством производства в степных обществах являлся скот. В годы “оттепели” появились и другие точки зрения: мнение об особом “кочевническом” способе производства, об “азиатском” способе производства у кочевников и пр.

С 1970-х гг. центр полемики переместился в сторону выяснения вопроса, могли ли кочевники перешагнуть барьер государственности и, согласно мнению многих ученых, даже создать феодализм или же им было суждено оставаться на предклассовой стадии развития. Постепенно возобладал плюрализм взглядов на природу кочевых обществ (см. выше), характерный и для наших дней.

Подводя итоги дискуссии, длившейся почти три четверти века, следует отметить, что для марксистской теории истории кочевые общества представляют столь же логически трудноразрешимую проблему, что и “азиатский способ производства”. Социальную структуру кочевников трудно интерпретировать в категориях ортодоксального исторического материализма. Почему при высоко развитой частной собственности на средства производства (скот) кочевники в сравнении с оседло-земледельческими обществами выглядят более эгалитарными, чем это должно быть теоретически? С одной стороны, нельзя назвать первобытными общества, в которых есть частная собственность и лица, аккумулировавшие ее в огромных размерах, а также определенные типы эксплуатации. С другой стороны, такая форма социально-политической организации кочевников, как кочевая империя, вряд ли может быть классифицирована в качестве “военной демократии” или племенного союза.

Если говорить о так называемой рабовладельческой формации, то факты показывают, что отношения данного типа существовали у кочевников во все эпохи. Но ни в один из периодов истории кочевничества рабство не получило в степи широкого распространения. Во-первых, в кочевых скотоводческих обществах большая часть потребностей в рабочей силе удовлетворялась за счет внутренних ресурсов, благо малоимущие кочевники имелись всегда. Во-вторых, кочевой образ жизни — не лучший способ надзора за рабами, всегда думавшими о побеге. В-третьих, концентрация рабов в одном месте по типу латифундии опасна восстанием, поскольку степняки кочуют преимущественно небольшими аилами. Рабы в кочевых обществах (в основном женщины) использовались только в домашнем хозяйстве, а также поставлялись на работоторговые рынки (*Нибур, 1907: 237–265; Семенов, 1958; Хазанов, 1975: 133–148; Кляшторный, 1985; Крадин, 1992: 100–111* и др.).

Некоторая часть малоимущих и лишенных скота кочевников могла подвергаться эксплуатации со стороны более зажиточных сопле-

менников путем привлечения их в качестве работников-батраков или посредством передачи беднякам некоторого количества скота на выпас (так называемый *саун*). Существование у кочевников этого уклада послужило основой для формирования теории кочевого феодализма.

Однако данная теория была сформирована в основном на материалах нового и новейшего времени, когда кочевничество, не способное конкурировать с предындустриальными цивилизациями, пришло в упадок и его традиционная социально-экономическая структура деформировалась. Но даже в период кризиса кочевничества данный уклад не был господствующим (за исключением, быть может, редких случаев), ни тем более единственным. К тому же, как выяснилось, исследователи первой половины XX столетия, придерживавшиеся теории кочевого феодализма, во многом модернизировали изучаемые ими отношения (Толыбеков, 1971; Марков, 1976; Крадин, 1992; Масанов, 1995 и др.).

Наконец, я глубоко убежден, что о феодализме как об особой формации с присущими ей "сеньориальным способом производства", вассалитетом, рыцарской моралью, типом христианской ментальности и пр. можно говорить лишь применительно к средневековой Европе. Расширительное толкование термина "феодализм" лишает его содержательной нагрузки. Какой смысл в его использовании, если при этом уничтожаются все структурные различия между Западом и Востоком, между кочевниками и земледельцами?

Имелись и более серьезные методологические проблемы. Как интерпретировать неподвижный, подчас застойный кочевничества в рамках однолинейной периодизации пяти способов производства? Как, исходя из принципа соответствия "базиса" и "надстройки", объяснить возникновение, расцвет и гибель степных империй? Экономический "базис" кочевых скотоводческих обществ оставался неизменным: у современных масаев и арабов он такой же, что и у древних хунну и скифов. Однако если экономический "базис" не менялся, то и "надстройка" должна была оставаться неизменной. В то же время "надстройка" кочевых обществ не сохраняла своего постоянства подобно базису. Номады то создавали гигантские степные империи, то распадались на отдельные ханства или акефальные линиджные образования, а это противоречило принципам марксистской теории (Gellner, 1988: 93–97, 114).

Защитники теории кочевого феодализма и "пятичленной" схемы формаций попросту закрыли глаза на различие возможностей и пределы роста между кочевыми и земледельческими обществами, тем самым существенно завысив уровень развития "базиса" кочевничества. Так возникло ошибочное деление на "ранних" (древних дофеодальных и рабовладельческих) и "поздних" (средневековых феодальных) кочевников, хотя древние и средневековые империи кочевников были гораздо больше по численности и сложнее в организационной иерархии, чем ханства и племенные конфедерации нового и рубежа новейшего времени.

Сторонники концепции предклассового развития кочевников выступили с критикой теории кочевого феодализма. Как истинные творческие марксисты они опирались на главный постулат теории К. Маркса — детерминант материального фактора. Поскольку уровень развития "базиса" кочевников в течение времени практически не изменился, то первобытный, догосударственный "базис" кочевых обществ должен был предполагать и первобытную "надстройку". Следовательно, номады в общественной эволюции достигали самое большее позднепервобытной ("дофеодальной", "предклассовой" и т. д.) стадии.

Последнее решение в дискуссии отечественных кочевниковедов, несомненно, явилось шагом вперед, так как большинство обществ кочевников действительно не имели никакого отношения к феодализму. Однако вывод о предклассовой сущности кочевничества в ряде кочевниковедческих теорий привел к занижению уровня развития "надстройки" ряда пасторальных обществ — степных империй. Эти империи также были объявлены предгосударственными и в соответствии с диамазовскими категориями "случайного и необходимого" обозначены как временные и эфемерные образования. Но настолько ли эфемерными выглядят кочевые империи в сравнении с тоталитарными государствами XX столетия?

Цивилизационные альтернативы марксизму

В годы перестройки и постсоветское время немалое число отечественных исследователей начали пропагандировать цивилизационный подход, полагая, что он-то и сможет стать действенным

лекарством от догматического советского марксизма. При этом в большинстве работ горе-теоретиков предлагалось либо переместить спектр исследований с “базиса” (т. е. изучения социально-экономических отношений, классовой структуры и пр.) на “надстройку” (идеологию, религию и т. д.), либо призывалось вернуться к схеме “дикость — варварство — цивилизация” (А. Фергюссон, Л. Г. Морган, Г. Чайлд и др.).

Последний подход представляет собой лишь одну из модификаций стадиялистских интерпретаций всемирной истории, рассматривающих исторический процесс как последовательное развитие стадий. Понятие “цивилизация” здесь по сути дела тождественно термину “стадия постпервобытного общества” (в марксистской терминологии — “формации”). В некоторых работах призывалось просто переименовать “формации” или “стадии” в “цивилизации”; очень характерный пример — учебник последнего поколения для российских школьников “История цивилизаций” В. М. Хачатурян. В целом данный подход не предполагает необходимости разработки специальной методологии цивилизационных исследований. Интерпретация производится в терминологии существующих теоретических парадигм (различные версии марксизма, теории модернизации, неэволюционизм и пр.).

Применительно к кочевничеству главная проблема, как правило, сводится к вопросу, способны ли кочевники самостоятельно миновать барьер “варварства” и шагнуть в “цивилизацию”. Особенно активно эту идею отстаивал А. И. Мартынов. По его мнению, археологическим свидетельством этой цивилизации являются “пышные” монументальные погребения кочевой элиты с “колоссальными” затратами, что свидетельствует о значительной социальной стратификации в обществе, концентрации единоличной власти, высокой культуре данных народов (Мартынов, 1989а; 1989б и др.). Как ни странно, но данная концепция вызвала большую полемику среди исследователей. Она обсуждалась на специальном совещании, материалы которого опубликованы в отдельном сборнике “Краткие сообщения Института археологии” (1993. № 207).

Гораздо привлекательнее с теоретической точки зрения идея об особом способе производства у кочевников. Она была выдвинута в 1967 г. Г. Е. Марковым в его докторской диссертации,

посвященной кочевникам Азии, и по праву должна входить в ряд наиболее интересных теоретических построений марксистской исторической мысли наряду с такими яркими идеями, как концепции “дофеодального периода” А. И. Неусыхина, “африканского способа производства” К. Кокри-Видрович, “даннического способа производства” С. Амина и др. Согласно Маркову, характерными для данного способа производства чертами являлись племенная структура, частносемейная собственность на скот, социальная дифференциация, основанная на имущественном расслоении и привилегированном положении военных предводителей. В виде подчиненных укладов он включал в себя элементы других общественных отношений (Марков, 1967: 7).

Нетрудно заметить, что большинство выделенных Марковым признаковномадного способа производства (племенная структура, коллективная собственность на пастбища, имущественная (но не классовая) дифференциация, неразвитость внутренних форм эксплуатации, поголовное вооружение народа и пр.) в большей степени характеризуют не столько *кочевое*, сколько *предшествующее феодализму* общество (там же, 7, 30). Возможно, это обусловлено тем, что данная диссертация была написана главным образом в связи с критикой теории “кочевого феодализма”. Большая часть текста посвящена обоснованию авторской позиции, согласно которой общественные отношения кочевников не могут считаться феодальными (вне всякого сомнения, это одно из самых солидных в кочевниковедении исследований на эту тему). Свою позицию Марков проиллюстрировал выразительным этнографическим материалом, но теоретического обоснования особого способа производства в диссертации не сделано. Поэтому неудивительно, что на основании практически одной и той же фактологической базы (в 1976 г. вышла книга, которая, по сути, является сокращенным текстом диссертации 1967 г.) Марков пришел к совершенно разным теоретическим выводам. Если в 1967 г. он выступал за особый способ производства у кочевников, то после публикации известных теоретических работ А. И. Неусыхина (1968) Марков пишет о “военной демократии” у кочевников, большом сходстве структурномадов с тем, что Неусыхин называл “дофеодальным периодом” (1970: 78; 1976: 308). После того как в 1970–1980 гг. в отечест-

венной историографии термин “дофеодальный период” постепенно вытеснялся терминами “предклассовое” и “раннеклассовое” общество, Марков все увереннее склонялся к характеристике обществ кочевников как предклассовых. При этом он нередко ссылался на свою монографию “Кочевники Азии”, что, в принципе, с некоторыми оговорками допустимо: поскольку феодализм — это классовое общество, то “дофеодальный” период тоже является “предклассовым” (Калиновская, Марков, 1987: 58, прим. 12; Марков, 1989: 66, 74, прим. 66).

Независимо от Маркова, но почти на десять лет позже идею об особом, “номадном способе производства” (НСП) выдвинул французский антрополог П. Бонт. Он воспользовался марксовой моделью “германской” формы Gemeinwesen. Характерной чертой НСП, по Бонту, являлось существование развитой внутренней стратификации, базирующейся на частной собственности на основные средства производства (скот), однако без создания развитой политической системы и институализированной власти (Bonte, 1975; 1978; 1981; 1990; Дигар, 1989 и др.). К сожалению, эти идеи оказались незамеченными отечественными кочевниковедами.

Возвращение идеи НСП в лоно отечественной науки пришлось на последние годы перестройки. Обратившись к этой идее вновь, Марков отнес НСП вместе с африканским, дофеодальным европейским, патриархально-пастушеским способами производства к единой “варварской” формации (или, иными словами, к стадии “предклассового” общества). К сожалению, Марков, как и ранее, не раскрыл сущности НСП и его отличий от других социально-экономических форм. Аргументация сведена в основном к ссылкам на ряд цитат К. Маркса (Андрианов, Марков, 1990; Марков, 1998).

Более обстоятельно концепция НСП была изложена в работах выдающегося казахского нomaдолога Н. Э. Масанова. Он также рассматривал НСП в более широком историческом контексте — в рамках единой аграрной стадии исторического процесса. Это представляет собой, по-видимому, нечто подобное “традиционному” обществу О. Тоффлера, “единой феодальной стадии” Ю. М. Кобищанова или “сословно-классовой формации” В. П. Илюшечкина. В рамках этой стадии он говорил о номадной альтернативе — по сути дела, речь идет об особой цивилизации кочевников (приме-

чательно, что и книга называется “Кочевая цивилизация казахов”). Однако Н. Э. Масанов останавливался и на структурных особенностях выделенного им способа производства. Главная специфическая характеристика НСП — наличие биологических средств производства, которые вследствие сильного воздействия экологического фактора не поддаются качественному морфологическому преобразованию, что ограничивает перспективы развития этой социально-экономической формы. Среди других черт НСП Масанов отметил дисперсную организацию материального производства, естественные пределы концентрации средств производства, сезонную динамику трудовых процессов и форм социальной организации и т. д. (1991: 39–40; 1995: 222–224).

Взгляды Маркова на НСП конкретизированы его постоянным соавтором последних десятилетий К. П. Калиновской. Она пишет: “Таким образом, к настоящему времени сформировался научный подход к трактовке кочевых обществ как **самостоятельного хозяйственно-культурного типа и, соответственно, способа производства** (здесь и ниже выделено мной. — Н. К.), который основан на экстенсивном подвижном пастбищном скотоводстве — **главном способе жизнеобеспечения** (не исключающем второстепенных видов занятий в этих обществах), общинно-племенном владении и пользовании пастбищами и водными источниками, частной семейной собственности на скот. При этом в обществе номадов могло возникать достаточно сильное имущественное и социальное расслоение, что, однако, не вело к возникновению у них монополярной наследственной сословной собственности на средства производства. В тех же случаях, когда таковая возникала, это означало, что кочевники переходят к оседлости, **изменяется их хозяйственно-культурный тип и, соответственно, способ производства**, т. е. в данных случаях это уже не были общества номадов. Для кочевых обществ обязательна общинно-племенная структура, основанная на системе патриархально-генеалогических связей” (1996: 153).

Большая часть перечисленных Калиновской характеристик НСП (частная собственность на скот и племенная на пастбища, имущественная дифференциация и т. д.) совпадает с признаками “кочевнического” СП, выделенными в диссертации Маркова (Марков, 1967: 7). Она также акцентирует внимание не столько

на особенностях кочевого общества, сколько на специфике общества дофеодального, предклассового. Весьма показательно, что Калиновская определяет НСП как “особый способ производства в неклассовых кочевых обществах с патриархально-племенной социальной структурой” (1996: 157).

В концепции Маркова и Калиновской понятие НСП в сущности тождественно понятию “хозяйственно-культурный тип” (ХКТ). С такой интерпретацией понятия “способ производства” трудно согласиться. Разница между “способом производства” и “хозяйственно-культурным типом” очевидна. Феодализм — это особый способ производства, но не ХКТ. Феодализм возможен при нескольких различных ХКТ. Кроме того, едва ли есть смысл в дублировании научной терминологии. Если кочевничество — особый ХКТ (или несколько таких ХКТ), то с этим никто не спорит. Но зачем вводить новый термин НСП?

Кстати говоря, подобные замечания высказывались во французской марксистской антропологии в связи с введением терминов “номадный”, “линиджный”, “этнодеревенский” и прочие способы производства. Все это, по мнению критиков, ведет к размыванию понятия “способ производства”, подмене его содержания понятиями “этнос”, “тип хозяйства”, “конкретное общество” и др. (Sorans, 1986).

Однако это не все. Включение в общий ряд способов производства НСП делает данную классификацию эклектичной, поскольку в ней объединяются элементы, выделяемые по совершенно разным критериям: одни по способу организации производства и/или распределения, а также, как правило, по соответствующему способу эксплуатации (азиатскому, антично-рабовладельческому, феодальному и пр.), по способу добывания пищи (В. П. Илюшечкин называл последние “технологическими” способами производства (1986: 100–106) — здесь есть отличие от ХКТ). Этот методологический недостаток концепции Маркова отмечался многими исследователями (Лашук, 1967: 106–108; Абрамон, 1970: 70; Качановский, 1971: 33–34; Khazanov, 1984: 193; Илюшечкин, 1986: 103; Крадин, 1992: 188).

“Технологические” и “общественные” способы производства — не одно и то же. Первые — это способы, которыми человек получает продукцию (энергию) из природы (охота, собирательство,

скотоводство и т. д.). Вторые — это формы организации общества, посредством которых осуществляется присвоение источников энергии (также производственная деятельность), перераспределение и потребление произведенного продукта. На основе одного “технологического” способа производства или ХКТ могут существовать разные “общественные” способы производства. Согласно рассматриваемой схеме Андрианова и Маркова, например, один ХКТ — плужное земледелие — существовал и в Древней Греции, и в средневековой Европе, и на Востоке, хотя “общественные” способы производства во всех случаях разные: антично-рабовладельческий, феодальный и азиатский (государственный, политарный) соответственно. Таким образом, о номадизме необходимо говорить как о специфической форме экономической деятельности, характерной для засушливых экологических зон, но не как об особом способе производства.

Наконец, вызывает сомнение одна из главных характеристик НСП по Маркову — разделение кочевого общества на два состояния: “общинно-кочевое” и “военно-кочевое”. “В годы войн и больших переселений общественная организация кочевников несколько видоизменилась, приобретая новые черты: военные и политические интересы выступали на первый план, а интересы скотоводческого хозяйства отходили на второй... Значительно усиливалась власть вождей — военных предводителей. Военная, в том числе и десятичная, структура усиливала смешанность племен, но поскольку родственные принципы в общественной организации кочевников играли лишь идеологическую, чисто формальную роль, то временная замена его централизованной организацией при сохранении скотоводческого базиса принципиально ничего не меняла (выделено мной. — Н. К.)... В таких условиях организация скотоводов может быть названа “военно-кочевой”. Результатом усиления военной организации было возникновение так называемых кочевых империй — временных и эфемерных образований, не имеющих собственного экономического базиса” (Марков, 1989: 69–70).

В связи с этим необходимо заметить, что воинственный образ жизни — это важная черта многих кочевых обществ независимо от уровня их политической сложности. Точнее было бы говорить, что для кочевых обществ в одной ситуации (как правило, во внешних контактах) большее значение имела “военная” доминанта,

в других (как правило, во внутренних отношениях) — “общинная” составляющая. Кроме того, далеко не всегда “военное” состояние было “лишь временным”. Мне, например, удалось проследить, что “десятичная” система организации степного войска в Хуннской державе просуществовала как минимум столетие, а то и больше (Крадин, 1996). Думается, нетрудно будет найти немало аналогичных примеров из истории других кочевых обществ Евразии. Тем более неправильно считать, что замена “общинно-кочевое” состояния “централизованной организацией при сохранении скотоводческого базиса принципиально ничего не меняла” (Марков, 1976: 312; 1989: 69–70 и др.).

К. Поппер сравнивал научные теории с рыболовными сетями, которые мы закидываем в “море” эмпирических фактов. Чем меньше ячейки сети, тем больше улов исследователя (1983: 82), тем большее количество фактов способна объяснить его теория. С данной точки зрения ценность концепции НСП не очень высока. Практически все возможные политические формы кочевых обществ попадают в рамки одной модели. Между тем африканские нуэры, например, жили и живут отдельными эгалитарными общинами и кланами, объединенными лишь весьма запутанными генеалогическими родственными связями (Эванс-Причард, 1985). Такая же социальная организация была у древних ухуаней, кочевавших в степях Внутренней Монголии (Крадин, 1993). У туарегов (Лот, 1989), калмыков (Schorkowitz, 1994) и казахов (Масанов, 1995) существовала развитая внутренняя имущественная и социальная стратификация, они консолидировались в племенные конфедерации и вождества численностью в несколько десятков тысяч человек. Хунну, тюрки, монголы представляли собой единую “степную империю”, численностью достигавшую многих сотен тысяч (даже до миллиона и более) кочевников (Barfield, 1992; Крадин, 1996 и др.). Отличия в сложности социально-политической системы между нуэрами и ухуанями, с одной стороны, и хуннами и монголами, с другой — столь же значительны, как велика, например, разница в уровне общественного развития между охотниками-собирающими Калахари и императорским Римом. По этой причине, с моей точки зрения, использование концепции “номадного способа производства” в такой формулировке не представляется продуктивным.

Культурный эволюционизм

Как уже было сказано, основные неозволюционистские теории рассматривали универсальные аспекты изменений в социокультурной эволюции безотносительно к особенностям данных процессов в тех или иных обществах (в том числе и кочевников-скотоводов). Концепция М. Фрида включает четыре уровня: эгалитарное, ранжированное, стратифицированное общества, государство (Fried, 1967). Согласно Сервису, таких уровней больше: локальная группа, община, племя, вождество, архаическое государство и государственная (Service, 1962; 1975). Последняя схема впоследствии неоднократно уточнялась и дополнялась. Из нее, в частности, после нескольких дискуссий было исключено племя как обязательный этап эволюции. Иногда выделялось общество с лидерством бигменов, между “ранним” и “индустриальным” государствами было вставлено “аграрное” государство (см., напр.: Johnson, Earle, 1987).

В своей основе данные теории (как и их модификации) были однолинейными и придерживались традиции вслед за Г. Спенсером определять социальную эволюцию как “переход от относительно неопределенной, рыхлой однородности к относительно определенной, последовательной неоднородности посредством последовательной дифференциации и интеграции” (Carneiro, 1973: 90). Однако современные представления о социальной эволюции, как это показал в своем блестящем обзоре неозволюционизма Х. Дж. М. Классен, намного более гибки. Очевидно, что социальная эволюция не имеет заданного направления. Многие из эволюционных каналов не ведут к росту сложности, барьеры на пути возрастания сложности просто огромны, наконец, стагнация, упадок и даже гибель являются столь же обычными явлениями для эволюционного процесса, как и поступательный рост сложности и развитие структурной дифференциации. Можно согласиться с его определением социальной эволюции как качественной реорганизации общества из одного структурного состояния в другое (Claessen, 1990).

Все сказанное Классеном может быть хорошо проиллюстрировано на примере номадизма. Кочевники много раз объединялись в союзы разной степени сложности, создавали на их основе большие

кочевые империи, которые через некоторое время распадались. Им на смену приходили новые народы, и так повторялось много столетий подряд. Это правило, по всей видимости, не имеет ни временных, ни пространственных исключений.

В то же время есть некоторые проблемы при применении к кочевникам эволюционистских моделей истории. Во-первых, все скотоводческие и кочевые общества представляются более структурированными, чем эгалитарные локальные группы охотников-собираателей. Во-вторых, “чистые” номады не достигали развитой стадии национальной интеграции и цивилизации. По этой причине была предложена иная типология уровней политической сложности, которая предназначена для описания эволюционных процессов в обществах кочевников-скотоводов и в то же время является более частной относительно генеральных схем социальной эволюции:

- 1) акефальные, сегментарные, клановые и племенные образования;
- 2) “вторичное” племя и вождество;
- 3) кочевые империи и “квазиимперские” политии меньших размеров (Kradin, 1996).

Переход от одного уровня к другому мог совершаться как в одну, так и в другую сторону. Пределом увеличения эволюционной сложности являются кочевые империи. Это был непреодолимый барьер, детерминированный экологическими условиями аридных зон Старого Света. При этом важной особенностью эволюции номадизма является несоответствие трансформации политической системы иным критериям роста сложности. Политическая система номадов легко могла эволюционировать от акефального уровня к более сложным формам организации власти и обратно, но такие формальные показатели, как увеличение плотности населения, усложнение технологии, возрастание структурной дифференциации и функциональной специализации, остаются практически неизменными. При трансформации от племенных пасторальных систем к номадным ксенократическим империям происходит только увеличение общей численности населения (за счет включения завоеванного населения), усложняется политическая система и увеличивается общее количество уровней ее иерархии. Всякая последующая эволюция по линии усложнения могла быть связана либо с завоеванием

номадами земледельцев и переселением на их территорию, либо с развитием среди скотоводов седентеризационных процессов в маргинальных природных условиях модернизационными процессами в новое и новейшее время.

С точки зрения антропологических теорий политической эволюции ключевой проблемой является вопрос о том, могли ли кочевники создавать собственную государственность. В политической антропологии XX в. имеются две наиболее популярные теории политогенеза — *интегративная* (Э. Сервис) и *конфликтная* (М. Фрид, марксисты). Согласно первой, вождество и государство возникают как результат преобразования управленческих структур усложняющегося общества. Согласно второй, государство — это организация, предназначенная для стабилизации отношений в сложном стратифицированном обществе (Fried, 1967; Service, 1975; Claessen, Skalnik, 1978; 1981; Cohen, Service, 1978; Haas, 1982; Gailey, Patterson, 1988; Павленко, 1989; Годинер, 1991 и др.).

Однако ни с той ни с другой точки зрения нельзя считать, что государственность была для кочевников внутренне необходимой. Все основные экономические процессы в скотоводческом обществе осуществлялись в рамках отдельных домохозяйств. По этой причине необходимости в специализированном “бюрократическом” аппарате, занимающемся управленческо-редистрибутивной деятельностью, не было. С другой стороны, все социальные противоречия между номадами решались в рамках традиционных институтов поддержания внутренней политической стабильности. Сильное давление на кочевников могло привести к откочевке или применению ответного насилия, поскольку каждый свободный номад был одновременно и воином.

Необходимость в объединении кочевников возникает только в случаях войн за средства существования, организации грабежей земледельцев или экспансии на их территорию, при установлении контроля над торговыми путями. В данной ситуации складывание сложной политической организации кочевников в форме “кочевых империй” — одновременно и продукт интеграции, и следствие конфликта между номадами и земледельцами. Кочевники-скотоводы выступали в данной ситуации как *класс-этнос* и специфическая *ксенократическая* (от греч. *ксено* — наружу и *кратос* — власть)

политическая система. Образно говоря, они представляли собой нечто вроде “надстройки” над оседло-земледельческим “базисом” (Крадин, 1992). С этой точки зрения создание “кочевых империй” — это частный случай популярной в свое время “завоевательной” (Л. Гумплович, Ф. Оппенгаймер) теории политогенеза, согласно которой война и завоевание являются предпосылками последующего закрепления неравенства и стратификации.

Еще одна модель политогенеза, применимая к происхождению степных империй, — “торговая” (Rathje, 1971; Webb, 1975; Wright, Johnson, 1975; Ekholm, 1977; Ekholm, Friedman, 1979). Ее основная посылка заключается в том, что внешнеторговый обмен с последующей редистрибуцией редких и престижных товаров среди подданных является важным компонентом власти вождей и правителей ранних государств. Стабильность степных империй напрямую зависела от умения высшей власти организовывать получение шелка, земледельческих продуктов, ремесленных изделий и изысканных драгоценностей с оседлых территорий. Так как эта продукция не могла производиться в условиях скотоводческого хозяйства, получение ее силой или путем вымогательства было первоочередной обязанностью правителя кочевого общества. Будучи единственным посредником между Китаем и Степью, правительномадного общества имел возможность контролировать перераспределение получаемой из Китая добычи и тем самым усиливал собственную власть. Это позволяло поддерживать империю, которая не могла существовать лишь на основе экстенсивной скотоводческой экономики (Barfield, 1981; 1992; Голден, 1993; Крадин, 1996 и др.).

Все это предопределило двойственную природу “степных империй”. Извне они выглядели как деспотические общества-завоеватели, уподобленные государствам, ибо созданы были для изъятия прибавочного продукта вне Степи. Но внутри “кочевые империи” оставались основанными на племенных связях, без установления налогообложения и эксплуатации скотоводов. Сила власти правителя степного общества, как правило, базировалась не на возможности применить легитимное насилие, а на его умении организовывать военные походы и перераспределять доходы от торговли, дани и набегов на соседние страны.

Вне всякого сомнения, такую политическую систему нельзя считать государством. Это не свидетельство того, что подобная структура управления была примитивной. Как показывают глубокие исследования специалистов в области истории античности, греческий и римский полисы также не могут считаться государствами. Государственность с присущей ей бюрократией появляется здесь достаточно поздно — в эпоху эллинистических государств и в императорской период истории Рима (Штаерман, 1989; Berent, 1994; 1998; 2000; Берент, 2000). Однако как быть с кочевниками, каким термином описать существо их политической системы? Учитывая ее негосударственный характер, я предложил характеризовать “кочевые империи” как **суперсложные вожества** (Крадин, 1992: 152; Трепавлов, 1995: 150; Скрынникова, 1997: 49).

Простые вожества представляют собой группу общин, иерархически подчиненную одному вождю. Сложные вожества — это иерархически организованная совокупность нескольких простых вожеств (Earle, 1987; Earle, Johnson, 1987; Earle, 1991; Крадин, 1995 и др.). Однако суперсложное вожество — это не механическое объединение групп сложных вожеств. Отличия здесь не количественного, а качественного характера. При простом объединении нескольких сложных вожеств в более крупные политии последние, без аппарата власти, редко оказываются способными справиться с сепаратизмом мелких вождей. Принципиальным отличием суперсложных вожеств является появление механизма **наместников**, которых верховный вождь посылал управлять региональными структурами. Это еще не аппарат власти, поскольку количество таких лиц было невелико. Здесь имеет место важный структурный импульс к последующей политической интеграции (честь открытия этого механизма принадлежит Р. Карнейро (Carneiro, 1992 и др.); в то же время, мне кажется, в наиболее развитой форме он характерен скорее для номадических, чем оседло-земледельческих обществ).

Вожди племен, входивших в кочевую империю, были инкорпорированы в десятичную военную иерархию, однако их внутренняя политика была в известной степени независимой от политики центра. Некоторая автономность племен была опосредована следующими факторами: 1) хозяйственная самостоятельность племен делала их потенциально независимыми от центра; 2) главные источники

власти (грабительские войны, перераспределение дани и других внешних субсидий, внешняя торговля) являлись достаточно нестабильными и находились вне степного мира; 3) всеобщее вооружение ограничивало возможности политического давления сверху; 4) перед недовольными политикой центра племенными группировками открывались возможности откочевки, дезертирства под покровительством земледельческой цивилизации или восстания с целью свержения неугодного правителя.

По этой причине политические связи между племенами и органами управления степной империи не были исключительно авторитарными. Надплеменная власть сохранялась в силу того, что с одной стороны, членство в “имперской конфедерации” обеспечивало племенам политическую независимость от соседей и ряд других важных выгод, а с другой — правитель кочевой державы и его окружение гарантировали племенам определенную внутреннюю автономию в рамках империи.

Механизмом, соединявшим “правительство” степной империи и племенных вождей, были институты престижной экономики. Манипулируя подарками, одаривая ими соратников и вождей племен, правитель кочевой державы увеличивал свое политическое влияние и престиж “щедрого правителя” и одновременно как бы “обязывал” получивших дар ответным даром. Племенные вожди, получая подарки, с одной стороны, могли удовлетворять личные интересы, а с другой — повышать свой внутриплеменной статус путем раздачи даров соплеменникам или посредством организации церемониальных праздников. Кроме того, получая от правителя дар, реципиент как бы приобретал от него часть сверхъестественной благодати, чем дополнительно способствовал увеличению своего собственного престижа.

Другим способом поддержания структурного единства “имперской конфедерации” кочевников был институт наместников. Административно-иерархическая структура степной империи включала несколько уровней. На высшем уровне держава делилась на две или три части — “левое” и “правое” крыло, или “центр”, и два крыла. В свою очередь, эти два “крыла” могли делиться на “подкрылья”. На следующем уровне данные сегменты подразделялись на “тумы” — военно-административные единицы, которые могли выставить примерно по 5–10 тыс. воинов. В этнополитическом

плане данные единицы должны были примерно соответствовать племенным объединениям или сложным вождествам. Последние, в свою очередь, делились на более мелкие социальные единицы — вождества и племена, родоплеменные и общинные структуры разной степени сложности, которые в военном отношении соответствовали “тысячам”, “сотням” и “десяткам”. Начиная с уровня сегментов порядка “тумы” и выше, включавших несколько племенных образований, административный и военный контроль вверялся специальным наместникам из ближайших родственников правителя степной империи и людей, лично преданных ему. В немалой степени именно от этих наместников зависело, насколько метрополия будет иметь власть над племенами конфедерации.

Суперсложное вождество в форме кочевых империй — это уже реальный прообраз раннего государства. Данные вождества имели сложную систему титулования вождей и функционеров, вели дипломатическую переписку с соседними странами, заключали династические браки с правителями земледельческих государств и соседних кочевых империй. Для их общества были характерны зачатки урбанистического и монументального строительства, а иногда даже письменность. С точки зрения соседей, такие кочевые общества воспринимались как самостоятельные субъекты международных политических отношений.

Могли ли вождества суперсложного типа создаваться оседло-земледельческими народами? Известно, что численность сложных вождеств измеряется, как правило, десятками тысяч человек (см., напр.: *Johnson, Earle, 1987: 314*), и этнически они в основном гомогенны. Однако население многонационального суперсложного вождества составляет многие сотни тысяч человек и даже больше (кочевые империи Внутренней Азии до 1–1,5 млн человек). Территория суперсложных вождеств кочевников была на несколько порядков больше площади, необходимой для простых и сложных вождеств земледельцев (для номадов более характерна такая плотность населения, которая у земледельцев чаще встречается в доиерархических типах общества и вождествах). В то же время на территории, сопоставимой по размерам с любой кочевой империей, могло бы проживать в несколько раз больше земледельцев, деятельность которых вряд ли могла регулироваться догосударственными методами.

Управление таким большим пространством в обществе кочевников облегчалось спецификой степных ландшафтов и наличием мобильных верховых животных. С другой стороны, всеобщая вооруженность кочевников, обусловленная отчасти их дисперсным расселением, их мобильность, экономическая автаркичность, воинственный образ жизни на протяжении длительного исторического периода, а также ряд иных факторов мешали установлению стабильного контроля над скотоводческими племенами и отдельными номадами от высших уровней власти кочевых обществ. Все это дает основание предположить, что суперсложное вождество, если и не являлось характерной лишь для кочевников формой политической организации, то все же именно у номадов получили наибольшее распространение как могущественные “кочевые империи”, так и подобные им “квазиимперские” ксенократические политии, но меньшего размера.

Многолинейные теории

В последние десятилетия было высказано аргументированное мнение (Павленко, 1989; 1996; 1997), согласно которому исторический процесс разворачивается одновременно в нескольких срезах:

1) **стадиальном** (от первобытных “мини-систем” к глобальному современному обществу);

2) **многолинейном**, представленном как минимум билинейной схемой *Восток — Запад* или более сложными конструкциями;

3) **цивилизационном**, фиксирующем специфику жизненных процессов и действительное разнообразие отдельных крупных культурных систем.

Речь идет о различных измерениях мировой истории, которая разворачивается сразу в нескольких плоскостях. Каждое измерение отражает на своей координатной сетке соответствующие параметры жизнедеятельности социальных систем. Но только в совокупности (в соответствии с “принципом дополнительности”) можно получить целостное представление о месте данного конкретного явления в рамках всемирно-исторического процесса.

Вышесказанное полностью применимо к поставленной в данной главе проблеме. Вне мультилинейного контекста описание специ-

фики кочевых обществ в рамках всемирно-исторического процесса было бы неполным.

Классические неодолинейные теории исходили из противопоставления Запада и Востока — идеи, идущей еще от Бернье и Монтескье. Впоследствии это привело к созданию концепции “азиатского способа производства” в рамках марксистской теории истории, появлению достаточно прочной традиции билинейных теорий исторического процесса, которая наиболее солидно разработана К. Витфогелем и Л. С. Васильевым (Welskopf, 1957; Wittfogel, 1957; Jaksic, 1991; Васильев, 1993; Павленко, 1989; 1996 и др.).

В ряде других исследований предложены более сложные схемы, сочетающие стадиальный принцип с многолинейностью. По М. Годелье, азиатская и античная формы являются тупиковыми, так как ведут соответственно только к азиатскому и рабовладельческому способам производства. Лишь германская форма *Gemeinwesen* приводит к феодализму, а от него — к капиталистическому обществу (Godelier, 1969). Ф. Тёкеи рассматривает азиатскую, античную и германскую общины и как последовательно более развитые формы *Gemeinwesen*, и как самостоятельные линии исторического развития (Тёкеи, 1975). Согласно А. И. Фурсову, всемирно-исторический процесс разворачивается в двух плоскостях — тупиковой азиатской, где *система* доминирует над индивидом, и прогрессивной западной, где в каждой более высокой социальной форме осуществляется последовательная эмансипация *субъекта* (1989; 1995).

В последние годы в работах А. В. Коротаева и его последователей высказывается тезис о необходимости новой интерпретации социальной эволюции, которую необходимо рассматривать в рамках многолинейной или даже, точнее, *нелинейной* традиции, однако не как некую совокупность различных (в том числе пересекающихся) линий, а как многомерное пространство-поле, основанное на измерениях сразу многих социологических показателей, зафиксированных посредством холокультурных методов исследования (Korotayev, 1995; 1996; Коротаев, 1995а; 1995б; 1996; 1997; 1998; 1999; 2003; Бондаренко, 1998; Бондаренко, Коротаев, 1999; 2000; 2002 и др.; Коротаев и др., 2000). Я разделяю эти идеи и предлагаю называть новое направление в социокультурной антропологии и теоретической истории **мультиэволюционизмом**.

Какое место занимает номадизм в рамках многолинейных (нелинейных) теорий всемирной истории? Ранее, рассматривая кочевничество в контексте различных марксистских периодизаций исторического процесса, мне уже приходилось писать, что ни одна из классических моделей способов производства не применима к кочевым империям, хотя определенные сходства имеются с каждой из форм (Крадин, 1992: 180–188 и др.). Именно это обстоятельство подтолкнуло меня в свое время к выводу об особом **экзополитарном**, или **ксенократическом**, способе производства у кочевников (там же).

Сейчас данный аспект можно рассмотреть в несколько ином контексте. Понятие “способ производства” занимает важное место не только в марксизме, но и в мир-системной теории. И. Валлерстайн понимает термин “способ производства” как особую форму организации трудового процесса, в рамках которой посредством какого-либо разделения труда осуществляется воспроизводство системы в целом и распределение прибавочного продукта. Главным критерием классификации (и одновременно периодизации) способов производства у Валлерстайна выступает способ распределения. В этом он следует идеям К. Поланьи. Соответственно выделяются три способа производства: 1) реципрочно-линейные мини-системы, основанные на отношениях взаимобмена, 2) редирибутивные мир-империи (в сущности, это и есть “цивилизации” А. Тойнби), 3) капиталистическая мир-система (мир-экономика), основанная на товарно-денежных отношениях (Wallerstein, 1984: 160ff).

Как вписываются в данную схему кочевники-скотоводы? С точки зрения логики теории Валлерстайна подавляющее большинство кочевых обществ должно быть отнесено к уровню “мини-систем”, но не “мир-империй”, и это так. Действительно, большая часть кочевников-скотоводов не достигала уровня редирибутивных обществ — вождеств разной степени сложности и ксенократических квазиимперских политий и кочевых империй среди них. Еще раз подчеркну для моих критиков (Калиновская, 1994; Марков, 1998), что я никогда не отрицал этого. Другое дело, когда мы говорим о месте кочевничества в рамках периодизаций всемирной истории, нельзя закрывать глаза на то, какую роль кочевые империи сыграли в истории земледельческих цивилизаций и первой мир-системы.

Однако кочевые империи — это не то же самое, что даннические “мир-империи”. Последние, по Валлерстайну, существуют за счет дани и налогов с провинций и захваченных колоний, т. е. за счет ресурсов, перераспределяемых бюрократическим правительством. Отличительным признаком мир-империй является административная централизация, доминирование политики над экономикой (Wallerstein, 1984: 160ff). В кочевых империях, как это было показано в предыдущих разделах данной главы, не существовало столь жесткой административной централизации — редирибуция затрагивала только внешние источники доходов империи: военную добычу, дань, торговые пошлины и подарки. Более того, в логику “мир-империй” не вписываются не только степные империи, но и мир античных полисов, западноевропейское средневековое общество. Не случайно часть сторонников мир-системного подхода (так называемые *splitters* — *дробители*) признает возможность существования нескольких мир-систем или мир-экономик до складывания капиталистической мир-системы. Некоторые из них отмечают, что часть данных систем могла не только существовать в форме редирибутивных империй, но и быть экономически и политически многополярными, децентрализованными.

Какие критерии можно положить в основание классификации способов производства, существовавших после выхода за уровень линейных “мини-систем”, но до формирования капиталистической “мир-системы”? Сколько их можно выделить в принципе? Эти вопросы были сформулированы и решены в фундаментальной философско-исторической работе А. И. Фурсова (1989; 1995). Согласно его мнению, живой труд выступает в двух формах — индивидуальной и коллективной. Чем более развито производство, тем более самостоятелен индивидуальный труд. В доиндустриальных системах соотношение коллектива (К) и индивида (И) фиксируется в социальной организации (Gemeinwesen). Возможны только три типа соотношения: $K > I$, $K = I$, $K < I$. Это соответствует выделенным еще Марксом “азиатской”, “античной” и “германской” формам Gemeinwesen.

Исходя из этого Фурсов полагает, что способов производства (т. е. моделей организации производства) теоретически может быть только три: 1) *рабовладение* — объединенные в коллектив (полис) граждане (каждый индивидуально) отчуждают труд ра-

бов, не имеющих собственности ($K > I$); 2) *феодализм* — сеньор индивидуально отчуждает труд крестьянина, владеющего средствами производства ($I > I$); 3) *азиатский способ производства* — когда деспот и государство отчуждают труд масс людей ($I > K$) (Фурсов, 1989: 298–317).

В данной классификации не хватает только одного звена: $K > K$, когда одна группа эксплуатирует другую. В таком виде схема получается логически завершенной. Индивидуализированные доиндустриальные способы производства, по Фурсову, могут соответствовать многополярным “мир-системам”, тогда как “азиатский способ производства” полностью вписывается в логику “мир-империй”. Место последнего элемента в таблице А. И. Фурсова принадлежит “кочевым империям”, т. е. той форме, которую я предлагал именовать **экзополитарным**, или **ксенократическим**, способом производства (Крадин, 1992 и др.). Более того, “коллективистская” ($K > K$) специфика данной модели предполагает ее обязательную связь в качестве своеобразного “спутника” с другими способами производства (“мир-империями” и пр.), иными словами, она имеет полупериферийный характер.

Понятие полупериферии в мир-системной теории было разработано главным образом для описания процессов в современной капиталистической “мир-системе”. Полупериферия эксплуатируется ядром, но и сама, эксплуатируя периферию, является важным стабилизирующим элементом в мировом разделении труда. Однако Валлерстайн утверждает, что трехзвенная структура свойственна любой организации: между полярными элементами всегда существует промежуточное звено, обеспечивающее гибкость и эластичность всей системе (центристские партии, “средний класс” и т. д.). В доиндустриальный период некоторые функции полупериферии могли выполнять торговые города-государства древности и средних веков (Финикия, Карфаген, Венеция и др.), милитаристские государства-“спутники”, возникавшие рядом с высокоразвитым центром региона (Аккад и Шумер в Месопотамии, Спарта, Македония и Афины, Австразия и Нейстрия у франков) (Chaze-Dunn, 1988), а также кочевые империи и квазимперские политии кочевников евразийских степей.

Империи кочевников также являлись милитаристскими “двойниками” аграрных цивилизаций, так как зависели от поступавшей от-

туда продукции. Однако кочевники выполняли важные посреднические функции между региональными “мир-империями”. Подобно мореплавателям, они обеспечивали связь потоков товаров, финансов, технологической и культурной информации между островами оседлой экономики и урбанистической цивилизации.

Но было бы ошибкой считать кочевые империи классической полупериферией, которая эксплуатируется ядром, тогда как кочевые империи никогда не эксплуатировались аграрными цивилизациями. Всякое общество полупериферии стремится к технологическому и производственному росту. Подвижный образ жизни кочевников-скотоводов не давал возможности осуществлять значительные накопления (копить можно было только скот, но его количество ограничивалось продуктивностью пастбищ, и в любой момент из-за засухи или снежного бурана этот природный “банк” мог лопнуть), а их общество было основано на “престижной” экономике. Вся добыча раздавалась правителями степных империй племенным вождям и скотоводам и потреблялась на массовых праздниках. Номады были обречены оставаться вечным Хинтерландом мировой истории. Только завоевание ядра давало возможность стать “центром”. Но для этого нужно было перестать быть номадами. Великий советник Чингиз-хана и его сына Угедей-хана образованный киданин Елюй Чуцай понял это, сказав последнему: “Хотя [вы] получили Поднебесную, сидя на коне, но нельзя управлять [ею], сидя на коне” (Мункуев, 1965: 19).

Однако это был нелегкий выбор для кочевников. Принять его означало расстаться с привычными ценностями воинственного мобильного общества и постепенно раствориться в более многочисленной завоеванной аграрной цивилизации. Другая альтернатива, как оказалось впоследствии, также была губительной. Сохранив собственную специфику, со временем номады были вынуждены расстаться со своим влиянием и прежней ролью в мировых процессах. Отныне они являлись только предметом пристального внимания со стороны алчных и эгоистических политиков более могущественных земледельческо-городских и индустриальных государств да экзальтированных книжников-ученых, которых манили таинственные образы загадочных полулюдей-полуживотных — кентавров, некогда воспетых хронистами.

ГЛАВА 2

Н. Н. КОЗЬМИН И ДИСКУССИЯ
О “КОЧЕВОМ ФЕОДАЛИЗМЕ”*

Иркутский университет является одним из крупнейших сибирских центров кочевниковедения. Это обусловлено несколькими причинами: 1) территориальным расположением университета (соседство с Бурятией и Монголией); 2) личными научными интересами преподавателей; 3) сложившимися в городе и университете научными и культурными традициями. У истоков данного направления находилась целая плеяда ярких ученых конца XIX — первой трети XX в., чья жизнь и деятельность были связаны с Иркутском. Достаточно упомянуть таких известных ученых, как выдающегося этнографа и путешественника Г. Н. Потанина, авторитетнейшего специалиста по праву монгольских nomadов В. А. Рязановского, читавшего в университете курсы на начальном этапе его существования, основателя иркутской “народоведческой” (в современной терминологии — “культурантропологической”) школы Б. Э. Петри.

После “перестройки” исторической науки в СССР в первой половине 1930-х гг., с последующими массовыми политическими репрессиями, изучению прошлого в нашей стране был нанесен сильный удар. Ряд направлений были уничтожены или свернуты на многие десятилетия. Однако, несмотря на гонения и чистки, кочевниковедческая тематика в Иркутске не была полностью забыта. Можно напомнить, например, что известный советский монголовед Н. П. Шастина окон-

чила Иркутский университет, а фундаментальный труд профессора В. И. Дулова о социально-экономическом строе тувинцев стал одной из классических работ о сибирских номадах периода нового времени. В последующие годы из стен университета вышла целая плеяда иркутских историков-монголоведов и археологов, занимающихся изучением кочевых культур региона (последний крупный успех — защита в 2001 г. докторской диссертации археологом А. В. Харинским).

Большая роль в складывании иркутской школы кочевниковедения принадлежит профессору ИГУ Николаю Николаевичу Козьмину (1872—1938). Научное наследие Козьмина очень многогранно. Его перу принадлежит большое количество работ по истории, этнографии, экономике и географии Центральной Азии и Сибири, в том числе книга “К вопросу о турецко-монгольском феодализме” (1934), переводы трудов В. В. Радлова “Этнографический обзор турецких племен Сибири и Монголии” (1929) и К. Д’Оссона “История монголов от Чингисхана до Тамерлана” (1937). Некоторые аспекты биографии и научной деятельности исследователя уже нашли освещение в отечественной историографии (Кузьмин, 1992; Свинин, 1996; Решетов, 1999 и др.).

Особое значение имеют теоретические работы Н. Н. Козьмина, посвященные проблеме “кочевого феодализма”. Не так много провинциальных ученых участвовало в теоретических дискуссиях “центра”. С этой точки зрения представляется важным проанализировать вклад Н. Н. Козьмина в данную дискуссию, рассмотреть оценку его изысканий со стороны современников и ученых более позднего времени. Все эти вопросы рассматриваются в настоящей главе.

Начало дискуссии о специфике исторического развития кочевников-скотоводов условно можно отсчитывать с 1934 года — года “великого перелома” отечественной исторической науки. Именно в этот год были опубликованы новые учебники по истории, в которых исторический процесс излагался в рамках пятичленной формационной схемы, заново открыты, после партийных чисток, исторические факультеты во многих университетах страны. Конечно, то, что начало дискуссии пришлось именно на данный год, в известной степени можно расценивать как случайность. Но в этом можно найти и определенную, зловещую логику. Нередко то, что

* Н. Н. Козьмин и дискуссия о “кочевом феодализме” // Первые востоковедные чтения ИГЭА: К 130-летию со дня рождения Н. Н. Козьмина. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2002. С. 55—65.

мы расцениваем как случайность, является неосознаваемой закономерностью.

Дискуссия началась с трех опубликованных работ, которые легли потом в основу трех различных интерпретаций феодализма у кочевников. Это текст доклада С. П. Толстова “Генезис феодализма в кочевых скотоводческих обществах”, прочитанный им годом ранее на пленуме ГАИМК в июне 1933 г., а также две книги: монография выдающегося монголоведа академика В. Я. Владимирцова “Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм” (умер в 1931 г.; незаконченная книга была опубликована спустя три года) и уже упомянутая книга Н. Н. Козьмина “К вопросу о турецко-монгольском феодализме”.

Толстов экстраполировал пятичленную формационную схему на кочевой мир. Согласно его точке зрения, кочевники прошли через рабовладельческую и феодальную стадии. В эпоху рабовладения труд рабов использовался в скотоводческом хозяйстве (надо признать, что впоследствии он отказался от этой ошибочной точки зрения). Для феодализма у кочевников “основным зерном” являлся саун — т. е. отдача скота на выпас. Эти отношения генетически происходили из первобытных пережитков коллективной взаимопомощи (1934: 188–199).

Вторая точка зрения была представлена в монографии академика Б. Я. Владимирцова “Монгольский кочевой феодализм”. По мнению автора, сущность кочевничества выражалась в том, что феодальные сеньоры (нойоны и пр.) руководили кочеванием зависимых от них скотоводов, перераспределяли пастбища и указывали стоянки. “Раз сеньор владел людьми, то, естественно, должен был владеть и землей, на которой они могли бы жить-кочевать” (1934: 111–112). Таким образом, основой феодализма у кочевников, по мнению Б. Я. Владимирцова, была власть нойонов и ханов над простыми кочевниками.

Наконец, третья точка зрения была выдвинута Н. Н. Козьминым в его уже упомянутой работе “К вопросу о турецко-монгольском феодализме” (1934). Книга состоит из двух частей. В первой изложены теоретические взгляды автора на проблему феодализма у кочевников Центральной Азии. Во второй части автор доказывает, что бурятское общество также являлось феодальным. Козьмин

разбирает взгляды на феодализм зарубежных, дореволюционных русских и современных ему марксистских ученых. Он выделяет такие черты феодализма, как наличие крупного частного землевладения, классовое расслоение среди кочевников (деление на “белую” и “черную” кисти), иерархическая организация власти, вассальные отношения между ханами и нукерами.

Проводя многочисленные параллели с “классическим” западноевропейским феодализмом, автор практически не сомневается в сходстве феодальных порядков у земледельческих и скотоводческих народов. Козьмин даже возражал против того, чтобы называть этот феодализм “кочевым”. “Это не какая-либо особая общественная формация... а просто феодализм. Можно даже не прибавлять термина “кочевой” или “азиатский” (1934: 73; ср. *Козьмин*, 1937: XXII, прим. 1).

Как были восприняты данные три концепции современниками? Взгляды С. П. Толстова практически сразу были подвергнуты резкой критике. В ходе обсуждения его доклада на сессии ГАИМК оппонентами говорилось, что “в докладе нет системы”, автор “вне времени и вне пространства” собрал в кучу и древних скифов, и туркмен рубежа XIX–XX столетий. Особенно много критических замечаний вызвал тезис С. П. Толстова о рабовладельческом характере многих кочевых обществ (ИГАИМК, 1934. Вып. 103: 254–257, 320–378). Не нашла поддержки и его саунная интерпретация “кочевого феодализма”, поскольку она отличалась от “классических” марксистских представлений о сущности феодализма. Только в 1950-х гг. эта идея была возрождена в работах С. Е. Толыбекова и В. Ф. Шахматова.

Достаточно прохладно оценена позиция С. П. Толстова в зарубежной историографии, в частности, в работах Э. Геллнера в дискуссии о “кочевом феодализме”. Негативизм британского антрополога вызван преобладанием в обсуждаемой статье канонических цитат из работ классиков марксизма над конкретно-историческими данными, настойчивыми попытками С. П. Толстова обосновать связь марксистской теории классовой борьбы с необходимостью применения ее на практике. Доказывая классовый, феодальный характер кочевых обществ, Толстов тем самым подводил к обоснованию положения о наличии в современных ему обществах ско-

товодов класса мироедов-кулаков, усиления классовой борьбы (в соответствии со сталинским тезисом) и, следовательно, о необходимости научного обоснования развязывания массового геноцида против кочевых народов Средней Азии, Сибири и Казахстана (Gellner, 1984: XIV–XV; 1988: 99–101).

Книга Б. Я. Владимирцова достаточно скоро стала считаться в отечественной историографии “классическим” трудом по теории феодализма у кочевников (Якубовский, 1936). С течением времени эта оценка стала восприниматься как аксиома. В одной из работ, написанных уже в последней четверти XX столетия, в частности, говорилось, что Владимирцову “удалось гениально угадать специфику монгольского феодального общества и охарактеризовать его развитие, доказав всеобщность законов развития феодализма, открытых основоположниками марксизма” (Златкин, 1982: 256).

С уважением как о крупном ученом-ориенталисте пишет о Б. Я. Владимирцове и Э. Геллнер. Однако он совершенно справедливо отмечает, что большинство материалов, интерпретированных Владимирцовым как феодальные, относятся к периоду империи, и подводит к вполне закономерному вопросу: насколько правильно использовать феодальную парадигму к неимперским обществам кочевников? Не ускользнуло от Геллнера и то, что Владимирцов в отличие от его “продолжателей” почти не цитирует работы классиков марксизма. Правда, здесь Э. Геллнер несколько непоследователен. Интуитивно Владимирцов симпатичен ему, но Геллнер относит последнего к создателям теории “кочевого феодализма” (Gellner, 1988: 98, 102).

Впрочем, едва ли следует упрекать в этом англичанина, когда для большинства отечественных кочевниковедов это является очевидным (я также ошибался в этом; см.: Крадин, 1987: 22, 56–58). На самом же деле прямой “вклад” Б. Я. Владимирцова в создание подлинно марксистской теории “кочевого феодализма” сильно преувеличен. Владимирцов был крупным ориенталистом “классического” типа (т. е. с сильным уклоном в филологические изыскания) (Алпатов, 1994). Едва ли он мог глубоко знать марксизм. Для этого нужно было не совершенствоваться в знании санскрита и множественных диалектов монгольского языка, а штудировать “Капитал” и “Происхождение семьи”. Все, что есть “марксистского”

в “Общественном строе монголов”, — это, пожалуй, перечисление в списке литературы вышеупомянутой книги Энгельса да попытка Б. Я. Владимирцова на фактическом материале обосновать наличие ряда феодальных институтов в монгольском обществе периода империи. Причем интересно, что феодализм Владимирцов понимает скорее в юридическом смысле, сродни Павлову-Сильванскому (он цитирует его в ряде важных мест), нежели в марксистском контексте — как особую социально-экономическую формацию, следующую за рабовладением (возможно, что подзаголовок книги “Монгольский кочевой феодализм” добавлен уже после смерти автора его коллегами или супругой).

Концепция Н. Н. Козьмина гораздо ближе к “классическому” советско-марксистскому пониманию феодализма. Однако в августе 1937 г. он был арестован и через год погиб в застенках НКВД как “враг народа”. Историческое имя и вклад в дискуссию исследователя на долгие годы оказались в забвении. По этой причине очень трудно судить, какова была реакция современников на книгу Н. Н. Козьмина. Возможно, скрупулезный анализ научных публикаций по проблеме “кочевого феодализма”, вышедших в промежуток между 1934–1937 гг., сможет прояснить позицию научной общественности относительно концепции Козьмина. В настоящее время можно оперировать только рецензией В. А. Казакевича (1934) на книгу Н. Н. Козьмина и несколькими необъективными выпадами с обвинениями в “белоэмигрантском прошлом”, “национализме” и иных смертных грехах (об этих работах см.: Решетов, 1999: 96, 97, прим. 20).

В. А. Казакевич положительно отнесся к выходу книги Н. Н. Козьмина, отметив, что это одна из первых попыток осмыслить с марксистских позиций закономерности исторического развития кочевых скотоводческих народов. “Она несомненно послужит толчком для исследователей, историков-монголоведов и туркологов” (Казакевич, 1934: 117). Вместе с тем рецензент отметил ряд недостатков — завышение уровня развития ряда кочевых обществ (древних тюрок, бурят), незнание автором некоторых свежих публикаций по данной проблеме, отсутствие библиографического аппарата во второй части работы (там же, 115–117).

К сожалению, данная рецензия — едва ли не единственная работа, в которой подробно анализируются взгляды иркутского ис-

торика. Цитировать работы “врага народа” не в связи с его критикой — это своего рода хакари для советского ученого тех лет (кстати, достаточно удивительно, что в своей книге о тюркском каганате А. Н. Бернштам (1946) довольно часто ссылался на труды Козьмина). По большому счету, имя Козьмина вычеркнули из исторической науки. Достаточно обратиться к специальным историографическим работам, посвященным дискуссии о “кочевом феодализме”. В большинстве специальных историографических работ по проблеме “кочевого феодализма” имя Н. Н. Козьмина даже не упоминается (Коган, 1981; Халиль Исмаил, 1983; Эрдниева, 1985; Попов, 1986; Марков, 1989; 1998 и др.). Такой хороший знаток отечественной историографии, как Э. Геллнер, в своей книге о советской антропологии (этнографии) также не упоминает Козьмина среди участников дискуссии (Gellner, 1988: 92–114). Во всяком случае, первой работой, в которой я лично увидел сноску на книгу Козьмина в связи с дискуссией о “кочевом феодализме”, была монография А. М. Хазанова о социальной истории скифов (1975: 34).

Как сам Н. Н. Козьмин отнесся к концепциям своих оппонентов? Частично ответ на этот вопрос можно найти в написанном им “Предисловии” к “Истории монголов” К. Д’Оссона. Статью Толстова он даже не цитирует. Теоретически допустимо, что он не был знаком с данной статьей, хотя это маловероятно. Козьмин следил за новой литературой и регулярно просматривал “Известия ГАИМК”. Возможно, что он просто не хотел присоединяться к числу многочисленных критиков Толстова.

Реакцию Козьмина на книгу академика Владимирцова, судя по всему, трудно назвать восторженной. Еще во “Введении” к своему “Гурецко-монгольскому феодализму” он скептически отнесся к попыткам последнего “энергично перестраивать свои изучения в духе марксистской социологии” (1934: 9). Этот скепсис вызвал, в частности, недоумение у В. А. Казакевича (1934: 116), который заметил, что Козьмин неоднократно пользовался консультациями по поводу восточных языков у Владимирцова, который был хорошо известен как выдающийся языковед и несколько менее как этнограф. Да и сам Б. Я. Владимирцов в устной беседе с Козьминым, как об этом писал сам Н. Н., осторожно сообщил, что его

работа посвящена установлению значения монгольских социальных терминов, свидетельствующих о существовании феодализма у монголов (там же). Публикации последних лет жизни Владимирцова (например, его заметки о терминах *nökür, beki u begi* в “Докладах Академии наук” за 1929–1930 гг.) также должны были свидетельствовать об этом.

Однако после опубликования “Общественного строя монголов” стало ясно, что Козьмин оказался введенным в заблуждение. Книга академика Владимирцова была написана совсем в ином ключе и представляла крупный, основанный на разнообразных нарративных источниках труд об особенностях социально-политического строя средневекового монгольского общества. Времени на проработку “Монгольского кочевого феодализма” у Козьмина было достаточно. Монография Владимирцова вышла во второй половине 1934 г., а книга Д’Оссона была сдана в набор в иркутскую типографию ОГИЗа 5 сентября 1936 г. Судя по ссылкам в тексте “Предисловия” к Д’Оссону на июльский номер “Большевика” за 1936 г., рукопись была передана издателю во второй половине лета. Следовательно, даже с учетом времени на пересылку книги из Ленинграда у Н. Н. Козьмина был достаточный срок на изучение работы Б. Я. Владимирцова.

Козьмин воспринял эту книгу очень настороженно. В своем “Предисловии” к Д’Оссону и в примечаниях он отмечает более высокое значение книги Владимирцова, чем просто источниковедческой публикации. “Эта работа является результатом пересмотра его методологических установок в его ранней работе “Чингиз-хан”. В то же время Козьмин с досадой отмечает, что “несколько ранее вышла на ту же тему работа автора настоящего предисловия”, которая, по его собственным словам, “написана в ином плане и резче ставит вопрос об единых путях общественного развития” (1937: XXI–XXII).

Настороженность Козьмина можно объяснить двумя, отнюдь не исключаящими друг друга причинами. Во-первых, совсем незадолго до описываемых событий был официально повержен с пьедестала очень чтимый Козьминым (Решетов, 1999: 98, прим. 40), один из столпов марксистской историографии — академик М. Н. Покровский, бывший соратником В. И. Ленина. Какой ре-

акции следовало ожидать от официальных кругов на книгу другого академика, который толком даже не был знаком с марксизмом и, находясь под большим влиянием В. В. Бартольда и Павлова-Сильванского, не владевших “единственно правильной” методологией, написал относительно недавно с “буржуазных” позиций восторженную книгу о Чингиз-хане? Тем более что сам Покровский (1931: 81–82) понимал феодализм в соответствии с теорией Павлова-Сильванского. Будучи умным и трезвомыслящим человеком, Козьмин не мог не обезопаситься. Кто же мог предугадать, что книга Владимирцова не станет очередным объектом для нападок (кстати, достаточно критическая с методологической точки зрения рецензия на данную книгу была написана Н. Смирновым (1935) в журнале “Историк-марксист”), а его имя через некоторое время возведут в ранг официального “основоположника” теории “кочевого феодализма”?

Во-вторых, по-человечески объяснимо отчасти, возможно, ревнивое отношение Н. Н. Козьмина к книге Владимирцова. Они ведь параллельно разрабатывали одну научную проблему, каждый считал свою аргументацию более убедительной. Это, в частности, подтверждается тем, что Козьмин оценивает свою книгу как “несколько ранее” вышедшую.

В конечном счете это не столь существенно. Для нас, спустя три четверти столетия, очевидно другое: трое выдающихся исследователей работали над проблемой “кочевого феодализма”, каждый из них предложил свое оригинальное решение этого вопроса, и их работы были опубликованы в “переломном” 1934 г. Взгляды Н. Н. Козьмина гораздо ближе к “официальной” точке зрения, чем выводы, сформулированные в работах Б. Я. Владимирцова и С. П. Толстова. Трудно сказать, как дальше бы развернулась данная дискуссия, если бы Н. Н. Козьмин смог развить и углубить свои взгляды. В силу рокового стечения обстоятельств исследователя арестовали, и он трагически погиб, а его имя на долгие годы было забыто отечественными историками. Наш научный долг — вернуть его честное имя и научные труды исторической науке.

ЭРНСТ ГЕЛЛНЕР И ДЕБАТЫ О КОЧЕВОМ ФЕОДАЛИЗМЕ*

В 1988 г. Эрнст Геллнер опубликовал книгу “Государство и общество в советской мысли”. Уже из названия ясно, что книга была посвящена анализу взглядов советских (российских) антропологов на разные темы. Но в советских антропологических журналах так и не появились рецензии на эту книгу. Можно подумать, что советские антропологи таким образом проигнорировали критику. Но рецензия на эту книгу готовилась. Ее собирались написать молодые советские антропологи, на которых западные идеи, в том числе книги Геллнера, оказали большое влияние. Планировалось, что каждый участник этой рецензии изложит анализ тех разделов книги, в которых он наиболее компетентен. Но, как часто бывает в коллективных работах, кто-то не написал свой фрагмент и инициатива не была доведена до конца.

Эта публикация представляет собой очень расширенный текст моей части рецензии о номадных обществах (другой фрагмент был посвящен азиатскому способу производства). Первоначально я подготовил только русский вариант этого текста, который был опубликован в середине 1990-х гг. (Крадин, 1996). Позднее, в процессе дискуссий о значении Геллнера для развития антрополо-

* Перевод с английского языка: *Kradin N. N. Ernest Gellner and Debates on Nomadic Feudalism // Social Evolution and History. 2003. Vol. 2. No 2. P. 162–176.*

гии, зародилась идея написать статью для более широкой аудитории, но для англоязычных исследователей многие тонкости русских дебатов были бы непонятны без дополнительных комментариев. Именно поэтому пришлось значительно переработать русскую версию, в результате появилась данная статья.

Вопрос о кочевом феодализме возник в советской антропологии (или этнологии) только в 1934 г. В 1920–1930-х гг. существовал плюрализм методологических подходов: одни исследователи придерживались мнения о первобытной природе кочевых обществ, другие считали, что номады создавали государственность; имелась также и промежуточная точка зрения. Начиная с середины 1930-х гг., с установлением диктатуры Сталина и началом массовых репрессий и геноцида против советских людей, в исторической литературе возобладали теория кочевого феодализма. Тем не менее в рамках ортодоксального монизма существовали свои собственные ревизионисты, которые подвергали сомнению господствующие представления о кочевом феодализме. Согласно официальной точке зрения, основой феодализма у кочевников являлась собственность на землю, а по мнению ревизионистов — собственность на скот. Разногласия между ортодоксами и ревизионистами привели к нескольким бурным дискуссиям, наиболее обострившимся в 1953–1955 гг. После XX съезда КПСС произошло ослабление тоталитарного гнета и уменьшение идеологического прессинга над общественными науками. Этого оказалось достаточно, чтобы многие исследователи стали искать новые подходы и предлагать нетрадиционные решения научных проблем. В этот период появились нефеодалные интерпретации номадизма: концепция дофеодалного и раннеклассового характера кочевых обществ, мнение о существовании у кочевников азиатской формации, точка зрения об особом номадном способе производства (подробнее об этой дискуссии см.: Хазанов, 1975; Коган, 1980; Халаль Исмаил, 1983; Khazanov, 1984; Марков, 1976; 1998; Крадин, 1992; 2001; Масанов, 1995).

В постсоветский период дискуссия продолжалась в русскоязычной литературе. При этом сохранились, в той или иной степени, все ранее высказывавшиеся основные точки зрения. Наибольшее

обсуждение вызвали попытки обоснования особого пути развития обществ кочевников-скотоводов. Предмет дискуссии сконцентрировался вокруг вопроса, что является основой специфичности номадизма — внутренняя природа скотоводства, т. е. основа так называемого номадного способа производства, или же особенности внешней адаптации кочевников к земледельческим “мир-империям”. В то же время в условиях преодоления формационного монизма появились публикации, в которых была сделана попытка рассмотреть кочевничество с точки зрения теории цивилизаций (см.: Крадин, 2001; Kradin, 2002).

К проблеме кочевого феодализма Геллнер обращался дважды: сначала в редакторском предисловии к книге А. Хазанова “Кочевники и внешний мир”, а затем более подробно в монографии “Государство и общество в советской мысли”, где он посвятил дискуссии о социально экономических отношениях у номадов целую главу (Gellner, 1984: IX–XXV; 1988: 92–114).

Геллнер отдает должное советскому кочевниковедению. Поскольку русская история всегда была связана со степным миром, пишет он, то русские и советские ученые должны были преуспеть в изучении номадов. Разработанность проблемы, таким образом, диктовалась ее актуальностью для советских авторов. Геллнер затрагивает два аспекта рассматриваемой в главе проблемы: теоретический, касаясь эвристических возможностей марксистского метода, и собственно историографический, давая оценку тем или иным авторам и их работам.

В теоретическом аспекте Геллнер отмечает, что кочевничество представляет собой для марксизма столь же фундаментальную проблему, что и азиатский способ производства. Ни номады, ни Восток не вписываются в единый формационный марш человечества от первобытности к коммунизму. Это проистекает из невозможности интерпретировать внешне неподвижных и циклически эволюционирующих кочевников в рамках прогрессивистских (а я бы еще добавил и евроцентристских) теорий человеческой истории, к числу которых относится и марксизм.

Другая серьезная проблема заключается в том, что социально-политическую организацию скотоводов трудно отобразить в тер-

минах марксистского понятийного аппарата. Как объяснить такое парадоксальное с марксистской точки зрения явление: у кочевников практически параллельно со становлением номадизма как хозяйственно-культурного типа появляется частная собственность на средства производства (скот) намного раньше, чем частная собственность на землю у земледельцев, тогда как по уровню социально-экономического развития номады могут быть гораздо менее развитыми, чем оседлые? Насколько правомерно скотоводов относить к первобытнообщинной формации, если у них имелись частная собственность на скот и лица, аккумулировавшие ее в больших масштабах? С другой стороны, как можно их считать постепервобытными, если у кочевников не было государственного бюрократического аппарата?

Наконец, как интерпретировать номадизм в рамках одного из основных методологических принципов исторического материализма — закона соответствия базиса и надстройки. Согласно теории Маркса, изменения в базисе неминуемо приводят к соответствующему преобразованию надстройки (в форме революций). Экономический базис кочевничества — пастбищное скотоводство — оставался практически неизменным на протяжении многих столетий. И древние, и средневековые, и даже более поздние кочевники имели схожий состав стада, жестко детерминированный экологическими условиями обитания, примитивную легкотранспортируемую утварь, схожую технологию ведения хозяйства. Однако пасторальная “надстройка” не демонстрировала базисоподобное постоянство. Номады то создавали племенные союзы из разрозненных конгломератов племен и родственных кланов, то образовывали под властью могущественных лидеров гигантские кочевые империи, то вдруг вновь распадались на отдельные ханства, племена и даже более мелкие группы.

Поскольку номадизм выпадал из марксистской диалектики истории, резюмирует Э. Геллнер, советскими теоретиками была создана специфическая теория кочевого феодализма. К создателям теории кочевого феодализма он правильно относит академика Б. Я. Владимирцова и член-корреспондента АН СССР С. П. Тол-

стова. Книга расстрелянного в 1939 г. иркутского профессора Н. Н. Козьмина “К вопросу о турецко-монгольском феодализме” (1934) ему, видимо, осталась неизвестной. Геллнер с уважением пишет о Владимирцове как о крупном ученом-ориенталисте и не причисляет его к сикофантам ортодоксального марксизма. Он правильно отмечает, что большинство материалов, интерпретированных Владимирцовым как феодальные, относятся к периоду империи, и подводит к вполне закономерному вопросу: насколько правильно использовать феодальную парадигму к неимперским обществам номадов? Не ускользнуло от Геллнера и то, что Владимирцов, в отличие от его эпигонов, почти не цитирует работы классиков марксизма. Правда, здесь Геллнер несколько непоследователен. Интуитивно Владимирцов симпатичен ему, но Геллнер относит последнего к создателям теории кочевого феодализма. Как мы говорили ранее, Владимирцов был крупным ориенталистом лингвистической ориентации. Едва ли он мог глубоко знать марксизм. Все, что есть марксистского в “Общественном строе монголов”, это перечисление в списке литературы книги Энгельса “Происхождение семьи” и попытка Владимирцова на фактическом материале обосновать наличие ряда феодальных институтов в монгольском обществе периода империи. В ряде важных мест он цитирует известного русского историка конца XIX в. Павлова-Сильванского. Но нигде не пишет о феодализме как об особом способе производства, который следует за рабовладением.

Почему же именно Владимирцов считается создателем теории кочевого феодализма? Думаю, ответ на этот вопрос можно найти, проследив некоторые параллели в оценках советскими исследователями имен археолога Чайлда и ориенталиста Владимирцова. Л. С. Клейн в своей книге “Феномен советской археологии” (1993) показал, что при еще жизни отношение к Чайлду было достаточно настороженным, хотя после смерти его вклад в развитие марксистской археологии был канонизирован. “Это была обычная практика в Советском Союзе по отношению к иностранным левым интеллектуалам. Пока он живет, держи ухо востро: бог его знает, какое коленце он выкинет, и твои же хорошие аттестации очень

даже могут отозваться на тебе (в Советском Союзе политические обвинения всегда имели обратную силу и заразительность). А вот мертвый марксист — хороший марксист: его взгляды останутся марксистскими навечно” (1993: 116).

Возможно, с “Общественным строем монголов” произошло нечто подобное. Автор был авторитетным ученым. Он скоропостижно скончался за три года до выхода книги в свет — именно поэтому ему можно было совершенно безответственно приписывать любые идеи. Для одних он стал иконой, а его вклад в монгольскую медиевистику был канонизирован на столетия. Для других оказался удобной мишенью для критики. Не в Златкина или Потапова было выпущено большинство критических стрел главных оппонентов теории “кочевого феодализма” — Толыбекова и Маркова. Они были направлены против работы “Общественный строй монголов”, хотя критиковалось ими понимание феодализма не Владимирцовым, а Сталиным. Попытка Федорова-Давыдова показать, что между пониманием феодальной собственности Б. Я. Владимирцовым и пониманием данного явления большинством советских “феодалистов” очень мало общего (1976), не имела успеха.

В отличие от Владимирцова личность Толстова, похоже, не вызывает у Геллнера особенных симпатий. Последний показан как ярый поклонник прямолинейных сталинских тезисов. Геллнер отмечает преобладание в работах Толстова канонических цитат из работ классиков марксизма над конкретно-историческими данными. Впрочем, это не главная причина антипатии. Основной негативизм Геллнера вызван настойчивыми попытками Толстова обосновать связь марксистской теории классовой борьбы с необходимостью применения ее на практике. Доказывая классовый, феодальный характер кочевых обществ, Толстов тем самым подводил к обоснованию положения о наличии в современных ему обществах скотоводов класса мироедов-кулаков, об усилении классовой борьбы (в соответствии со сталинским тезисом) и, следовательно, о необходимости научного обоснования развязывания массового геноцида против кочевых народов Средней Азии, Сибири и Казахстана.

Далее Геллнер вполне адекватно передает ход последующей дискуссии о кочевом феодализме. Он показывает, как тезис о феодальной природе кочевых обществ постепенно распространился

во всей советской исторической науке, и совершенно правильно считает, что новый всплеск дискуссии связан со знаменитой Ташкентской сессией 1954 г. Геллнер обозначает в качестве ключевых фигур происходившей дискуссии Зиманова, Потапова и Толыбекова. Симпатии Геллнера при рассмотрении дискуссии очевидны (к сожалению, из поля зрения Геллнера выпал еще один сторонник Толыбекова — казахский этнолог Шахматов). Он явно на стороне Толыбекова, попавшего под огонь жесточайшей критики догматиков, и сочувственно излагает позицию последнего. Очень важной представляется, по мнению Геллнера, критика Толыбековым официальной теории кочевого феодализма. Напротив, точка зрения Потапова и его сторонников (а таковыми оказались все, кроме вышеупомянутого Шахматова), отстаивавших официальную схему, Геллнеру несимпатична. Он показывает натянутость и противоречивость построений Потапова. “Его аргументы странны”, — таков вывод английского антрополога (Gellner, 1988: 104).

Геллнер абсолютно точно указывает и на слабые стороны позиции Толыбекова, который, с одной стороны, критикует теорию кочевого феодализма, а с другой, остается в рамках феодальноориентированной (патриархально-феодальной) интерпретации истории кочевников-скотоводов. Увы, этому имелись объективные причины. После разгрома первой советской дискуссии об “азиатском способе” представления об историческом процессе в отечественной исторической науке могли развиваться только в рамках однолинейной формационной парадигмы. Многие исследователи, получившие высшее образование в советское время (Толыбеков, например, родился в 1907 г.), возможно, и не подозревали о том, что могут существовать многомерные интерпретации всемирной истории. В рамках советского марксизма в сталинскую эпоху локомотив мировой истории мог двигаться только по одной линии, если не вперед, то хотя бы таким образом: “один шаг вперед — один шаг назад”.

Кочевники же упорно не вписывались в диалектику мировой истории. На их исторических рельсах неизменно оказывался свето-

фор с красным светом. Именно поэтому, считает Геллнер, чтобы вписать номадов в ход исторического процесса, Толыбеков защищал прогрессивность включения казахов в состав царской России (Gellner, 1988: 114). Здесь Геллнер сближает точку зрения Толыбекова с позицией Сартра, смело вычеркнувшего все так называемые доисторические народы из мировой истории, оставив им право на историческое прошлое только в качестве экзотических сообществ в рамках более развитых (“исторических”) обществ. Позиция Сартра была резко и справедливо раскритикована Леви-Строссом, и Геллнер солидарен с последним. Однако в защиту Толыбекова следует сказать, что он не остался чистым “однолинейщиком”, а пытался проложить рядом с магистральной дорогой мировой истории параллельный ряд рельсов. Подводя под свою точку зрения солидное политэкономическое обоснование, он хотел доказать, что если для оседлых жителей основным средством производства являлась земля, то для скотоводов она выступала лишь в качестве предмета труда, так как их средством труда является скот. В этом плане Толыбекова можно считать одним из тех исследователей в СССР, кто стремился возродить в отечественном марксизме многолинейные интерпретации исторического процесса.

После Толыбекова знамя борьбы против “кочевого феодализма” подхватил Марков. Идея об особом “кочевническом способе производства”, сформулированная им в 1967 г. в диссертации на соискание степени доктора исторических наук, являлась вполне многолинейной и опасной для догматической пятичленной схемы. К сожалению, Геллнер, видимо, не был знаком с этой гипотезой. Он цитирует только опубликованную на основе диссертации книгу Маркова “Кочевники Азии”, в которой смелая идея о кочевническом способе производства уже заменена концепцией предклассового состояния номадов.

Судя по всему, от Геллнера ускользнула и полемика Маркова с Златкиным, Лашуком и Федоровым-Давыдовым. Почему-то британский антрополог практически не использует статьи советских ученых, даже те, которые публиковались в центральных научных журналах.

Несмотря на это, Геллнер совершенно справедливо связывает последующий прогресс советского кочевниковедения с работами Маркова и Хазанова. Он отмечает, что в отличие от работ Толыбекова, оперировавшего только материалами по истории казахов, они аргументируют свои позиции на представительном сравнительно-историческом материале. Геллнер расценивает вклад обоих авторов главным образом через призму наиболее последовательной критики теории кочевого феодализма; в этой связи он пишет, что и Марков, и Хазанов пришли “к одинаковым заключениям независимо” (Gellner, 1988: 109–12).

Во многом с этими выводами Геллнера можно согласиться. Марков сам подчеркивал антифеодальную направленность своих изысканий (1976; 1998). Почти все главы книги Маркова “Кочевники Азии” представляют собой критический пересмотр уже известных (и интерпретированных как феодальных) фактов под принципиально иным углом зрения. “Именно ему принадлежит приоритет в аргументированном развенчании этой теории”, — полагает Калиновская (1996). Свое негативное отношение к феодальной интерпретации кочевых обществ, хотя и не так прямо, подчеркивает и Хазанов (Khazanov, 1981: 173, note 3). Можно также проследить и определенное сходство в характеристике обоими авторами экономики номадизма, социальной структуры и постстарно-политической организации. Верно и то, что в конечном счете оба автора в той или иной степени приходят к идее Ибн Халдуна о цикличной эволюции пасторальных обществ (Gellner, 1988: 111, 113). Но в то же время в главном, в выводах, Марков и Хазанов расходятся друг с другом. Если для Маркова кочевники не могли преодолеть барьера классовобразования (в разные годы он называл их различными терминами — дофеодальными, предклассовыми или номадным способом производства, входящим в первичную формацию), то для Хазанова в ходе самостоятельной эволюции они вполне могли достигать уровня раннего государства. А это, согласитесь, принципиальная разница.

Заканчивая свой обзор советского кочевниковедения, Геллнер обращается ко второму тому “Истории первобытного общества”.

Не будучи марксистом, тем не менее он с симпатией цитирует выводы Шнирельмана, что кочевое скотоводство хотя и является одной из форм производящего хозяйства, тем не менее “не позволяет обществу подняться выше предклассовых или в редких случаях раннеклассовых отношений” (1986: 244) и даже находит аналогичные мысли в работах Г. Чайлда. Тот факт, что эта идея изложена в солидном академическом томе, вышедшем в центральном научном издательстве большим тиражом, да еще и под редакцией академика Бромлея, служит, по мнению английского антрополога, показателем смены курса советского кочевниковедения. “Поток феодальных интерпретаторов иссяк”, такой, несколько оптимистичный, вывод делает Геллнер в отношении будущего советской антропологии (Gellner, 1988: 113).

Увы, если бы все обстояло действительно так! Геллнер упускает из виду то, что цитированный им фундаментальный труд о первобытных обществах не являлся отражением мнения большинства. Том был подготовлен в одном из наиболее ярких научных коллективов 1970–80-х гг. — секторе истории первобытного общества (зав. сектором А. И. Першиц) Института этнографии АН СССР. Полагаю, что если бы Э. Геллнер познакомился с работами более широкого круга кочевниковедов, то он не был бы столь оптимистичен. К сожалению, для многих историков и этнологов в постсоветских странах марксизм по-прежнему является влиятельным течением.

Другая многочисленная группа исследователей просто поменяла термин “формация” на термин “цивилизация”. Если ранее они пытались обосновать свое право на место в мировой истории посредством доказательства существования у своих предков феодализма, то теперь они делают это, объявляя себя особой цивилизацией. При этом многие понимают цивилизацию не как особую оригинальную культурную систему (Шпенглер или Тойнби), а как стадию мировой истории (Морган или Энгельс).

Геллнер положительно оценивал тех советских антропологов, которые отрицали кочевой феодализм. В то же время особенности кочевых скотоводческих обществ не могут быть объяснимы исходя только из логики внутреннего развития номадов. Эти идеи восходят к знаменитой книге О. Латтимора “Внутренняя Азия — фрон-

тир Китая” (Lattimore, 1940), в которой показано, что специфика обществ номадов не может быть правильно понята без обращения к культурной экологии и отношениям кочевых скотоводов с оседло-земледельческими соседями. В более позднее время сначала Хазанов (Khazanov, 1984), а затем Барфилд (Barfield, 1981; 1992; 2000) привлекли внимание к этой проблеме. А. М. Хазанов убедительно показал, что крупные общества кочевников (он относит их к стадии раннего государства) создавались вследствие асимметрии отношений между номадами и их внешним (оседлым) окружением. Т. Барфилд, отвергая диффузионистские интерпретации заимствования номадами государства у земледельцев, показал, что степень централизации степного общества была прямо связана с уровнем политической интеграции оседлого земледельческого общества. Впоследствии идеи об опосредованности степного политогенеза связями с земледельческим миром были развиты на материале средневековых номадов восточноевропейских степей Голденом (Golden, 1992; 2001).

Для марксистской науки подобные идеи были неприемлемы, поскольку, исходя из теории формаций, государство могло возникнуть только вследствие внутренних причин — роста производительных сил и борьбы классов. С этой точки зрения даже ранние идеи Хазанова, высказанные в его книге об эволюции скифского общества (Хазанов, 1975), выглядели достаточно ревизионистскими. Традиция выводить особенности кочевых обществ, исходя только (или главным образом) из механизмов внутреннего развития, сохраняется в российской номадистике и в наши дни (Калиновская, 1996; Кычанов, 1997; Марков, 1998 и др.). Тем не менее и в русскоязычной литературе есть сторонники линии Латтимора — Хазанова — Барфилда (Масанов, 1991; Крадин, 1992; 2002; Фурсов, 1995; Скрынникова, 1997; Васютин, 1998; Крадин, Бондаренко, 2002; Kradin, Bondarenko, Barfield, 2003 и др.).

Оказал ли Э. Геллнер какое-нибудь влияние на русскую номадологию? Все многолинейные работы вышли уже после публикации “Государства и общества”, поэтому прямого влияния, конечно, не было. Я не сомневаюсь, что влияние на русских антропологов могло быть большим, если бы эта работа была переведена и опуб-

ликована в России, как это произошло с книгой “Нации и национализм”. Последний труд Геллнера и работы главного конструктивиста в России В. А. Тишкова сделали многое для развенчания примордиалистской марксистской теории этноса Бромлея. Нельзя забывать, что Геллнер оказал содействие в публикации книги А. М. Хазанова “Кочевники и внешний мир” в Великобритании. Имя Хазанова всегда было очень влиятельным на Западе и в СССР, а его идеи были востребованными номадологами моего поколения. С этой точки зрения роль Э. Геллнера весьма значима не только для мировой номадологии, но и в происхождении многолинейной традиции в российской антропологии кочевых обществ.

Часть II

ТЕОРИЯ КОЧЕВОГО МИРА

КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЩЕСТВА НОМАДОВ В КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ*

Несмотря на обилие общетеоретических работ в области кочевниковедения, нельзя сказать, что проблема интерпретации номуадизма в контексте всемирной истории обстоятельно разработана. Имеется несколько наиболее влиятельных парадигм исторического процесса, в число которых входят стадийные однолинейные и многолинейные теории (теория модернизации, неозволюционизм, марксизм, мультиэволюционизм), цивилизационный и мир-системный подходы (*Chase-Dunn, Hall, 1997; Павленко, 1997; 2002; Бенгли, 1998; Валлерстайн, 1998; Сандерсон, 1998; Коллинз, 1998; Sanderson, 1999; Claessen, 2000; Грин, 2001; Ионов, 2002; Ионов, Хачатурян, 2002; Розов, 2001; 2002; Коротаев, 2003; Крадин, 2003* и др.).

В рамках теории модернизации, одного из наиболее влиятельных теоретических направлений на Западе, пожалуй, только Г. Ленски включил кочевые общества в свою типологическую схему в качестве бокового, по сути, “тупикового”, варианта общественного развития (*Lenski, 1973: 132*).

Неозволюционистские антропологи, занимавшиеся типологией политических систем, также фактически упустили кочевников из своих построений. Если обратиться к наиболее авторитетным работам этого методологического направления, то мы не найдем в них

* Комплексные общества номуадов в кросс-культурной перспективе // Монгольская империя и кочевой мир. Вып. 1. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2004. С. 20–49.

ни разделов, обсуждающих место нomaдизма в рамках их построений, ни тем более специальных типологий собственно кочевых скотоводческих обществ. Концепция М. Фрида включает четыре уровня: эгалитарное, ранжированное, стратифицированное общества, государство (Fried, 1967). Согласно Э. Сервису, таких уровней больше: локальная группа, община, вождество, архаическое государство и государство-нация (Service, 1971; 1975). Последняя схема впоследствии неоднократно уточнялась и дополнялась (см., напр.: Johnson, Earle, 2000), однако, как правило, вопрос о специфике социальной эволюции обществ кочевников-скотоводов особо не рассматривался. В лучшем случае нomaды используются как пример "вторичного" племени или вождества, отмечается военизированность их общества и создание пасторальной государственности на основе завоевания аграрных цивилизаций (там же, 139, 263–264, 294–301).

Несколько более популярна тема кочевников в трудах сторонников мир-системного подхода (Chaze-Dunn, 1988; Abu-Lughod, 1989; Hal, 1991; Chase-Dunn and Hall, 1997 etc.), однако угол зрения, под которым рассматриваются в этих работах кочевники, выходит за рамки настоящей главы. В исследованиях же западных авторов, специально занимавшихся проблемами социокультурной эволюции нomaдов, подчеркивается, как правило, отсутствие у кочевников внутренних потребностей к созданию прочных форм государственности, циклический характер политических процессов, появление перспектив к устойчивому развитию только в случае симбиоза с земледельцами (Lattimor, 1940; Khazanov, 1984; Fletcher, 1986; Barfield, 1989; Golden, 1992; 2001 etc.).

Гораздо больше внимание проблеме периодизации нomaдизма в рамках мировой истории уделялось в марксистской и особенно советской литературе. Однако при марксистском подходе исследователи либо классифицировали кочевников по соответствующим формациям (отсюда получалось, что типологически сопоставимые степные империи хунну, тюрков и монголов являлись соответственно рабовладельческими, раннефеодальными и сложившимися феодальными государствами, либо, сосредоточившись на критике формационной схемы, спотыкались на вечном вопросе: могли ли нomaды самостоятельно преодолевать барьер государственности

(подробнее см.: Федоров-Давыдов, 1973; Хазанов, 1975; Марков, 1976; 1989; 1998; Першиц, 1976; 1994; Коган, 1981; Халиль Исмаил, 1983; Khazanov, 1984; Попов, 1986; Gellner, 1988; Крадин, 1992; 2001; Васютин, 1998 и др.)?

Тем не менее в рамках марксистского и неомарксистского подходов была выдвинута важная концепция нomaдного способа производства, которая поставила под сомнение корректность универсалистских построений, основанных на интерпретации только оседло-земледельческих обществ (Марков, 1967; Bonte, 1981; 1990; Масанов, 1991; Калиновская, 1996 и др.). Впоследствии появились другие построения, акцентирующие внимание на завоевательном (экзополитарном, ксенократическом) характере кочевых империй (Крадин, 1990; 1992; 2002 и др.). Претензии на универсализм сторонников идеи нomaдного способа производства были отвергнуты (Калиновская, 1994; Крадин, 1996), хотя нельзя не отметить эвристическую ограниченность всех основных моделей, сформулированных советскими/российскими учеными в два последние десятилетия прошлого века. Одни авторы недооценивали милитаризованность нomaдов и строили свои схемы в основном на материалах нового времени (Марков, 1989; 1998; Калиновская, 1996), другие использовали в своих концепциях главным образом данные по Западной Евразии (Плетнева, 1982), третьи конструировали свои построения на примерах из Восточной Евразии (Крадин, 1992).

Необходимо иметь в виду, что в разных экологических условиях создавались разные модели адаптации кочевников (Khazanov, 1984) к внешним земледельческим культурам и цивилизациям, и, следовательно, могли возникать разные типы политических систем нomaдов (Fletcher, 1986; Barfield, 1989; 1993; Golden, 2001). По этой причине, возвращаясь к проблеме соотношения моделей нomaдного способа производства и ксенократической кочевой империи, правильнее было бы интерпретировать их, с одной стороны, как две разные стадии развития кочевых обществ (Васютин, 2002) и с другой — как два разных результата культурной адаптации нomaдов к геополитическим условиям.

Данное обстоятельство учитывалось в типологиях обществ кочевников-скотоводов (речь идет именно о типологиях собствен-

но кочевых обществ, а не универсальных схемах, в которых бы кочевникам отводились определенные позиции). Так или иначе, большинство схем основаны на степени вовлеченности кочевых обществ в седентеризационные и аккультурационные процессы оседло-земледельческих цивилизаций и затрагивают в основном степные империи (*Wittfogel, Feng, 1949; Tamura, 1974; Хазанов, 1975; Плетнева, 1982; Khazanov, 1984; Крадин, 1992; Barfield, 2000* и др.). Касательно степени сложности кочевниковеды в лучшем случае могли отмечать децентрализованное и централизованное состояние кочевых обществ (как в делении Г. Е. Марковым (1976) на “общинно-кочевое” и “военно-кочевое” состояния), но не более. В этой связи трудно не согласиться с мнением С. А. Васютина, что проблема типологии обществ кочевников является одной из наиболее актуальных проблем кочевниковедения (1998: 19–20, 22).

Осознавая важность не только рассмотрения кочевничества в рамках общеисторических схем (*Крадин, 1992*), но и необходимость создания типологий собственно кочевых обществ, автор этой работы предложил разделять их по степени сложности на три группы:

- 1) акефальные, сегментарные, клановые и племенные образования;
- 2) “вторичные” племена и вождества;
- 3) кочевые империи и “квазиимперские” политии меньших размеров (*Kradin, 1996; Крадин, 2001*).

Переход от одного уровня к другому мог совершаться как в одну, так и в другую сторону. Пределом увеличения эволюционной сложности являются кочевые империи. Это был непреодолимый барьер, детерминированный экологическими условиями аридных зон Старого Света. При этом важной особенностью эволюции кочевничества являлось несоответствие трансформации политической системы иным критериям роста сложности. Политическая система кочевников могла эволюционировать от акефального уровня к более сложным формам организации власти, и обратно, но такие формальные показатели, как величина плотности населения, сложность технологии, возрастание структурной дифференциации и функциональной специализации, оставались практически неизменными. При трансформации от племенных пасторальных систем к кочевым ксенократическим империям происходило только увели-

чение общей численности населения (за счет включения завоеванного населения), усложнялась политическая система и увеличивалось общее количество уровней ее иерархии.

Всякая последующая эволюция по линии усложнения могла быть связана либо с завоеванием кочевниками земледельцев и переселением на их территорию, либо с развитием среди кочевников седентеризационных процессов в маргинальных природных условиях, либо с модернизационными процессами в новое и новейшее время.

Не так давно С. А. Васютиным была предложена более дробная типология, которая включает шесть типов обществ (в порядке усложнения): 1) децентрализованные родоплеменные общества; 2) децентрализованные крупные родоплеменные союзы; 3) вождества; 4) кочевые ксенократические империи; 5) кочевые суперимперии; 6) политии с высокой долей подчиненного земледельческого населения; 7) государства, созданные кочевниками на территории земледельческих цивилизаций (2002). Мне показалось, что в этой схеме есть некоторые логические нарушения (*Бондаренко и др., 2002: 27*), но, независимо от того, кто более близок к истине, Васютин или я, появление новых типологических построений стоит только приветствовать. Чем больше работ, тем больше шансов, что мы сможем создать одну или, скорее, несколько работоспособных типологий.

Методология исследования

Критериев типологии может быть сколько угодно. Кочевников можно типологизировать, например, по хозяйственно-культурному типу, подразделяя на евразийских коневодов, афро-азиатских верблюдоводов, восточноафриканских коровопасов, северных оленеводов и горных яко- или ламоводов (*Хазанов, 1975; Khazanov, 1984; Barfield, 1993*). Можно классифицировать кочевников по степени мобильности, и на основании этого критерия уже создано большое количество самых разнообразных схем (*Андрианов, 1980; Калининская, Марков, 1985; Масанов, 1995* и др.).

В то же время мы можем рассматривать кочевников по степени сложности их общества и социально-политической организации. Однако как определить, что взятое нами общество является более

сложным, чем другое, и какие критерии должны быть положены в основу подобной классификации, тем более что одни и те же поли-тии (например, Хуннская держава или империя Чингиз-хана) для одних исследователей представляли уже сложившиеся государства, тогда как для других они являлись только предгосударственными образованиями. Возможно, несколько менее субъективна методология холокультурализма. Именно сторонникам этой методологии чаще всего приходилось сравнивать самые разные культуры нашей планеты и определять критерии подобных сопоставлений. Эти исследования стали основой ряда известных публикаций на данную тему (Carniero, 1973a; Murdock, Provost, 1973 etc.) и представлены в знаменитом атласе Дж. Мёрдока (Murdock, 1967).

Методология авторов вышеупомянутых работ основана на однолинейной интерпретации эволюции, главным критерием которой является рост организационной сложности. Согласно данным представлений, восходящим к идеям классического эволюционизма Г. Спенсера, культурную эволюцию следует определить как "переход от относительно неопределенной, рыхлой однородности к относительно определенной, последовательной неоднородности посредством последовательной дифференциации и интеграции" (Carniero, 1973: 90). Однако в настоящее время многие исследователи склоняются к тому, что эволюция не имеет заданного направления. Далеко не все пути эволюции ведут к росту сложности, барьеры на этом пути весьма значительны, и, наконец, стагнация, упадок и даже гибель являются столь же обычными явлениями для эволюционного процесса, что и поступательное увеличение сложности и развитие структурной дифференциации. Главным критерием эволюции является качественная трансформация общества из одного структурного состояния в другое (Klassen, 2000; Claessen, 2000).

С вышеизложенным трудно не согласиться. Действительно, однолинейный эволюционизм имеет свои эвристические пределы. Однако это не означает, что другие методологические подходы свободны от недостатков. Более того, каждый из подходов удобен для объяснения или интерпретации одних вопросов, тогда как для решения других желательнее использовать иные методологии. Поскольку целью данной работы является определение уровня стадийной сложности обществ кочевников-скотоводов в сопоставле-

нии с другими обществами, нам представляется целесообразным использовать такую методологию, которая бы позволила сравнивать по одним и тем же критериям общества различных хронологических периодов, хозяйственно-культурных типов и регионов.

Для реализации поставленной цели воспользуемся одной из вышеупомянутых работ, написанной в соавторстве Дж. Мёрдоком и К. Провост (Murdock, Provost, 1973). В данной статье авторы задаются целью, что является критерием сложности общества. Они взяли десять, с их точки зрения, наиболее важных критериев культурной сложности — письменность, оседлость, земледелие, урбанизацию, технологию, транспорт, деньги, плотность населения, политическую иерархию и социальную стратификацию. Каждая из переменных оценена по пятибалльной шкале от нуля до четырех.

Общий список признаков выглядит следующим образом:

1. Письменность и записи

- 4 — имеется письменность и хотя бы "скромные" записи;
- 3 — имеется письменность, но без аккумуляции записей или использована письменность чужого народа;
- 2 — используются неписьменные записи в форме пиктограмм, кипу, рисунков и др.;
- 1 — используются мнемонические средства, например, фишки;
- 0 — письменность, записи, мнемонические средства отсутствуют.

2. Степень оседлости

- 4 — поселения оседлы и постоянны;
- 3 — поселения оседлы, но непостоянны;
- 2 — полuosедлая система поселений;
- 1 — полукочевая система поселений;
- 0 — кочевая система поселений.

3. Земледелие

- 4 — интенсивное земледелие (ирригационное, пашенное) — основа сельского хозяйства;
- 3 — экстенсивное земледелие, более значимое, чем другая форма сельского хозяйства;

2 — земледелие более 10%, но уступает другим формам сельского хозяйства;

1 — земледелие менее 10%;

0 — собственное земледелие не практикуется.

4. Урбанизация

4 — население местных общин в среднем более 1000 человек;

3 — население местных общин в среднем между 400 и 999 человек;

2 — население местных общин в среднем между 200 и 399 человек;

1 — население местных общин в среднем между 100 и 199 человек;

0 — население местных общин в среднем менее 100 человек.

5. Технологическая специализация

4 — общество имеет разнообразных специалистов ремесла, включая кузнецов, ткачей и гончаров;

3 — общество имеет металлургов или кузнецов, но испытывает недостаток ткачей и/или гончаров;

2 — ткачество имеется, но металлургия отсутствует или неизвестна;

1 — гончарство известно, но металлургия и ткачество отсутствуют или неизвестны;

0 — гончарство, ткачество и металлургия отсутствуют или неизвестны.

6. Наземный транспорт

4 — перевозка грузов на самоходных колесных средствах;

3 — перевозка грузов животными на колесных средствах;

2 — перевозка грузов животными на бесколесных средствах;

1 — перевозка грузов вьючными животными;

0 — переноска грузов людьми.

7. Деньги

4 — валюта в виде стандартных металлических или бумажных денег;

3 — символические средства (каури, ожерелья, слитки);

2 — деньги иностранных государств, в том числе колонизаторов;

1 — денег нет, но в качестве средств обмена используются ценные предметы или продукты (соль, зерно, скот, украшения);

0 — прямой или косвенный обмен товарами.

8. Плотность населения

4 — более 100 человек на 1 кв. милю;

3 — от 26 до 100 человек на 1 кв. милю;

2 — от 5,1 до 25 человек на 1 кв. милю;

1 — от 1 до 5 человек на 1 кв. милю;

0 — менее 1 человека на 1 кв. милю.

9. Уровень политической интеграции

4 — три и более уровня иерархии, например, государство, разделенное на области и районы;

3 — два уровня иерархии, например, полития, разделенная на районы;

2 — один уровень иерархии, как-то: полития, объединяющая локальные общины;

1 — безгосударственное общество, состоящее из автономных общин;

0 — безгосударственное децентрализованное общество.

10. Социальная стратификация

4 — три и более отличных друг от друга страты (класса и др.);

3 — две страты (например, знать и простолюдины), наличие наследственного рабства и/или каст;

2 — две страты, но рабство и касты неразвиты;

1 — формальные страты отсутствуют, но имеется рабство и/или статусные различия, обусловленные владением или перераспределением богатства;

0 — эгалитарное общество без стратификации, каст и рабства.

Авторы закодировали информацию по 186 обществам из всех регионов мира. По их замыслу общая сумма баллов должна сви-

детельствовать о степени сложности общества. Понятно, что полученные цифры условны. Нельзя оценивать сложность общества только на основе простого арифметического суммирования. Сами авторы признают это, отмечая достаточно курьезный факт, когда русская культура оценена ими в 38 из 40 максимальных баллов, тогда как древний Вавилон и Рим — соответственно в 39 баллов. Один балл у вавилонян и римлян отсутствует по причине того, что они не использовали механические транспортные средства, а русские недосчитались целых два балла вследствие низкой плотности населения (там же, 388).

Но Мёрдок и Провост и не задавались целью создать рейтинг человеческих культур и цивилизаций. Они попытались показать только общие тенденции в социальной эволюции. И в этом ученые достигли положительного результата. Общества охотников собирателей располагаются в самом низу табл. 3 “Выборка обществ в порядке ранжирования общей культурной сложности” (например, тиви — 2, бушмены кунг — 2, хадза — 0). Сегментарные общества имеют несколько большее количество очков (масаи, гияки — 9, яномамо — 8). У вождеств сумма баллов еще больше (Тонга — 20, тробрианцы — 16). Самый верх списка занимают государства и империи (Китай, Япония — по 40, Вавилон, Рим — по 39, Корея, Россия, Турция — по 38 и др.).

Все, в общем-то, вполне логично. Фактически все технологически и культурно самые сложные общества находятся вверху “списка” Мёрдока и Провост. Важно не конкретное место каждого из обществ, а типологический ряд, в котором они находятся. Исходя из этого принципа, Дж. Мёрдок и К. Провост условно разделили все общества на четыре группы сложности (Murdock, Provost, 1973: 391):

- 1) низшая сложность — 0—9 баллов;
- 2) низшая средняя сложность — 10—19 баллов;
- 3) верхняя средняя сложность — 20—29 баллов;
- 4) высшая сложность — 30—40 баллов.

Интересно, что несколько ранее, пользуясь иной методикой подсчета, аналогичное исследование провел Р. Карнейро (Carneiro, 1973a: 846, 853). Просматривая оба списка, можно убедиться, что там, где речь идет об одних и тех же примерах, совпадений очень много (Murdock, Provost, 1973: 390). Думается, это подтверждает

корректность методики авторов обеих публикаций. Рассмотрим теперь, как в эту схему вписываются общества кочевников-скотоводов.

Источники исследования

В базе Дж. Мёрдока и К. Провост из 186 обществ представлено 7 обществ кочевников и скотоводов. Они представлены в табл. 1. Первая колонка означает порядковый номер общества в общем списке, третья — регион (А — Африка, С — Средиземно-море, Е — Восточная Евразия).

Таблица 1

Уровень сложности общества кочевников и скотоводов

№		Рег.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Все- го
034	Масаи	А	0	0	0	2	3	1	1	1	1	0	9
041	Туареги Ахаггара	С	3	0	2	0	3	1	1	0	3	3	16
046	Бедуины Руала	С	4	0	0	0	3	1	2	0	2	1	13
058	Бассери	Е	3	0	2	1	3	1	0	1	3	1	15
065	Казахи	Е	3	1	0	3	3	1	2	1	3	3	20
066	Халха-монголы	Е	4	1	1	0	3	3	2	1	4	3	22
121	Чукчи-оленоводы	Е	0	1	0	0	3	2	0	0	1	1	8

По Murdock, Provost, 1973.

Прокомментируем данную таблицу. Если следовать шкале Дж. Мёрдока и К. Провост, два общества (масаи, чукчи) попадают в уровень низшей сложности, три общества (бассери, бедуины, туареги) — в уровень низшей средней сложности и два общества (казахи и монголы) — в уровень верхней средней сложности. Согласно распространенным в антропологии классификациям, первые два общества вписываются в так называемые акефальные, сегментарные общества. Следующие три вполне соответствуют тому, что называют вождествами или стратифицированными обществами. Последние два имеют более сложную природу. Все это примерно соответствует предложенной выше типологии кочевых обществ (Kradin, 1996) с одной только оговоркой: вместо классических

кочевых империй в последнем случае представлены общества номадов нового времени, которые подверглись влиянию со стороны более развитых земледельческих цивилизаций. А как вписываются в эту картину наиболее развитые общества номадов — кочевые империи?

Для ответа на этот вопрос была составлена табл. 2, в которую включены данные о восьми кочевых империях Евразии — от хунну до средневековых монголов. При составлении таблицы я опирался как на собственные исследования некоторых империй номадов (Крадин, 1990; 1994; 2002; Kradin, 2005; Крадин, Скрынникова, 2006 и др.), так и на исследования коллег (Wittfogel, Feng, 1949; Федоров-Давыдов, 1973; Егоров, 1985; Fletcher, 1986; Barfield, 1989; Golden, 1992; 2001; Трепавлов, 1993; Кычанов, 1997; Скрынникова, 1997; Кляшторный, Султанов, 2000).

Таблица 2

Уровень сложности кочевых империй

№		Пер.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего
187	Хунну	Е	1	0	1	0	4	3	1	1	4	2	17
189	Сяньби	Е	2	0	1	0	4	3	1	1	4	1	17
190	Жужани	Е	3	0	1	0	4	3	1	1	4	2	19
191	Тюрки	Е	4	0	0	0	4	3	1	1	4	2	19
192	Уйгуры	Е	4	0	1	0	4	3	1	1	4	2	20
193	Ляо	Е	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	35
194	Монголы, 1206 г.	Е	3	0	1	0	4	3	1	0	4	2	18
195	Золотая Орда	Е	3	2	2	0	4	3	4	1	4	4	25

Поскольку многие пункты в данной таблице могут быть истолкованы по-разному, необходимо дать к ней соответствующие пояснения. По первому признаку (“письменность”) я старался оценивать степень развития записей внутри изучаемого общества без учета того, велась ли дипломатическая переписка с Китаем. Применительно к хунну я считаю, что, несмотря на попытки введения китайской письменности при Лаошан-шаньюе (Материалы, 1968: 45), она не получила значительного распространения в обществе.

Об этом, в частности, свидетельствует знаменитый факт подмены шаньюевой печати китайскими посланниками императора Ван Мана. В ближайшем окружении шаньюя не нашлось ни одного человека, который бы смог прочесть надпись на печати. Отдельные иероглифы на керамических сосудах, найденные на Иволгинском городище, скорее, свидетельствуют об этнической принадлежности жителей данного населенного пункта, чем о развитии письменности среди кочевников хунну (Крадин, 2002: 80–86).

Хунну знали мнемонические средства (1 балл). Это можно продемонстрировать ссылкой на сведения Сыма Цяня. По его данным, осенью хуннская элита традиционно собиралась в Дайлине для подсчета и проверки населения и скота (Материалы, 1968: 40). Это очень похоже на описание соответствующих обычаев у жужаней: “Письмен для записей не было, поэтому начальники и вожди приблизительно подсчитывали число воинов, используя при этом овечий помет, но впоследствии (жуаньжуани) хорошо научились делать записи с помощью зарубок на дереве” (Материалы, 1984: 269).

Сами “зарубки” можно интерпретировать как “неписьменные записи” (2 балла). Их использование было характерно не только для жужаней, но и по аналогии с ухуанями для сяньби (Материалы, 1984: 63, 327), хотя некоторые представители элиты сяньбийского общества даже знали китайский язык и иероглифику (например, Кэбинэн). Гораздо больше владеющих китайским языком было у жужаней (там же, 269, 289). Поэтому жужанское общество, как и Золотую Орду, где с принятием ислама заимствовали арабскую письменность, следует отнести к обществам, использующим письменность другого народа (3 балла). Тюрки, уйгуры и кидани имели свою собственную письменность (4 балла).

В XII в. у монголов не было письменных документов. Они использовали так называемые китайскими летописцами “метки” или “зарубки” (Мэн-да бэй-лу, 1975: 52–53). С 1204 г. монголы стали использовать уйгурскую письменность. В 124-м цзюане “Юань ши” излагается биография уйгура Та-та-тун-а, состоявшего на службе у найманского хана Даяна. После разгрома найманов он попал в плен к монголам и там был взят на службу. Ему было поручено обучить грамоте отпрысков Чингиса и некоторых ханов. Правда, не ясно, выучили ли они уйгурский язык или же писали на своем родном языке уйгурскими буквами (Мункуев, 1975: 125–

128). Только позднее, в 1220-х гг., после бегства на сторону монголов большого числа цзиньских чиновников и военачальников, стала использоваться китайская иероглифическая письменность (Мэн-да бэй-лу, 1975: 52, 53). Следовательно, степень развития письменности у монголов на 1206 г. необходимо оценить в 3 балла.

Многие рассматриваемые кочевые империи в той или иной степени были знакомы с оседлостью. На территории Монголии известны городища и неукрепленные поселения хунну (*Hayashi*, 1984). Сяньбийский предводитель Таньшихуай переселил на берега Лаохахэ около 1000 семей народа вожэнь, чтобы они занимались рыболовством (Материалы, 1984: 80). Жужани в начале VI в. построили г. Мумочэн (там же, 290). Уйгуры также занимались строительством крепостей и воздвигли в центре современной Монголии свою столицу — город Орду-Балык. Степень урбанизации киданей (*Ивлиев*, 1983) и золотоордынцев (*Егоров*, 1985; *Федоров-Давыдов*, 1994) была намного выше.

По этой причине по второму признаку (“Степень оседлости”) я старался исходить из того, какой образ жизни ведет большая часть населения исследуемого общества. Учитывая в целом малочисленный характер оседлого населения, хунну, сяньби, жужани, тюрки, уйгуры и монголы были отнесены к обществам с кочевой системой поселений (0 баллов). У киданей примерно только ¼ часть населения вела кочевой и полукочевой образ жизни (*Wittfogel, Feng*, 1949: 58). Элита и правительство также периодически перемещались по пяти столичным городам. Исходя из этого степень оседлости в Ляо была оценена как “оседлая, но непостоянная” (3 балла). В Золотой Орде было более 100 городищ, но представляется, что доля городского населения здесь в целом была невелика. Однако, учитывая специфику экологии восточноевропейских степей, предполагающую полукочевой характер экономики, можно оценить степень оседлости в Улусе Джучи в 2 балла.

Определение степени развития земледелия (третий признак) не вызвало больших трудностей. Здесь я исходил из того, что наличие оседлых поселений предполагает занятие земледелием или огородничеством (1 балл). У тюрков подобные поселения неизвестны (0 баллов). У киданей примерно ¾ населения занимались интенсивным земледелием, однако почти у миллиона жителей были только зачатки земледелия (*Wittfogel, Feng*, 1949: 58). По этой

причине степень развития земледелия в Ляо оценена в 3 балла. В Золотой Орде значимость земледелия была явно более 10%, но ведущую роль в сельском хозяйстве тем не менее играло скотоводство (2 балла).

Достаточно сложным оказалось заполнение граф четвертого признака (“урбанизация”). Это было связано с тем, что в ряде обществ существовали разные типы социальной организации — небольшие по численности общины номадов и значительные по количеству человек общины земледельцев и горожан. Здесь приходилось руководствоваться тем, какая из форм социальной организации была наиболее распространена в данном обществе. Поскольку для кочевников-скотоводов Евразии характерна небольшая община численностью менее 100 индивидов (*Bacon*, 1958; *Krader*, 1963; *Марков*, 1976; *Khazanov*, 1984; *Масанов*, 1995; *Спибб*, 1991; *Barfield*, 1993 и др.), все исследуемые общества, кроме киданей, были отнесены к самой простой форме (0 баллов). Империя Ляо почти на 2/3 состояла из китайцев. Степень урбанизации здесь была оценена в 3 балла.

Рассматривая пятый признак (“технологическая специализация”), нужно исходить как из археологических данных, так и из письменных источников. Археологические материалы (кроме жужаней, памятники культуры которых еще не найдены) подтверждают, что для всех данных обществ было характерно наличие металлургии, ткачества, гончарства. Описывая ухуаней — современников хунну и сяньби, — китайский хронист отмечает наличие у них металлургии, ткачества и гончарства: “Взрослые умеют делать луки, стрелы, седла, уздечки, ковать оружие из металла и железа, могут вышивать по коже, делать узорчатые вышивки, ткать шерстяные ткани” (Материалы, 1984: 327). Подобные характеристики можно найти в отношении средневековых тюрков (*Мандельштам*, 1956: 241), монголов (*Далай*, 1983: 97) и даже номадов нового времени (*Крадин*, 1992: 49–50). По этой причине уровень развития ремесла во всех изучаемых обществах должен быть оценен в 4 балла.

Другое дело, насколько были развиты эти технологии в сравнении с оседло-земледельческими цивилизациями. Во многих кочевых скотоводческих обществах ремесло так и не выделилось в специализированную экономическую подсистему. Нередко номады захватывали наиболее квалифицированную часть ремесленников во время набегов на соседние страны или в процессе завоеваний.

Опыт кросс-культурного сопоставления уровня развития ремесленной деятельности в кочевых обществах и земледельческо-городских цивилизациях Востока дает основание полагать, что номады по этому показателю значительно уступали своим оседлым соседям (Алаев, 1982: 27).

Заполнение граф шестого признака (“транспорт”) не вызвало особых трудностей. Для всех выбранных обществ характерно использование как животных, так и колесных средств (3 балла).

Собственные деньги (седьмой признак) были только в Ляо и Золотой Орде. Для других кочевых империй, как и кочевников в целом, характерно использование в качестве средства обмена в первую очередь домашнего скота. Своеобразной единицей счета выступала, как правило, одна овца, в разных обществах существовали примерно эквивалентные способы оценивания стоимости других животных “в овцах” (Руденко, 1961 и др.).

По восьмому признаку (“плотность населения”) следует исходить из того, что численность населения кочевых империй хунну, сяньби, жужаней, тюрок была примерно одинаковой (в пределах 0,8–1,5 млн человек [см.: Крадин, 2002: 71–79]) и в то же время сопоставимой с численностью населения Халха-Монголии в новое время — чуть более 1 человека на 1 кв. американскую милю (1 балл). Судя по § 202 “Тайной истории монголов”, у Чингизхана было 95 тысячников и десять тысяч собственной гвардии. Поскольку каждый взрослый мужчина (примерно 20% населения) являлся воином, даже с учетом так называемых “лесных монголов”, не включенных в список тысяч, то общая численность монголов в указанное время составляла не более 500–600 тыс. человек, т. е. менее одного человека на 1 кв. милю (0 баллов). Численность населения Ляо составляла 3,8 млн человек (Wittfogel, Feng, 1949: 58). При делении этой величины на примерную площадь страны получается около 7 человек на 1 кв. милю (3 балла). Плотность населения Золотой Орды была чуть более 1 человека на 1 кв. милю (Иванов, Васильев, 1995: 57–60).

При исчислении количества уровней политической иерархии (девятый признак) следует руководствоваться существованием в кочевых империях “десятичной системы”. Причем вне зависимости от того, считать ли за низший уровень иерархии отдельный аил = “десяток” или “род” = “сотню” общее количество уровней иерар-

хии будет характерно для наиболее сложных обществ (три и более уровня иерархии, например, государство, разделенное на области и на районы — 4 балла).

При заполнении последнего признака (“социальная стратификация”) необходимо учитывать, что для всех включенных в выборку кочевых империй характерно деление на элиту и простых номадов. Это ярко отражено, в частности, в соответствующей социальной терминологии: *беги* и *кара будун* (черный народ) у тюрок, *ханы*, *нойоны* (господа) и *карачу* (чернь) у монголов и др. В то же время кастовое деление в рассматриваемых обществах отсутствовало, а рабство у кочевников евразийских степей имело неразвитый характер (Нибур, 1907; Хазанов, 1975; Крадин, 1992 и др.), поэтому большинство кочевых империй оценены в 2 балла (две страты, но рабство и касты неразвиты). Определение уровня развития социальной стратификации в Золотой Орде вызвало некоторые затруднения, потому что в ее состав помимо кочевников-скотоводов входил немалый процент городского населения, но это также было оценено в 2 балла. Такие оценки связаны с тем, что, во-первых, в специальной литературе не говорится о существовании более двух уровней социальной стратификации (Греков, Якубовский, 1950; Федоров-Давыдов, 1973; Егоров, 1985 и др.). Во-вторых, несмотря на широкое развитие рабства, оно не имело наследственного характера (Полубояринова, 1978: 36–37). Поскольку в Сяньбийской державе правителем мог стать выходец из простого народа (Таньшихуай, Кэбинэн), степень развитости социальной стратификации в данном обществе была оценена в 1 балл. Только в империи Ляо существовала многоуровневая социальная структура (Wittfogel, Feng, 1949), имевшая более трех отличных друг от друга страт (4 балла).

Обсуждение результатов

Наиболее важными для рассмотрения в этой части главы представляются три следующих вопроса: 1) внутренняя типология кочевых обществ по степени сложности; 2) проблема соотношения кочевых империй и государственности у оседло-земледельческих обществ; 3) наиболее характерные черты для номадов, отличные от других культур.

Прежде всего необходимо напомнить, что Дж. Мёрдок и К. Провост механически разделили выборку из 186 обществ на четыре группы сложности по количеству баллов с шагов в 10 единиц. Однако в реальности вырисовывается деление на уровни сложности с несколько иными рамками комплексности. Самые простые общества в выборке Мёрдока — это локальные группы охотников-сборателей. Следующие по степени сложности сегментарные общества имеют около 10 баллов, в том числе из скотоводческих обществ чукчи-оленоводы (8 баллов) и масаи (9 баллов). Вождества расположены в рамках между 15 и 20 баллами с некоторыми отклонениями в обе стороны (например, простой чифдом у тробрианцев — 16 баллов, более сложные Тикопия, Самоа — по 18, Тонга — 20 баллов). В эту группу попадает большинство рассматриваемых в данной главе примеров обществ номадов: бассери (15 баллов), туареги (16 баллов), хунну и сяньби (по 17 баллов), монголы (18 баллов), жужани и тюрки (по 19 баллов), казахи и уйгуры (по 20 баллов). Чуть меньше сумма у бедуинов (13 баллов), несколько более 20 у халха-монголов нового времени (22 балла) и у Золотой Орды (25 баллов). Самым сложным обществом оказалась династия Ляо (35 баллов).

Таким образом, можно говорить о нескольких уровнях культурной сложности, включенных в выборку кочевников-скотоводов: 1) сегментарные акефальные общества скотоводов (чукчи, масаи) — менее 10 баллов; 2) вторичные племенные образования (бедуины) — 13 баллов; 3) вождества и кочевые империи и традиционные общества номадов нового времени (бассери, туареги, хунну, сяньби, монголы, жужани, тюрки, уйгуры, казахи, халха-монголы) — от 13 до 22 баллов; 4) кочевые империи “даннического” и “завоевательного” типов с разным сектором оседло-городской экономики (Золотая Орда, Ляо) — соответственно 25 и 35 баллов.

В принципе, это соответствует большинству существующих классификаций. Более трудным представляется вопрос, как следует определить уровень политической сложности обществ, отнесенных ко второй группе (от 13 до 22 баллов). Даже туарегов (16 баллов) одни авторы относят к раннеклассовым обществам (Першиц, 1976), тогда как бассери (15 баллов) другие исследователи определяют как вождества (Johnson, Earle, 2000). Что касается кочевых империй и номадов нового времени, то здесь спектр

мнений еще шире. Многолетняя дискуссия о специфике общественных отношений у кочевников, как это было показано выше, так и не пришла к выработке приемлемых для большинства позиций.

Впрочем, и оседло-земледельческие общества, расположенные в классификации Дж. Мёрдока и К. Провост примерно на таком же уровне сложности, интерпретируются учеными по-разному. Если относительно Самоа (18 баллов — больше, чем у хунну, и ровно столько же, сколько у монголов в 1206 г. — кстати, столько же баллов и у племенной конфедерации гуронов!) мнения большинства авторов сходятся, что это вождество (Bargatsky, 1988; van Bachel, 1991), то по поводу Тонга (20 баллов) одни полагают, что это классическое вождество (Kirch, 1980; 1984), а другие считают, что это уже раннее государство (Claessen, 1991). Также отличны взгляды и по поводу Ашанти (24 балла): по мнению одних, это “сегментарное” государство (Sautholl, 1953), согласно исследованиям других, это предгосударственное образование (Попов, 1990). В эту же группу сложности попадают и ифугао (21 балл), у которых существовала трехуровневая социальная стратификация, но не сложились устойчивые централизованные политические институты.

Тем не менее из анализа табл. 3 статьи Дж. Мёрдока и К. Провост (Murdock, Provost, 1973: 389) следует, что по общему рангу баллов большинство кочевых империй, скорее, должны быть отнесены к вождествам или обществам, находившимся в процессе перехода к государственности, нежели к уже сформировавшимся ранним государствам. Несколько больше баллов (по 26) у тех обществ, которые имели более сложную, мультиполитийную структуру и нередко характеризуются как империи — Сонгай (Куббель, 1974) и Инка (Березкин, 1991; Johnson, Earle, 2000; Earle, 2002 и др.).

Интересно, что к схожим выводам пришли при кросс-культурном исследовании модели раннего государства Д. М. Бондаренко и А. В. Коротаев. Они использовали систематизированную Х. Классеном сводку данных о 21 раннегосударственном обществе по 51 признаку (Claessen, Skalnik, 1978: 533–596) для составления компьютерной базы данных и исследования ее с помощью факторного анализа. Одной из задач авторов была проверка на эмпирическом материале типологии Х. Классена и П. Скальника, разделивших раннегосударственные общества на *зачаточные* (inchoate), *типичные* и *переходные*. В результате ранжирования использованных

в выборке Х. Классена и П. Скальника обществ две кочевые империи (скифы и монголы) оказались на грани между *зачаточными* и *типичными* государствами (Bondarenko, Korotayev, 2003: 112).

В то же время оказалось, что в число так называемых *зачаточных* ранних государств были включены такие общества, как викинги, гавайцы, таитяне и анкол, которых обычно причисляют не к ранним государствам, а к вождествам. Однако это нельзя считать случайным, если проанализировать, какие черты выделяются для *зачаточного* раннего государства. Согласно Х. Классену и П. Скальнику, для последнего характерны следующие признаки: 1) доминирование клановых связей; 2) должностные лица существовали за счет доли собираемой ими редиистрибуции; 3) не существовало узаконенной правовой кодификации; 4) не было специальных судебных органов; 5) редиистрибуция, дань и поборы не были строго определены; 6) развитие аппарата управления было слабым (Claessen, Skalnik, 1978: 22, 641). Однако эти признаки характерны не столько для государства, сколько для вождества. Лишь с переходом на более сложный уровень *типичного* раннего государства появляются признаки собственно государственности — специальные чиновники, аппарат судей, письменный свод законов и др. По этой причине, мне представляется, более правильно выделять *типичное* раннее государство, *переходное* раннее государство, *традиционное* или, по определению Классена, зрелое (mature) доиндустриальное государство. Более того, поскольку Классен не учитывает в своей типологии различия в степени сложности вождеств, можно предположить, что так называемые *зачаточные* ранние государства, по Классену, — это, в сущности, *сложные* и *суперсложные* вождества.

Таким образом, выводы статьи Д. М. Бондаренко и А. В. Коротаева подтверждают, что кочевые империи скифов и монголов было бы не совсем правильно относить к классическим ранним государствам. Фактически последние находятся между вождествами и ранними государствами. Возможно, косвенным подтверждением данных выводов может служить то, что на шкале культурной сложности, согласно шкале признаков Дж. Мёрдока и К. Провост, практически рядом с империей Чингиз-хана 1206 г. оказалась Хуннская держава (соответственно 18 и 17 баллов), которая также имела признаки как предгосударственного общества, так и раннего государства, но больше соответствовала чертам *суперсложного* вождества (Крадин, 2002).

Последняя из рассматриваемых в этой части главы проблем может быть охарактеризована как выявление наиболее типичных черт культурной сложности кочевых обществ, отличающих их от других регионов и хозяйственно-культурных ареалов. Для этих целей была использована табл. 5 из статьи Дж. Мёрдока и К. Провост с включением в нее дополнительно данных по 7 кочевым обществам из их выборки, а также данных автора по 8 кочевым империям Евразии (см. табл. 3).

Я не стал сводить эти данные вместе, поскольку в моей выборке нарушен принцип Ф. Гэлтона — все рассматриваемые общества существовали на одной и той же территории, и теоретически нельзя отрицать возможности культурной диффузии, хотя я и не являюсь приверженцем идеи преемственности между древними и более поздними номадами Центральной и Внутренней Азии. Тем не менее тенденции, характерные для выборки 7 кочевых обществ (далее — NP), коррелируются с тенденциями, прослеживаемыми в выборке 8 кочевых империй (далее — NE). Это дает основание предположить, что речь скорее всего должна идти не о преемственности, а об универсальных особенностях эволюции кочевых обществ независимо от ареалов их обитания и степени культурной сложности.

Таблица 3

Средний индекс культурной сложности регионов

№		A	C	E	I	N	S	NP	NE
1	Письменность	0,2	3,3	2,0	1,0	1,2	0,7	2,4	3,0
2	Оседлость	3,1	3,4	2,7	3,6	1,9	2,0	0,4	0,6
3	Земледелие	2,8	3,0	2,6	2,8	1,3	2,3	0,7	1,3
4	Урбанизация	1,6	2,2	1,6	1,5	1,5	1,1	0,9	0,4
5	Технология	2,7	3,2	2,7	1,2	1,0	1,8	3,0	4,0
6	Транспорт	0,1	1,6	1,5	0,5	0,8	0,3	1,4	3,0
7	Деньги	1,5	2,4	1,9	1,8	1,2	0,4	1,1	1,8
8	Плотность	2,3	2,6	2,2	2,6	0,9	0,9	0,6	1,1
9	Пол. интегр.	2,1	2,5	2,4	1,8	1,2	1,4	2,4	4,0
10	Соц. стратиф.	1,5	2,7	2,0	1,3	0,8	0,6	1,7	2,1

По Murdock, Provost, 1973, с добавлением двух последних колонок.

Условные обозначения: А — Африка, С — Средиземноморье, Е — Восточная Евразия, I — островная Пасифика, N — Северная

Америка, S — Южная Америка, NP — кочевники-скотоводы, NE — кочевые империи.

Полученные результаты достаточно интересны. Первая особенность заключается в сравнительно высоком уровне развития системы записей и письменности у номадов. Она в целом уступает только Средиземноморскому региону. Если учесть выводы некоторых исследований, согласно которым такой показатель, как письменность, не всегда связан с уже сложившейся государственностью (Штаерман, 1989; Берент, 2000; Коротаев и др., 2000; Бондаренко и др., 2002), можно предположить, что **безгосударственное** общество далеко не всегда должно быть **первобытным**, и, следовательно, **цивилизация** не обязательно предполагает наличие **государственности**. Исходя из этой точки зрения, ученым пора отказаться от устойчивых стереотипов, сложившихся со времени классического эволюционизма и обобщенных Г. Чайлдом, согласно которым возникновение цивилизации всегда должно сопровождаться появлением письменности, урбанизации, развитой социальной стратификации и государства. Кочевые общества служат наглядным примером необходимости корректировки общепринятых представлений.

Второй вывод достаточно очевиден. По степени развития оседлости, урбанизации, земледельческого сектора экономики, численности и плотности населения кочевники значительно уступали своим оседлым соседям. Однако они компенсировали это достаточно высоким уровнем технологии (вторая позиция после Средиземноморья), относительно высоким уровнем товарности экономики (торговля всегда являлась одним из наиболее важных и престижных видов деятельности номадов), развитием транспортной инфраструктуры, базирующейся не только на использовании большого количества животных, но и на преимуществах равнинных пространств с минимальным количеством препятствий.

Впрочем, необходимо иметь в виду, что общий культурный потенциал общества далеко не всегда жестко соответствует его военному потенциалу. Евразийские кочевники не только внимательно следили за технологическим прогрессом в военном деле и нередко являлись изобретателями разного рода новшеств в этой области, но и отличались более приспособленной для военного образа жизни экономической и политической организацией. В отличие от своих

оседлых соседей они безболезненно могли выделять большое число мужчин для военных походов. Племенная организация облегчала задачу политической мобилизации. Наличие большого числа верховых животных делало войско номадов мобильным и неуязвимым, а концентрация на ограниченном пространстве в сжатые сроки большого количества людских ресурсов создавала для кочевников серьезные тактические преимущества.

Третья особенность заключается в наличии у кочевников-скотоводов (nomadic pastoralists — NP) достаточно высокого индекса политической централизации (2,4). Это ровно столько же, сколько у народов Восточной Евразии, и чуть ниже, чем у народов Средиземноморья. В данный момент я не могу сказать, обусловлено ли это какими-то значимыми причинами или это результат ограниченности выборки данных. С другой стороны, достаточно высокий уровень политической централизации кочевников (2,4 балла — это где-то между простым и сложным вожжеством) свидетельствует о том, что большая часть номадов, обладавших такими верховыми животными, как лошадь и/или верблюд, имела достаточно сложную форму социально-политической организации.

И последний вывод. Индекс политической интеграции как у кочевников-скотоводов (NP), так и в кочевых империях (NE) был на порядок выше индекса социальной стратификации (соответственно 2,4 и 1,7; 4,0 и 2,1). Это дает основание предположить, что процессы политогенеза в обществах номадов в целом несколько опережали развитие социальной стратификации. Возможно, это обусловлено отсутствием стабильных источников накопления и хранения значительных продуктивных ресурсов в кочевых обществах, особенностями экологии, вследствие чего в один момент можно было лишиться всего стада.

* * *

Результаты кросс-культурного исследования 15 обществ номадов показывают, что у кочевников и скотоводов можно выделить примерно три-четыре уровня культурной (и политической) сложности. Самые простые — это сегментарные акефальные общества, не имеющие органов управления. Следующая ступень — это “вто-

ричные" племена, конфедерации племен, простые вожества. Еще более развитую структуру имеют сложные и суперсложные общества. Последние представлены в наиболее масштабном виде кочевыми империями, а также квазиимперскими политиями несколько меньшего размера (подобно татарским ханствам после крушения Золотой Орды), независимыми и полунезависимыми ханствами нового времени (жузы казахов, ханство калмыков и др.). Наиболее сложными являются те кочевые империи (в моей типологии *даннические* и *завоевательные* империи номадов [Крадин, 1992; 2002]), которые включали в свой состав сельскохозяйственное население.

Средний уровень культурной сложности *типичных* кочевых империй находится примерно на одном уровне с так называемыми сложными вожествами оседло-земледельческих обществ или, самое максимальное, с политиями, находящимися на пороге создания государственности. С моей точки зрения, подобные общества номадов правильнее было бы именовать суперсложными вожествами (Крадин, 1992; 2001). Для последних были характерны высокая степень централизации, развитие социальной стратификации, зачатки урбанистического и монументального строительства, а иногда даже письменность. Данные вожества имели сложную систему титулования вождей и функционеров, вели дипломатическую переписку с соседними странами, заключали династические браки с правителями земледельческих государств и других кочевых империй. С точки зрения соседних оседло-городских цивилизаций подобные кочевые общества воспринимались как самостоятельные субъекты международных политических отношений.

Могли ли вожества суперсложного типа создаваться оседло-земледельческими народами? Известно, что численность сложных вожеств измеряется, как правило, десятками тысяч человек (см., напр.: Johnson, Earle, 2000: 246), и этнически они, как правило, гомогенны. Однако население многонационального суперсложного вожества составляет многие сотни тысяч человек и даже больше (кочевые империи Внутренней Азии до 1–1,5 млн человек). Территория суперсложных вожеств кочевников была на несколько порядков больше площади, необходимой для простых и сложных вожеств земледельцев (для номадов более характерна такая плотность населения, которая у земледельцев чаще встреча-

ется в доиерархических типах общества и вожествах). В то же время на территории, сопоставимой по размерам с любой кочевой империей, могло бы проживать в несколько раз больше земледельцев, деятельность которых вряд ли регулировалась догосударственными методами.

Управление столь большим пространством в обществе кочевников облегчалось спецификой степных ландшафтов и наличием верховых животных. С другой стороны, всеобщая вооруженность кочевников, обусловленная отчасти их дисперсным расселением, мобильность, экономическая автаркичность, воинственный образ жизни на протяжении длительного исторического периода, а также ряд иных факторов мешали установлению стабильного контроля над скотоводческими племенами и отдельными номадами со стороны высших уровней власти кочевых обществ. Все это дает основание предположить, что суперсложное вожество, если и не являлось характерной только для кочевников формой политической организации, то именно у них оно получило наибольшее распространение.

КОЧЕВНИЧЕСТВО И ТЕОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ*

В годы перестройки и после распада СССР многие ученые из стран бывшего социалистического лагеря обратились в своих исследованиях к цивилизационному подходу. Значительная часть из них полагали, что цивилизационная теория должна заменить устаревший формационный подход, а в некоторых современных странах эта парадигма фактически была взята на вооружение как официальная методология для ученых, представляющих гуманитарные науки.

В связи с этим необходимо отметить, что существуют два разных понимания дефиниции “цивилизация” (Ito, 1997). Первое восходит к работам шотландского мыслителя XVIII в. А. Фергюссона, выделившего стадии дикости, варварства и цивилизованного состояния человечества. Впоследствии эта идея была развита в трудах Л. Моргана и Ф. Энгельса, а Г. Чайлд попытался отыскать критерии цивилизации в археологических источниках. Данный подход представляет собой лишь одну из модификаций стадиялистских интерпретаций всемирной истории, рассматривающих исторический процесс как последовательное развитие стадий. Понятие “цивилизация” здесь, по сути дела, тождественно термину “стадия послепервобытного общества” (в марксистской терминологии — “формации”). В некоторых работах предлагалось просто переименовать “формации” или “стадии” в “цивилизации” (Яковец,

1994). В целом данный подход не предполагает необходимости разработки специальной методологии цивилизационных исследований. Интерпретация производится в терминологии существующих теоретических парадигм (различные версии марксизма, теории модернизации и пр.), причем с этически некорректным делением всех народов на так называемые “цивилизированные” и “нецивилизированные”.

Применительно к кочевничеству главная проблема, как правило, сводится к вопросу, способны ли были кочевники самостоятельно миновать барьер “варварства” и шагнуть в “цивилизацию”. Особенно активно эту идею отстаивал кемеровский археолог А. И. Мартынов. Согласно его мнению, археологическим свидетельством этой цивилизации являются элитарные, монументальные погребения кочевой знати с колоссальными затратами, что свидетельствует о значительной социальной стратификации в обществе, концентрации единоличной власти, высокой культуре данных народов (Мартынов, 1989; 2003 и др.). Эта концепция вызвала лет десять назад целую дискуссию среди археологов, материалы которой были опубликованы в 1993 г. в 207-м выпуске “Кратких сообщений Института археологии”.

Критерии цивилизации Мартынов заимствовал из знаменитой концепции “городской революции” Г. Чайлда. В свое время Чайлд выделил *десять археологических критериев стадии цивилизации*:

- 1) появление городских центров;
- 2) возникновение классов, занятых вне производства пищи (ремесленники, торговцы, жрецы, чиновники и пр.) и живущих в городах;
- 3) наличие монументальных культовых, дворцовых и общественных сооружений;
- 4) значительный прибавочный продукт, изымаемый элитой;
- 5) обособление правящих групп, наличие фиксируемой в археологических источниках резкой социальной стратификации;
- 6) появление письменности и зачатков математики;
- 7) развитие изысканного художественного стиля;
- 8) появление торговли на дальние расстояния;
- 9) образование государства;
- 10) взимание налогов или дани (Childe, 1950).

* Кочевничество и теория цивилизаций // Монгольская империя и кочевой мир. Вып. 2. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2005. С. 14–23.

Впоследствии список археологических признаков цивилизации неоднократно уточнялся. В одной из наиболее авторитетных работ второй половины XX в. по социальной археологии — книге К. Ренфрю о возникновении цивилизации в древнегреческом мире — он сокращен вдвое. Ренфрю полагает, что показателем цивилизации выступает так называемый им многомерный критерий, в который он включил следующие характерные, но не всегда обязательно фиксируемые археологами признаки:

- 1) социальная стратификация;
- 2) высокоразвитая ремесленная специализация;
- 3) город;
- 4) письменность;
- 5) монументальное культовое строительство.

При этом, полагает Ренфрю, из трех последних признаков достаточно хотя бы пары (Renfrew, 1972: 3–7).

В отечественной археологии существует схожая традиция. По мнению, например, В. М. Масона, критерием цивилизации выступает археологическая “триада” признаков — город, монументальная архитектура и письменность (Массон, 1989: 8–11).

И хотя А. И. Мартынов полагал, что уже кочевники Южной Сибири в середине I тыс. до н. э. создают особую “степную цивилизацию”, но если подойти к характеристике ранних кочевников объективно, ни тагарцы, ни пазырыкцы не набирают необходимого количества признаков, чтобы считаться согласно выработанным критериям особой цивилизацией (отсутствие городов и письменности). Такой же вывод следует сделать и в отношении Хуннской державы. Только применительно к Тюркскому (кочевая цивилизация без городов) и Уйгурскому каганатам можно говорить о завершении процессов цивилизационного строительства.

Еще более бесспорной является интерпретация как стадии цивилизации Монгольской державы периода расцвета. В этот период на территории монгольских степей был выстроен громадный город — столица трансконтинентальной империи (только культурный слой в центре Каракорума достигает нескольких метров). Иноземными мастерами были сооружены прекрасные творения архитектуры — дворец хаана Угедя или дворец племянника Чингиз-хана Есункэ в Забайкалье (Киселев, 1965). Достойны восхищения и уникальные

творения древнемонгольской словесности — написанный в 1240 г. анонимный трактат “Монголын нууц товчоо”. И хотя до сих пор не найдено ни одного элитарного средневекового монгольского захоронения (включая погребения членов царствующего дома), по письменным свидетельствам европейских путешественников известно, что они совершались с особой пышностью и таинственностью, отличаясь от обряда погребения простых номадов.

Согласно второму подходу, каждая цивилизация представляет собой гигантский организм, который подобно живому существу проходит в своей эволюции все этапы развития — от рождения до гибели. Здесь, в отличие от предыдущего подхода, требуется более изощренный методологический инструментарий. Наиболее четко данный подход впервые был изложен в книге Н. И. Данилевского “Россия и Европа” (1871). В западной науке безусловным приоритетом является книга О. Шпенглера “Закат Европы” (Spengler, 1918). Однако наиболее обстоятельно цивилизационная теория была сформулирована в 12-томном сочинении А. Тойнби “Исучение истории”. Тойнби выделил около 30 цивилизаций, отличающихся уникальными неповторимыми чертами. Причинами возникновения цивилизаций служили вызовы внешней среды. Каждая из цивилизаций проходила в своем развитии стадии возникновения, роста, надлома и распада. Внутренняя структура цивилизаций основывалась на функциональном членении на “творческое меньшинство”, массы, “пролетариат”. Среди множества цивилизаций Тойнби также выделял кочевую, которая, по его мнению, была застывшей, неразвивающейся (Toynbee, 1934).

До перестройки в социалистических странах цивилизационный подход ассоциировался с так называемой буржуазной наукой. В СССР единственным интерпретатором цивилизационного подхода был Л. Н. Гумилев. Он написал много книг по истории кочевников Евразии, приводя убедительные примеры из жизни степного мира. Ученый рассматривал историю человечества как процесс взаимодействия отдельных крупномасштабных систем — “суперэтносов”. Его научные взгляды во многом совпадают с концепцией Тойнби. По Гумилеву, жизнь каждого “суперэтноса” равнялась 1200–1500 годам, в течение которых они переживали фазы рождения, взлета и упадка. Динамика этнических процессов обуславливалась энер-

гетическими толчками, активностью “пассионариев” — наиболее деятельной части населения (1989).

В годы перестройки и в постсоветское время немало число исследователей из бывших социалистических стран начали пропагандировать цивилизационный подход, полагая, что он-то и сможет стать действенным средством от догматического советского марксизма (Барг, 1991; Шемякин, 1991 и др.). В этой связи можно выделить несколько различных интерпретаций цивилизационного подхода: 1) цивилизация — это локальный, региональный вариант развития какой-либо формации (например, “китайский феодализм” и т. д.); 2) цивилизация — это послепервобытная стадия (или стадии) исторического развития (об этом см. выше); 3) цивилизационный подход предполагает перемещение спектра исследований с “базиса” (т. е. изучения социально-экономических отношений, классовой структуры и пр.) на “надстройку” (ментальность, идеологию, религию и т. д.); 4) история цивилизаций — это история многих крупномасштабных локальных исторических паттернов. Число цивилизаций выделяется разными авторами от нескольких единиц до нескольких десятков.

Из всех перечисленных интерпретаций только последняя соответствует классической цивилизационной теории Данилевского — Шпенглера — Тойнби. В отличие от стадийных теорий она рассматривает исторический процесс в другой плоскости — не в диахронной “вертикали”, а в пространственном “горизонтальном” измерении. Ее важным достижением является то, что она позволяет преодолевать недостатки ряда стадийных интерпретаций истории, в которых за основу взята история Запада.

Однако у этой теории имеются и критики. Ими был высказано ряд принципиальных замечаний, которые нам надо учесть и устранить, чтобы теория была более обоснованной. Во-первых, необходимо признать, что до сих пор ученым не удалось выявить объективные критерии, по которым выделяются цивилизации. По этой причине их число значительно отличается у разных авторов (Уэскотт, 2001), и возможны различные спекуляции (вплоть до сведения всякого этноса к особой цивилизации). Во-вторых, не верно отождествление цивилизаций с живыми организмами. Время существования цивилизаций различно, периоды взлета и упад-

ка могут случаться неоднократно. В-третьих, причины генезиса и упадка разных цивилизаций носят также отличительный характер. В-четвертых, цивилизационная уникальность не противоречит возможности распространения на них универсальных общеисторических закономерностей (“осевое время”, “глобализация” и др.).

Если в последней четверти XX в. многие ученые в развивающихся и постсоциалистических странах рассчитывали, что внедрение цивилизационной методологии позволит отечественным историкам избежать теоретического отставания от зарубежных коллег, то в наше время с подобными иллюзиями следует расстаться. Цивилизационная теория, популярная в мировой науке еще полвека назад, ныне находится в кризисном состоянии. Западные исследователи предпочитают обращаться к изучению локальных сообществ, проблематике исторической антропологии, истории повседневности (Ионов, 1997). Но это не значит, что данное направление не имеет права на существование и его не нужно развивать.

Современные приверженцы цивилизационного подхода уделяют большое внимание сравнительному исследованию цивилизаций. Дж. Хорд конструирует генеалогическое древо цивилизаций, в которых пытается проследить ряд последовательностей исторического развития (Хорд, 2001). Шунтаро Ито (Ito, 1997) создает схему, в которой пытается учесть пространственно-временные особенности жизни каждой из 23 основных цивилизаций, их взаимовлияние друг на друга, общеисторические глобальные сдвиги (“городская”, “осевая”, “научная” революции).

С точки зрения цивилизационного подхода кочевники нередко рассматриваются как самостоятельная цивилизация. Эта идея восходит к работам А. Тойнби. После него она не была популярна, и только в последние десятилетия в постмарксистской науке стали появляться работы, в которых вновь высказывается идея об особой цивилизации кочевников (Enkhtuvshin, Tumurjav, Chuluunbaatar, 2000; Enkhtuvshin, 2003 и др.). Вне всякого сомнения, кочевничество — это особый мир, отличный от мира аграрных цивилизаций, что многократно подчеркивалось представителями оседло-земледельческих цивилизаций, которые попадали в незнакомую и непривычную для них среду степных скотоводов.

Однако у этой важной концепции есть критики, которые приводят следующие контраргументы.

Во-первых, если выделять цивилизацию кочевников, то не менее резонно поставить вопрос о цивилизациях охотников-собирателей Австралии, арктических охотников на морских зверей и рыболовов Полярного круга и т. д. Иными словами, все типы человеческих культур могут быть охарактеризованы как цивилизации.

Во-вторых, можно ли выделить признаки, специфичные только для "номадной цивилизации"? Большинство подобных признаков (специфическое отношение ко времени и пространству, обычай гостеприимства, развитая система родства, скромные потребности, неприхотливость, выносливость, эпос, милитаризованность общества и т. д.) нередко имеют стадийный характер и свойственны тем или иным этапам развития культуры или общества. Пожалуй, только особенное культовое отношение к скоту — главному источнику существования кочевников — отличает их от всех других обществ.

В-третьих, всякая цивилизация основана на определенном психокультурном единстве и переживает этапы роста, расцвета и упадка. Номадизм — это нечто иное, чем цивилизация. Его расцвет приходится на очень длительный период: I тыс. до н. э. — середины II тыс. н. э. В этот период возникло и погибло немало оседло-земледельческих цивилизаций. Такая же участь ждала многие кочевые общества и все существовавшие в этот период степные империи кочевников. Вряд ли кочевники осознавали себя как нечто единое, противостоящее другим народам. Гиксосы и хунны, средневековый араб и монгол-керейт, нуэры из Судана и оленеводы Арктики не только относились к разным этносам, но и входили в разные культурные общности. При этом одни кочевнические общества могли составлять "ядро" существующей цивилизации (например, арабы), другие — входить в состав варварской периферии какой-то цивилизации (гиксосы до завоевания Египта); третьи — оказаться практически вне цивилизационных процессов вплоть до начала периода колониализма (нуэры, чукчи). Я предлагал рассматривать степной мир не как особую цивилизацию, а как "квазицивилизацию", т. е. некое внешне похожее на цивилизацию единство, которое на самом деле представляется концептуальным конструктом, созданным в мыслях исследователя.

Еще один подход к проблеме цивилизации у кочевников предполагает рассмотрение не единой для всех кочевых обществ цивилизации, а отдельных крупных локальных цивилизаций-культур. А. Н. Гу-

милев связывал процессы возникновения и развития цивилизаций (он называл их суперэтносами) с определенными географическими зонами (Гумилев, 1989). С этой точки зрения Аравийский полуостров, например, был таким ареалом, где в VII в. возникла арабская цивилизация. Внутренняя Азия также представляла особую географическую зону. По мнению ряда авторов, здесь существовала начиная с хуннского времени (или даже более раннего) единая степная цивилизация (Гэрлээ, 1978; Урбанаева, 1994 и др.). Исследователи выделяли следующие характерные признаки данной цивилизации: административное деление на крылья, десятичная система, представления о власти, обряды интронизации, любовь к скачкам и верблюжьим бегам, особое мировоззрение и пр. Главная проблема заключается в доказательстве преемственности между кочевыми империями. Нередко должно было пройти достаточное количество лет, чтобы степь снова оказывалась объединенной какой-либо империей кочевников.

Особого внимания заслуживает вопрос о монгольской цивилизации (Железняков, 2000 и др.). В настоящее время назрела необходимость перенесения обсуждения проблемы в русло более строгого логического обоснования этой идеи. Поэтому представляется важным: 1) обосновать необходимость выделения монгольского общества как особой цивилизации (ведь ни в одной из классических и в современных цивилизационных схемах таковой нет [Ито, 1997; Мелко, 2001; Уэскотт, 2001 и др.]); 2) описать специфические черты (так называемый генетический код) монгольской цивилизации; 3) установить предпосылки и начальные фазы становления монгольской цивилизации (во всяком случае, пока не очень понятно, откуда нужно вести отсчет — с XI в., когда монголы расселились в восточной части Центральной Азии, или с позднего средневековья, когда в Монголии активно распространился буддизм); 4) дать характеристику основным этапам истории монгольской цивилизации; 5) проследить влияние монголов на цивилизационные процессы в окружающем мире и на мир-системные процессы в эпоху средневековья в целом.

Еще один вопрос, который возникает в этой связи: насколько правомерно выделять особую золотоордынскую цивилизацию (Кульпин, 2004)? Кроме того, появляется ряд методологических неувязок, которые необходимо более серьезно обосновать. Во-первых, может ли существовать цивилизация всего двести лет?

Во-вторых, можно ли говорить о Золотой Орде как о единой цивилизации? Судя по археологическим раскопкам, здесь существовали два совершенно разных мира: тюркский (с небольшим монгольским добавлением) мир кочевников-скотоводов и синкретичный мир нескольких крупных городов. В-третьих, каждая цивилизация имеет свой особый культурный код. Был ли такой культурный код в Золотой Орде? Изучая, например, археологические древности, мы можем найти там элементы самых разных цивилизаций и культур — китайской, среднеазиатской, западноевропейской, древнерусской и пр. Но что является “визитной карточкой” собственно золотоордынской цивилизации?

Может быть, более целесообразно рассматривать средневековое монгольское общество в рамках мир-системного подхода И. Валлерстайна и его последователей (*Chase-Dunn, Hall, 1997; Холл, 2004*), который включает наиболее обоснованные положения как стадильных теорий, так и сравнительного изучения цивилизаций. С этой точки зрения создание империи Чингиз-хана не случайно совпало с демографическим и экономическим подъемом во всех частях Старого Света. Монголы замкнули цепь международной торговли в единый комплекс сухопутных и морских путей. Впервые все крупные региональные ядра (Европа, исламский мир, Индия, Китай плюс позднее Золотая Орда) оказались объединенными в первую глобальную мир-систему (*Abu-Lughod, 1989; 1990*). В степи, подобно фантастическим миражам, возникли гигантские города — центры политической власти, транзитной торговли, многонациональной культуры и идеологии (Каракорум, Сарай-Бату).

Однако первая мир-система оказалась недолговечной. Демографы фиксируют в период с 1350 по 1450 г. синхронный кризис во всех ее основных субцентрах. Чума, изгнание монголов из Китая, упадок Золотой Орды явились наиболее важными звеньями в цепи событий, приведших к ее гибели (*McNeill, 1976*). Даже отчаянные попытки Тамерлана восстановить сухопутную трансконтинентальную торговлю закончились в конечном счете неудачей. В начале XV в. Золотая Орда распалась. В новой индустриальной мир-системе кочевникам было отведено совсем другое место. Степной Хинтерланд перестал играть сколько-нибудь существенную роль в динамике макроцивилизационных процессов.

РОЛЬ КОЧЕВНИКОВ В МИР-СИСТЕМНЫХ ПРОЦЕССАХ*

У истоков мир-системного подхода стоял французский историк Ф. Бродель. Он много писал о торговых коммуникациях, которые связывали разные регионы и культуры в единое макроэкономическое пространство. Эти идеи были развиты И. Валлерстайном (*Wallerstein, 1974; 1984*). Главной единицей развития Валлерстайн избирает не “национальное государство”, а социальную систему. Системы имеют определенную логику функционирования и развития. Первостепенным критерием классификации (и одновременно периодизации) систем у Валлерстайна выступает способ распределения. В этом он следует идеям К. Поланьи. Соответственно выделяются три способа производства и три типа социальных систем: 1) реципроктно-линейные мини-системы, основанные на отношениях взаимобмена, 2) редистрибутивные мир-империи (в сущности, это и есть “цивилизации” А. Тойнби), 3) капиталистическая мир-система (мир-экономика), основанная на товарно-денежных отношениях (*Wallerstein, 1984: 160ff*). Это стадильная составляющая мир-системной теории.

“Мир-империи” существуют за счет дани и налогов с провинций и захваченных колоний, т. е. за счет ресурсов, перераспределяемых бюрократическим правительством. Отличительным признаком мир-империй является административная централизация, доминирование политики над экономикой. Мир-империи могут трансформироваться в “мир-экономики”. Большинство мир-эко-

* Переработанный доклад на II Северном археологическом конгрессе (Ханты-Мансийск, 2006 г.).

номик оказались непрочными и погибли. Единственная выжившая мир-экономика — это капиталистическая. Она сформировалась в Европе в XVI—XVII вв., превратилась в гегемона мирового развития (капиталистическую мир-систему), подчинив все другие социальные системы. Капиталистическая мир-система состоит из “ядра” (наиболее высокоразвитые страны Запада), “полупериферии” (в XX в. страны социализма) и “периферии” (страны третьего мира). Она основана на неэквивалентном разделении труда и эксплуатации между “ядром” и “периферией”. Полупериферия подвижна, она выполняет амортизационные функции и нередко является источником различных инновационных изменений. На динамику экономических процессов в современной мир-системе влияют геополитические процессы, экономические тренды (циклы Кондратьева и др.) разной протяженности (Wallerstein, 1974).

Один из ключевых вопросов мир-системной теории заключается в том, сколько мир-систем существовало на протяжении человеческой истории. Согласно Валлерстайну, подлинной мир-системой является только мир-система капитализма в течение последних нескольких сот лет. Однако не все принимают его точку зрения. В 1989 г. Ж. Абу-Луход выпустила книгу “До европейской гегемонии” (Abu-Lughod, 1989), в которой завоевания монголов рассматриваются как важнейший фактор создания первой, по-настоящему глобальной мир-системы XIII в. Эта система состояла из пяти независимых “ядер”: 1) Западной Европы; 2) арабского мира; 3) зоны Индийского океана; 4) Китая и Великой степи, объединенной монголами в единое макроэкономическое пространство. Это способствовало установлению стабильных торговых контактов между Европой и Китаем. Значимость этой работы заключается в том, что Абу-Луход первой обосновала единство мира до эпохи гегемона капитализма. Она также попыталась выделить характерные черты досовременной мир-системы, отличающие ее от капиталистической мир-системы (Абу-Луход, 2001). Впоследствии исторический аспект был значительно усилен в работах А.-Г. Франка, К. Чейз-Данна и Т. Холла.

Согласно Валлерстайну, о складывании мир-системы можно говорить, когда начинается масштабный обмен массовыми товарами. Однако в целой серии исследований археологов и антропологов показано, что для доиндустриальных обществ обмен престижными

ми товарами играл более значимую роль и параллельно являлся важным фактором усиления политической власти (Webb, 1975; Ekholm, 1977; Schneider, 1977; Peregrine, 2000 etc.). Впоследствии идея была развита К. Чейз-Данном и Т. Холлом. По их мнению, мир-системная методология применима к системам любого порядка — от глобальной системы современности до мини-систем охотников-собирателей. Мир-системные связи складываются из четырех сетей: сетей массовых товаров (BNG), сетей престижных товаров (PCN), политических и военных сетей (PMN), информационных сетей (IN). Самыми широкими являются сети информации и престижных товаров (Chase-Dunn, Hall, 1997: 41–56; Чейз-Данн, Холл, 2001: 440–443 и др.). Однако А. Гундер Франк и Д. Уилкинсон полагают, что мир-система всего одна. Изначально она зародилась на Ближнем Востоке и затем расширялась. По мере расширения менялся ее центр (Gills, Frank, 1992; Frank, Gills, 1994; Уилкинсон, 2001 и др.).

Важнейшей чертой мир-систем является циклический, пульсирующий характер их жизнедеятельности (Нефедов, 1999; 2003; Straussfogel, 2000). Любая система переживает периоды роста и кризиса, многие системы вследствие различных причин гибнут. Объяснение подобной ритмики можно найти, например, в экологии, поскольку там уже достаточно давно выявлено существование циклов численности животных — например, так называемый эффект Морана (динамика популяции канадской рыси) (Moran, 1953; Ranta, et al., 1997 и др.). Однако необходимо отметить, что ученые так и не пришли к единому мнению относительно причин подобных циклов. Уже не одно десятилетие дискутируется вопрос, есть ли устойчивая корреляция между солнечной активностью, изменением климата и числом животных. Одни авторы полагают, что подобную закономерность можно наблюдать в природе (Максимов, 1989 и др.), другие категорически против этой точки зрения (Макфедьен, 1965: 286–387, 293 и др.).

Подобная ритмика выявлена и в эволюции социальных систем. Еще в первой половине XX в. была отмечена синхронность ритмов роста-упадка империй и урбанизаций между Западной Европой и Китаем в эпоху древности (Teggart, 1939). Уже тогда стало ясно, что это было обусловлено наличием определенных связей между различными частями мира, а также спецификой экологии,

ресурсов и социальной структуры общества. В настоящее время существует несколько моделей, объясняющих циклы роста-упадка крупных земледельческих цивилизаций/империй (Turchin, 2003: 130–138). Необходимо также отметить, что А.-Г. Франк попытался связать подобные ритмы с макроэкономическими трендами Кондратьева. Для доиндустриальной эпохи, по его мнению, тренд был более длинным — от 200 до 500 лет. Франк и Гиллс выделили четыре больших цикла: доклассический (1700 — 100/50 гг. до н.э.), классический (100/50 гг. до н.э. — 200–500 г. н.э.), средневековый (200–500 — 1450/1500) и современный (с XVI в.). Внутри каждого из циклов выделены “кондратьевские” фазы подъема (А) и спада (В). Так, например, в рамках средневекового цикла определены два самостоятельных субцикла: А-фаза (500–750/800) — расцвет Византии, арабского мира, Китая (Суй и Тан), Тюркского каганата; В-фаза (750/800 — 1000/1050) — упадок Каролингов, Аббасидов, Тан, гибель Уйгурского каганата; А-фаза (1000/1050 — 1250/1300) — завоевания монголов и создание досовременной мир-системы по Абу-Луход; В-фаза (1250/1300 — 1450/1500) — упадок Афро-Евразии, связанный с эпидемиями (Gills, Frank, 1992; Frank, Gills, 1994).

Наиболее значимую роль в этих процессах играли сети обмена информацией. В истории человечества выявлен ряд непонятных совпадений, которые трудно объяснить только синхронностью исторических процессов: появление в военном деле колесниц, в результате чего кочевники стали важным фактором исторических процессов*, “железная революция”, следствием которой черная ме-

* “Новая тактика ведения войны способствовала нарушению всего социального равновесия в Евразии. Ни один народ или государство цивилизованного мира не могли устоять перед армией колесниц. Сокрушительные захватнические походы и миграция народов на континенте были вызваны этой резкой переменой в равновесии сил... Социальный градиент больше не протекал гладко, по старой схеме, как это было в III тыс. до н.э., от вершин цивилизации Среднего Востока к ее земледельческим окраинам. Напротив, шел обратный процесс, когда полудицилизованные завоеватели массово вторгались в древние центры цивилизации. Так, все варвары-завоеватели: касситы в Месопотамии, гиксосы в Египте и митанни в Сирии основывали свое господство на превосходстве в новой тактике ведения войны” (Мак-Нил, 2004: 167).

таллургия распространилась от Пасифики до Атлантики, “осевое время”, ставшее интеллектуальным переворотом последних веков до Рождества Христова и др. (McNeil, 2000; Коротаев и др., 2005: 102–104; Korotayev, 2005: 84–86). Вследствие этого необходимо коренным образом пересмотреть понятие “ядра” мир-системы и центр-периферийных связей. Если Валлерстайн связывал эти отношения главным образом с отношениями хищнической эксплуатации странами капитализма колоний, что, как удачно показал Э. Вулф (Wolf, 1982), было большим преувеличением, то, по мнению А. В. Коротаева, в качестве мир-системного ядра нужно считать “ту зону мир-системы, которая имеет наивысшее соотношение между сгенерированными внутри нее (и получившими распространение в других зонах) и заимствованными из других зон инновациями, которая выступает в качестве донора инноваций в несравненно большей степени, чем в качестве их реципиента” (Коротаев и др., 2005: 104).

С этой точки зрения роль кочевников в мировой истории выглядит принципиально по-иному. Если в классических работах по философии истории они представлялись уничтожителями цивилизаций (в лучшем случае “санитарами истории”), то в контексте мир-системных процессов длительный период времени именно они являлись трансляторами информации между оседлыми цивилизациями. Одомашнивание лошади, распространение колесного транспорта способствовали ускорению темпов распространения информации и товаров престижного потребления. Несмотря на то, что сами кочевники почти не изменились с течением времени, они способствовали распространению религий и географических знаний, торговых контактов, развитию информационных сетей и технологических обменов между различными цивилизациями (Мак-Нил, 2004). И хотя далеко не всегда кочевники были главными действующими лицами истории, но они были катализаторами этих процессов (Di Cosmo, 1999: 4).

Совершенно справедливо Т. Оллсон подметил, что в этом обмене роль кочевников обычно сводится до положения простых посредников. Тем не менее кочевники нередко сами выступали инициаторами многих заимствований. Культурный обмен между мусульманской Средней Азией и конфуцианским Дальним Востоком стал возможен не потому, что после создания Монгольской

державы возникли устойчивые и безопасные маршруты, а по той причине, что этого пожелала правящая элита степной империи. На протяжении более чем столетия кочевники выступали главными инициаторами, покровителями и трансляторами культурного обмена между цивилизациями Старого Света (Allsen, 2001: 210–211).

Попробуем реализовать эти идеи применительно к истории Внутренней Азии доиндустриальной эпохи. Представляется продуктивным рассматривать контакты между кочевниками и оседло-городскими цивилизациями как взаимоотношения центра и полупериферии. Понятие полупериферии в мир-системной теории было также разработано И. Валлерстайном главным образом для описания процессов в современной капиталистической мир-системе. Полупериферия эксплуатируется ядром, но и сама эксплуатирует периферию, а также является важным стабилизирующим элементом в мировом разделении труда (Wallerstein, 1984). Однако исследования, проведенные позже, показали более сложный характер взаимодействия центра и полупериферии (Chaze-Dunn, 1988; Chase-Dunn, Hall, 1997: 78–98). В доиндустриальный период важные стабилизирующие функции полупериферии могли выполнять торговые города-государства древности и средних веков (Финикия, Карфаген, Венеция и др.), милитаристические государства-«спутники», возникавшие рядом с высокоразвитым центром региона (Аккад и Шумер в Месопотамии, Спарта, Македония и Афины, Австразия и Нейстрия у франков), которые не подвергались прямой эксплуатации центра.

Империи номадов также являлись милитаристическими «двойниками» аграрных цивилизаций, так как зависели от поступающей оттуда продукции. При этом номады, как уже было сказано выше, выполняли важные посреднические функции между региональными «мир-империями». Подобно мореплавателям, они обеспечивали связь потоков товаров, финансов, технологической и культурной информации между островами оседлой экономики и урбанистической цивилизации (Kradin, 2002). При этом степень централизации кочевников была прямо пропорциональна величине соседней земледельческой цивилизации. В каждой локальной региональной зоне политическая структурированность номадической полупериферии была равнозначна размерам оседло-земледельческого ядра. Кочевники Северной Африки и Передней Азии для того, чтобы

торговать с оазисами или нападать на них, объединялись в племенные конфедерации или вожества. Номады восточноевропейских степей, существовавшие на окраинах античных государств — Византии и Руси, — создавали «квазиимперские» государствовподобные структуры. Номады Внутренней Азии являлись частью китайской (дальневосточной) мир-системы (Seamon, 1991: 4), поэтому здесь средством адаптации кочевничества к внешнему миру стала кочевая империя.

Можно проследить устойчивую корреляцию между расцветом аграрной мир-империи (и мир-экономики), а также силой кочевых империй, которые существовали за счет выкачивания части ресурсов из оседлых городских государств (Barfield, 1992: 8–16; Барфилд, 2002: 75–84)*. Динамичная «биполярная» структура политических связей между земледельческими цивилизациями и окружавшими их кочевниками (варвары и Рим, скифы и государства Причерноморья, номады Центральной Азии и Китая и т. д.) циклически повторялась в истории доиндустриального мира много раз. Она началась с эпохи «осевого времени» (Ясперс, 1991), когда стали возникать могущественные земледельческие империи (Цинь в Китае, Маурьев в Индии, эллинистические государства в Малой Азии, Римская империя на Западе и в тех регионах, где, во-первых, существовали достаточно большие пространства, благоприятные для занятия кочевым скотоводством (Причерноморье, Поволжские степи, Халха-Монголия и т. д.), и, во-вторых, номады были вынуждены иметь длительные и активные контакты с более высокоорганизованными земледельческо-городскими обществами (скифы и древневосточные и античные государства,

* Концепция вызвала немало нареканий со стороны историков. Барфилд обвинял в некорректности выборки («модель с тремя примерами и двумя исключениями» [Wright, 1995: 307]), отсутствии жесткой корреляции между ритмами подъема — упадка Китая и кочевых империй (Di Cosmo, 1999: 13; Васютин, 2002: 93–94; Хазанов, 2002: 49–50 и др.). С этими аргументами трудно спорить. Действительно, если сопоставлять синхронность ритмов подъема — упадка кочевых империй по годам, есть много несоответствий. Однако если соотносить не конкретные цифры, а графики демографических циклов китайских династий (см., напр.: Коротаев и др., 2005: Рис. V. 1–7) со временем существования кочевых империй (за исключением монгольской), то и те и другие примерно укладываются в общий хронологический цикл.

кочевники Центральной Азии и Китай, гунны и Римская империя, арабы, хазары, турки, Византия и пр.). Реакцией на появление земледельческих мир-империй стало возникновение империй и квазиимперских политий номадов.

Во Внутренней Азии первыми биполярными элементами региональной системы были Хуннская держава (209 г. до н. э. — 48 г. н. э.) и династия Хань. В их взаимоотношениях можно выделить четыре этапа. На первом этапе (200—133 гг. до н. э.) хуннские шаньюи, совершая опустошительные набеги, потом, как правило, направляли послов в Китай с предложением заключить мирный договор. После получения даров набеги на какое-то время прекращались. Через определенный промежуток времени, когда награбленная простыми номадами добыча заканчивалась или приходила в негодность, они снова начинали требовать от вождей и шаньюя удовлетворения их интересов. В силу того что китайцы упорно не шли на открытие рынков на границе, шаньюй был вынужден “выпускать пар” и отдавать приказ к возобновлению набегов. Второй этап (129—58 гг. до н. э.) — это главным образом время активных войн ханьцев с кочевниками. На третьем этапе (56 г. до н. э. — 9 г. н. э.) часть хунну под предводительством шаньюя Хуханье приняла официальный вассалитет от Хань. За это император обеспечивал свое небесное покровительство шаньюю и дарил ему как вассалу ответные подарки. Понятно, что “дань” вассала имела только идеологическое значение. Однако ответные “благодарительные” дары были намного больше, чем ранее. Кроме того, по мере необходимости шаньюй получал от Китая земледельческие продукты для поддержки своих подданных. Четвертый, последний этап (9—48 гг.) отношений между Хань и имперской конфедерацией Хунну по содержанию схож с первым этапом. Отличие заключается в большей агрессивности номадов, что, возможно, было опосредовано кризисом Китая, ослаблением охраны границ, невозможностью посылать, как прежде, богатые подарки в Халху (Крадин, 2002).

После хунну место лидера в монгольских степях заняли сяньби (примерно 155—180 гг.), совершавшие грабительские набеги на Северный Китай несколько столетий. Но сяньбийцы не додумались до изощренного вымогательства и просто опустошали приграничные округа Китая. Поэтому конфедерация сяньби ненадолго пережила своего основателя Таньшихуая. Примерно в это же вре-

мя в Хань произошло крупное восстание, которое явилось началом крушения династии.

В эпоху классической древности окончательно сложилась система Великого Шелкового пути. Она имела значение для всех участников этого товарооборота. Римские модницы щеголяли в китайских шелках. Китайцы получали для своей армии знаменитых лошадей “с кровавым потом”. Кочевники зарабатывали на посреднических услугах и имели доступ к новым технологиям и оружию. Помимо этого торговые пути способствовали распространению религиозных воззрений, в особенности буддизма и манихейства (Бентли, 2001: 187—188). Но кроме положительных результатов установление контактов между цивилизациями Старого Света имело и отрицательные последствия. Распространение во II—III вв. патогенов привело к эпидемическим заболеваниям, ставшим причиной резкого сокращения численности населения и упадка цивилизий древности (McNeil, 1976: 106—147).

В следующие полтора столетия после гибели Ханьской империи, пока снова не сформировалась новая биполярная система международных отношений в регионе, народы Маньчжурии создали на границе с Китаем свои государства. Наиболее удачливым из них (мужунам, тоба) удалось подчинить земледельческие территории в Северном Китае. И только после этого кочевники в монгольских степях смогли воссоздать централизованное объединение — Жужаньский каганат (нач. V в. — 555 г.). Однако жужани не сумели достичь полного контроля над степью, поскольку тобасцы также являлись скотоводами по происхождению. Они были храбрыми воинами и в отличие от оседлых китайцев совершали успешные карательные рейды в жужаньские тылы (Крадин, 2005).

После разгрома жужаней тюрками и с образованием на юге династий Суй, а затем Тан восстановилась биполярная структура во Внутренней Азии. Это было обусловлено новым макроэкономическим ростом ведущих мир-империй того времени (А-фаза по Гундер-Франку): в Китае — династии Тан, на Ближнем Востоке — халифата Аббасидов и в Малой Азии — Византии. Политическая стабильность определила быстрое возобновление торговых маршрутов. Объем торговых операций не поддается исчислению, однако очевидно, что он намного превышал товарооборот древнего мира. Тюркские каганы (552—630 и 683—734 гг.) продолжили хуннскую политику

вымогательства на расстоянии. Они вынуждали Китай посылать богатые подарки, открывать на границах рынки и т. д. Важную роль в экономике кочевников играл контроль над трансконтинентальной торговлей шелком (*Бичурин*, 1950а: 268–269; *Liu Ma-tsai*, 1958: 160, 214–215, 252). Первый каганат тюрков стал первой настоящей евразийской империей. Он связал торговыми путями Китай, Византию и исламский мир.

Уйгурский вариант (745–840 гг.) ведения дел выглядит несколько иначе, но и он вписывается в генеральную модель. Доходы уйгуров складывались из следующих частей: 1. Согласно “договорам” с Китаем они получали ежегодно богатые “подарки”. Кроме этого дары выпрашивались по каждому удобному поводу (поминки, коронация и т. д.). 2. Китайцы также были вынуждены нести обременительные расходы по приему многочисленных уйгурских посольств. Однако их больше раздражали не затраты продуктов и денег, а то, что номады ведут себя не как гости, а как завоеватели. Уйгуры устраивали пьяные драки и погромы в городах, бесчинствовали по дороге домой, воровали китайских женщин (*Бичурин*, 1950а: 327). 3. Уйгуры также активно предлагали свои услуги китайским императорам для подавления сепаратистов внутри Китайского государства. Их помощь была очень специфической. Участвуя в военных кампаниях на территории Китая в 750–770-х гг., они нередко забывали о своих союзнических обязательствах и просто грабили мирное население, угоняли его в плен. 4. В течение почти всего времени существования Уйгурского каганата номады обменивали свой скот на китайские сельскохозяйственные и ремесленные товары. Уйгуры хитрили и поставляли старых и слабых лошадей, но цену за них запрашивали очень высокую (*Бичурин*, 1950а: 323). От такой торговли китайцы терпели убытки, а прибыль получали одни номады. Фактически эта торговля, как и подарки, являлась платой номадам за мир на границе. Наконец, если согласиться с Дж. Бентли, уйгуры экспроприировали значительную часть доходов от товарооборота между Китаем и Византией (*Бентли*, 2001: 190). Может быть, именно поэтому на пути купеческих караванов вырос огромный город — Карабалгасун, который мог быть перевалочной базой для торговцев различных стран.

Таким образом, уйгуры почти не совершали набегов на Китай. Им достаточно было лишь продемонстрировать силу своего ору-

жия. Только в 778 г. китайский император возмутился, так как лошади, поставляемые уйгурами, были особенно никудышными. Он купил всего 6 тыс. из 10 тыс. После этого уйгуры сразу совершили разрушительный набег на приграничные провинции Китая, а потом стали ожидать императорского посольства. Посольство приехало очень скоро, и снова заработала привычная машина выкачивания ресурсов из аграрного китайского общества. Так продолжалось до полного уничтожения столицы уйгуров г. Карабалгасуна кыргызами. Остатки уйгурских племен осели около Великой стены и беспристанно грабили приграничные китайские территории. Наконец терпение китайцев истощилось, и туда были посланы войска для их уничтожения.

Когда Уйгурский каганат был уничтожен кыргызами и чуть позже погибла империя Тан, народы Маньчжурии вновь получили шанс стать политическими лидерами в регионе. Это удалось киданям, которые создали империю Ляо (907–1125 гг.). В этот период “ядро” китайской мир-экономики с X в. стало смещаться к югу. Поскольку это направило русло товарных потоков в южные пределы, центральноазиатские кочевники и их маньчжурские соседи были вынуждены создать буферные государства на территории Северного Китая (*Табак*, 1996). Кидани подчинили несколько небольших государств, образовавшихся на обломках Танской империи. Завоевав земледельцев, они создали двойную систему управления как китайцами, так и скотоводами. Северная администрация занимала более высокое положение, а также контролировала номадов и другие северные народы (метрополия). Южная администрация копировала бюрократическую систему Китая, управляла оседло-земледельческими территориями. По мере того как степное “варварство” трансформировалось в “цивилизацию”, представители элиты завоевателей одевались в традиционные одежды побежденных, перенимали их этикет и письменность либо создавали свое письмо.

Данничество и вымогаемые из китайских государств “подарки” приносили Ляо огромную прибыль. После подписания мирного договора в 1005 г. Сунская династия согласилась выплачивать ежегодно Ляо 100 тыс. монет серебра и 200 тыс. кусков шелка. После новой военной кампании 1042 г. выплаты были увеличены до 200 тыс. монет и 300 тыс. кусков шелка (*Franke*, 1990: 409). Кидани возводили крупные города, воздвигали храмы и роскошные

дворцы, в которых селились императорский двор и чиновники. С расширением территории империи за счет включения все новых земледельческих областей Северного Китая процесс китаизации киданьской аристократии шел довольно быстрыми темпами. Она все больше и больше отрывалась от степных традиций.

Полностью повторили киданьский пример чжурчжэни, которые, сокрушив Ляо в начале XII в. и завоевав Северный Китай, создали империю Цзинь (1115–1234 гг.). Находясь в зените могущества, “маньчжурские” династии вели активную политику разъединения кочевников, руководствуясь старым добрым правилом международной политики: “Разделяй и властвуй”. Длительное время им это удавалось, пока к власти в монгольских степях не пришел Темучжин, который смог преодолеть племенной сепаратизм и вновь объединить все народы, живущие “за войлочными стенами”, в единую степную конфедерацию.

Данный исторический период прекрасно вписывается в геополитическую модель *окраинного преимущества* Р. Коллинза (2001). Согласно этой модели, общество с меньшим числом противников на прилегающих территориях имеет тенденцию побеждать в конфликтах и увеличивать свое могущество. С течением времени окраинное преимущество пропадает, периферия становится центром и подвергается военному давлению извне. Так бохайцы создали свое раннее государство на обломках Когурё и поодаль от Танской империи. Елюй Абаоцзи смог объединить киданей, когда развалился Танский Китай и ушли в прошлое степные каганаты. Чжурчжэни создали свою государственность на восточных границах империи Ляо, и киданям пришлось вести войну на два фронта. Монголы также имели окраинное преимущество перед империей Цзинь. К тому же и Ляо, и Цзинь находились уже в упадке*.

* Продолжительность китайских династических демографических циклов составляла около 100–250 лет (см.: *Корогаев и др.*, 2005: 209–211). Время начала войны чжурчжэней под предводительством будущего первого цзиньского императора Агуды против Ляо и начало кампании Чингиз-хана против Цзинь совпали с периодом демографического кризиса (подробнее о кризисах см.: *Нефедов*, 1999; 2003; *Turchin*, 2003: 137–138; *Малков*, 2005 и др.), а также, соответственно, с первым и вторым кризисами династии Сун. Поскольку экономика киданьской и чжурчжэньской династий в немалой степени зависела от престижных товаров, поставляемых в виде контрибуции

Создание империи Чингиз-хана и монгольские завоевания в XIII в. пришлось на новый период влажности в степях Внутренней Азии и Восточной Европы (*Иванов, Васильев*, 1995: 205, табл. 25), а также совпали с демографическим и экономическим подъемом во всех частях Старого Света. Монголы замкнули цепь международной торговли в единый комплекс сухопутных и морских путей. Впервые все крупные региональные ядра (Европа, исламский мир, Индия, Сунский Китай, Золотая Орда) оказались объединенными в первую мир-систему. В степи, подобно фантастическим миражам, возникли гигантские города — центры политической власти, транзитной торговли, многонациональной культуры и идеологии (Каракорум, Сарай-Бату). С этого времени границы ойкумены значительно раздвинулись, политические и экономические изменения в одних частях света стали играть гораздо большую роль в истории других регионов мира (*Abu-Lughod*, 1989; 1990; *McNeil*, 2000).

Первая “мир-система” оказалась недолговечной. Чума, быстро распространившаяся по Старому Свету благодаря развившейся системе торговых коммуникаций (*McNeil*, 1976; *Мак-Нил*, 2004), а также изгнание монголов из Китая, упадок Золотой Орды явились наиболее важными звеньями в цепи событий, приведших к ее крушению. Период с 1350 по 1450 г. отмечается синхронным экономическим и демографическим кризисами во всех основных субцентрах афро-евразийской мир-системы. В начале XV в. она распалась. Даже отчаянные попытки Тамерлана восстановить сухопутную трансконтинентальную торговлю закончились в конечном счете неудачей. Мины вернулись к традиционной политике автаркизма и противостояния с кочевниками, что вызвало регенерацию старой политики дистанционной эксплуатации монголами Китая (*Покотилов*, 1893).

По иронии судьбы именно завоевания монголов способствовали последующему закату номадизма (*Tabak*, 1996). Развитие в эпоху

и дани из Сун, мы полагаем, что сунские кризисы усугубили ситуацию в династиях в северной части Китая. Эта ситуация была обусловлена, по всей видимости, “перепроизводством” элиты, так называемой удельно-лестничной (“танистриальной” по Дж. Флетчеру) системой наследования (*Fletcher*, 1986), которая в соответствии с “законом Ибн Халдуна” (*Turchin*, 2003: 38–40, 132–124) способствовала разрушению единства политической системы.

Монгольской империи связей между Западом и Востоком привело к распространению из Китая в Европу информации о взрывчатых веществах и примитивной артиллерии. Это стимулировало развитие аналогичных разработок в европейских странах и со временем явилось причиной отставания кочевников в военной области. Мощное огнестрельное оружие могло производиться только в странах с промышленной экономикой, которой скотоводы не имели (*Мак-Нил*, 2004: 647). Конечно, они могли выменивать или получать его иными способами из индустриально развитых стран, однако артиллерия, масштабные запасы боеприпасов были им недоступны.

С XVII в. складывается новая, объединившая уже весь земной шар капиталистическая мир-система. В это же время существенные геополитические изменения произошли и на территории Восточной Азии. Очередная волна завоевателей из Маньчжурии привела к созданию на территории Китая новой династии Цин (1644–1911 гг.). Маньчжуры, подобно их предкам чжурчжэням, были хорошими воинами и существенно расширили территорию Срединного государства, которое в предшествующие столетия нечасто выходило за пределы Великой стены. Были завоеваны и включены в состав империи на правах вассалов монгольские кочевники. Победители взяли курс на умиротворение агрессивной природы степняков посредством активного внедрения в общество завоеванных буддизма. Со временем это дало положительные результаты. “Север” уже никогда не являлся в регионе угрозой для “юга”.

Впрочем, такая участь была у всех кочевых народов. В новом мировом порядкеномадам уже не суждено было играть прежнюю роль. Натуральное хозяйство скотоводов не смогло конкурировать с новыми формами интеграции труда в рамках мануфактуры и фабрики. Изменился и политический статус степных обществ. Уже как периферияномады стали активно вовлекаться в орбиту интересов различных субцентров капиталистической мир-системы. Значительно деформировалась экономика и социальная организация, начались болезненные аккультурационные процессы, сопровождающиеся ростом этнического самосознанияномадов, активизацией трайбалистских и антиколониальных движений.

Часть III

ИСТОРИЯ КОЧЕВЫХ ИМПЕРИЙ

ИМПЕРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ХУННУ: СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СУПЕРСЛОЖНОГО ВОЖДЕСТВА*

Создание теории вождества считается одним из наиболее значительных достижений послевоенной западной антропологии и этнологии. Эта концепция была разработана в основном на этноисторических материалах из Северной и Южной Америки, Африки и Океании. Впоследствии у данной теории появились сторонники из числа археологов, которые не без успеха использовали ее в своих построениях по изучению пространственной иерархии поселений и стратификации погребальных сооружений. Не остались в стороне и историки, которые подвергли соответствующему пересмотру письменные источники, содержавшие сведения о “варварской” периферии доиндустриальных цивилизаций.

Классические положения теории вождества были сформулированы в работах Э. Сервиса, который определил вождество (чифдом) как промежуточную (между общиной и государством) форму социополитической организации с централизованным управлением и наследственной клановой иерархией вождей теократического характера и знати, где существует социальное и имущественное неравенство, однако нет формального и тем более легального репрессивного и принудительного аппарата (*Service, 1975: 15–16,*

* Имперская конфедерация Хунну: социальная организация суперсложного вождества // Ранние формы социальной организации. СПб., 2000. С. 195–223.

151–152, 331–332). Постепенно подавляющее большинство исследователей склонились к мысли об универсальности данной эволюционной стадии политической организации. Необходимо отметить, что в последнее время появились работы, обосновывающие, что вождество не являлось обязательным этапом на пути к государству (Березкин, 1994; 1995; Коротаев, 1995 и др.).

Принято различать по степени сложности иерархии простые и сложные (составные) вождества. Для простых вождеств характерен один уровень иерархии. Они представляли собой несколько автономных общин-поселений под предводительством вождя, резиденция которого располагалась в центральном поселении (Johnson, Earle, 1987: 207–224). Сложное вождество имело более сложную внутреннюю иерархическую структуру. Это несколько простых вождеств, объединенных на правах полуавтономных или региональных вассальных подразделений, которые подчинены администрации главного вождя чифдом. Сложные вождества могли иметь этнически гетерогенную структуру, более двух уровней иерархии, центральная администрация и обслуживающие ее службы, как правило, освобождались от участия в непосредственном производстве (Johnson, Earle, 1987: 225–245).

Вопрос о релевантности концепции вождества к истории номадизма, возможно, впервые был поставлен А. М. Хазановым. Из его анализа следовало, что данная теория вполне применима к номадизму, хотя вождества кочевников, как оказалось, имеют ряд специфических особенностей, отличающих их от вождеств оседлых земледельцев (Khazanov, 1984: 164–169). Впоследствии кочевниковеды (и другие исследователи, писавшие о номадах) использовали теорию “вождества” в своих построениях (Васильев, 1983; Викторин, 1988; Павленко, 1989; Крадин, 1992; Першиц, 1994; Трепавлов, 1995; Скрынникова, 1997 и др.).

При всей важности использования теории “вождества” к обществам кочевников-скотоводов необходимо заметить, что номады полностью не вписываются в классические однолинейные модели социальной эволюции: *локальная группа — община — вождество — раннее государство* или *локальная группа — община — племя — вождество — раннее государство*. Во-первых, отнюдь не все из перечисленных форм были характерны для кочевников-скотоводов. По этой причине несколько

ранее я предложил выделять три стадии сложности социально-политической организации кочевников-скотоводов до поглощения их индустриальными мир-экономиками: 1) акефальные сегментарные клановые и племенные политии; 2) “вторичное” племя и вождество; 3) кочевые империи и “квазиимперские” пасторальные политии меньших размеров (Kradin, 1996).

Во-вторых, уже хрестоматийным стало утверждение, что в истории номадов Евразии движение по кругу в целом преобладало над ростом структурной сложности. Кочевники создавали много больших империй, которые, однако, через некоторое время распались. Это был непреодолимый барьер, детерминированный жесткими экологическими условиями аридных степей. Такой взгляд на сущность кочевых обществ разделяется большинством кочевниковедов различных стран (Lattimore, 1940; Bacon, 1958; Krader, 1963; Хазанов, 1975; Марков, 1976; Khazanov, 1984; Крадин, 1992; Масанов, 1995 и др.). Следовательно, переход от одной модели к другой мог осуществляться как в сторону увеличения сложности, так и обратно, и правильнее было бы говорить о цикличности процессов социальной эволюции у кочевников-скотоводов.

В-третьих, исследование социальной организации номадов Евразии показало, что существует немалое число промежуточных форм между вождеством и государством. В качестве примера можно сослаться на объединения казахов или калмыков XVIII–XIX вв. Это, несомненно, были более централизованные объединения, чтобы считать их *союзами племен*. Численность их населения была намного значительнее, чем это обычно бывает в *вождествах*, но система управления, лишенная монополии на узаконенное насилие, не позволяла считать их *государствами*.

Интересно, что это также актуально и для характеристики самых крупных политических политий кочевников — “степных империй”, которые, с одной стороны, были гораздо крупнее сложных (комплексных) обществ и имели “государственноподобный” характер, но далеко не все исследователи согласны считать их уже сложившимися государствами. По этому поводу было высказано много различных точек зрения, и прошла даже дискуссия о “кочевом феодализме”. Одни исследователи полагали, что кочевники развиваются по тем же законам, что и земледельческие народы,

и основой феодализма у номадов была собственность на землю. Их оппоненты отстаивали самобытность кочевников-скотоводов и доказывали, что пастбища у номадов всегда оставались в коллективном пользовании, а основу феодализма составляла собственность на скот. В настоящее время существуют несколько наиболее популярных точек зрения относительно характера общественных отношений у кочевников. Одни ученые считают, что кочевники самостоятельно могли достигать только предгосударственного уровня развития, другие стремятся доказать, что наиболее крупные объединения степняков имели вполне раннегосударственный характер, по мнению третьих, развитие кочевников затормаживалось только после достижения ими феодальной стадии развития, а четвертые отстаивают тезис о самостоятельном пути эволюции номадов (подробнее см.: *Хазанов, 1975; Марков, 1976; Khazanov, 1984; Павленко, 1989: 86–90; Bonte, 1990; Крадин, 1992; Масанов, 1995; Скрынникова, 1997* и др.).

В настоящей главе данная проблема рассматривается на примере Хуннской державы — первой кочевой империи Центральной Азии. Эта империя возникла примерно в 209 г. до н. э., когда шаньюй (титул хуннского правителя) Модэ расправился со всеми внутренними и внешними врагами и объединил все кочевые этносы Центральной Азии. Северные границы империи достигали Байкала, южные упирались в Великую Китайскую стену, западные достигали Восточного Туркестана, включая Хакасию, Туву и Алтай, восточные доходили до Хингана и р. Ляохэ.

Можно выделить четыре этапа истории Хуннской державы. Первый этап (209–133 гг. до н. э.) — это время ее наибольшего расцвета. В этот период номады практиковали политику чередования набегов и вымогания “подарков” в отношении Китая. Следующий этап (129–58 гг. до н. э.) связан с изменением китайской внешней политики и началом длительной кровопролитной войны между хунну и китайской династией Хань. Война не принесла победы ни одной из сторон, однако хуннское общество “взорвалось” изнутри. Началась кровопролитная гражданская война. Третий этап (56 г. до н. э. — 9 г. н. э.) — это период мирных отношений между кочевниками и китайцами. Правивший в то время шаньюй Хуханье, постепенно уничтожив своих внутренних противников,

принял юридический вассалитет от Китая, за что южане стали высылать в степь регулярные и намного более богатые, чем ранее, подарки. Четвертый этап (9–48 гг.) характеризуется очередной сменой внешней политики Китая по отношению к хунну, из-за чего возобновилось противостояние между номадами и земледельцами, начались периодические набеги кочевников на Китай. Данный этап продлился до 48 г. н. э., когда в результате новых внутренних конфликтов Хуннская империя распалась на “северную” и “южную” конфедерации.

Основными источниками по истории хунну являются сведения китайских летописей (Лидай, 1958), которые переведены в том числе и на русский язык (*Бичурин, 1950а; Watson, 1961; Материалы, 1968; 1973* и др.), а также данные археологических раскопок на территории Монголии, России и Китая (*Доржсурэн, 1961; Коновалов, 1976; Тянь Гуанцзинь, Го Сусинь, 1980; 1980а; Сюн Цуньжуй, 1983; Цзвэндорж, 1985; Давыдова, 1995; 1996; Миняев, 1998* и др.). В настоящее время имеется несколько крупных исследований (*Гумилев, 1960; Доржсурэн, 1961; Ма Чаншоу, 1962; Руденко, 1962; Сухбаатар, 1980; Давыдова, 1985* и др.), в которых освещаются те или иные стороны истории и культуры хуннского общества, однако, естественно, многие из вопросов по-прежнему остаются неразработанными и дискуссионными. Один из таких дискуссионных вопросов истории хунну — это характеристика их социальной организации и уровня развития. До сих пор специалисты спорят по поводу причин возникновения империльной организации у хунну, пытаются объяснить сходство в административно-политическом устройстве державы шаньюя Модэ и более поздних кочевых империй Евразии, не могут прийти к единому мнению относительно уровня развития хуннского общества и специфики их общественного строя.

Образование Хуннской державы

Известно, что политическая интеграция и последующее возникновение ранней государственности зависят от многих внутренних и внешних факторов, к числу которых наиболее часто относят благоприятные экологические условия, производящее (как правило) хо-

зайство, плотность народонаселения, развитую технологию, ирригацию, войны, завоевания и внешнее давление, культурное влияние, внешнюю торговлю, кастовую эндогамию и др. (*Carneiro, 1970; Service, 1975; Claessen, Skalnik, 1978; Васильев, 1983; Johnson, Earle, 1987; Павленко, 1989; Годинер, 1991* и др.). Однако роль этих факторов в социальной эволюции кочевых обществ отличалась определенной спецификой, сформированной экологическими условиями аридных зон Евразии. Достаточно сказать, что по уровню технологического развития номады сильно отставали от своих оседлых соседей, но именно такие “орудия труда” скотоводческого хозяйства, как лошадь и верблюд, обусловили мобильность и некоторое военное преобладание кочевников над земледельцами в Евразии и Северной Африке в доиндустриальную эпоху.

Гораздо чаще в качестве причин образования кочевых империй называют разнообразные глобальные климатические изменения (усыхание или, наоборот, увлажнение), воинственный образ жизни кочевников, демографический фактор, выталкивавший номадов из пределов степи, ослабленность земледельческих обществ вследствие “феодальной” раздробленности, необходимость пополнять экстенсивную скотоводческую экономику посредством набегов на более стабильные земледельческие общества, личные амбиции предводителей степных обществ и др.

В большинстве из перечисленных факторов есть свои рациональные моменты. Однако значение некоторых из них оказалось преувеличенным. Так, современные палеогеографические данные не подтверждают жесткой корреляции глобальных периодов усыхания/увлажнения степи с временами упадка/расцвета кочевых империй (*Динесман* и др., 1989: 204–205; *Иванов, Васильев, 1995*: табл. 24, 25). Не совсем ясна роль демографии, поскольку рост поголовья скота происходил быстрее увеличения народонаселения и, как правило, раньше приводил к стравливанию травостоя и кризису экосистемы. Кочевой образ жизни, вне всякого сомнения, может способствовать развитию некоторых военных качеств. Но земледельцев было во много раз больше, они обладали экологически более комплексным хозяйством, надежными крепостями, более мощной ремесленно-металлургической базой и т. д.

Более того, исследователи, изучавшие культуру кочевников-скотоводов изнутри, свидетельствуют, что с экологической точки зрения кочевники не нуждались в государстве. Специфика скотоводства предполагает рассеянный (дисперсный) образ существования. Концентрация больших стад животных в одном месте вела к перевыпасу, чрезмерному вытаптыванию травостоя, увеличению опасности распространения заразных заболеваний животных. Скот нельзя было накапливать до бесконечности, его максимальное количество детерминировалось продуктивностью степного ландшафта. К тому же независимо от знатности скотовладельца все его стада могли быть уничтожены джутом, засухой или эпизоотией. Поэтому животных было выгоднее давать на выпас малообеспеченным сородичам или раздавать в виде “подарков”, повышая тем самым свой социальный статус. Таким образом, вся производственная деятельность скотоводов осуществлялась внутри семейно-родственных и линиджных групп, лишь при эпизодической необходимости трудовой кооперации. Данное обстоятельство обусловило то, что вмешательство предводителей кочевых обществ во внутреннюю экономическую жизнь было очень незначительно и не могло идти ни в какое сравнение с многочисленными управленческими обязанностями правителей оседло-земледельческих обществ. В силу этого власть предводителей степных обществ не могла развиваться до формализованного уровня на основе регулярного налогообложения скотоводов (*Lattimore, 1940; Bacon, 1958; Krader, 1963; Хазанов, 1975; Марков, 1976; 83; Khazanov, 1984; Barfield, 1981; 1992; 79; Масанов, 1991; 1995; Крадин, 1992* и др.).

Что же тогда являлось причиной создания “степных империй”? По большому счету, ведущие внутренние предпосылки политогенеза (экология, система хозяйства, демографический оптимум) в отличие от оседло-земледельческих обществ у номадов не способствовали складыванию государственности. Государство не было необходимо кочевникам для решения внутренних проблем. Централизованная организация власти у номадов возникала исключительно для разрешения внешних задач: получения земледельческо-ремесленной продукции посредством внешнеэксплуататорской деятельности и/или противостояния давлению со стороны земледельческих цивилизаций. В этом и есть принципиальное отличие

политических структур кочевников от государственности оседло-земледельческих обществ.

Правда, при этом необходимо иметь в виду ряд обстоятельств. Во-первых, возникновение кочевых империй было возможным далеко не везде, а только там, где существовали огромные степные пространства, на которых могло кочевать достаточно большое количество скотоводов (Халха-Монголия, Дешт-и Кипчак и др.). Во-вторых, здесь прослеживается жесткая корреляция между объектом экспансии номадов и величиной самого кочевого общества. Нуэры, например, могли совершать свои ежегодные набеги на динка, не преобразовывая своей акефальной “племенной” структуры. Туареги или арабы, чтобы взимать дань с соседних земледельческих оазисов, объединялись в “племенную” конфедерацию или вожжество. Номады причерноморских степей, существовавшие на окраинах античных государств, Византии и Руси, создавали племенные союзы или “квазиимперские” государственноподобные структуры. Однако кочевым скотоводам Центральной Азии (сюнну, тюркам, уйгурам, монголам и др.), соседствовавшим с китайской земледельческой цивилизацией, необходимо было иное средство адаптации к внешнему миру — кочевая империя (Lattimore, 1940; Irons, 1979; Barfield, 1981; 1992; Khazanov, 1984; Фурцов, 1988; Крадин, 1992; 1996; Голден, 1993 и др.).

Под *кочевой империей* я понимаю сложное общество, организованное по военно-иерархическому признаку, занимающее относительно большое пространство и получающее необходимые нескотоводческие ресурсы, как правило, посредством внешней эксплуатации (грабежи, война и контрибуция, вымогание “подарков”, неэквивалентная торговля, данничество и т. д.). Для кочевых империй были характерны: 1) многоступенчатый иерархический характер социальной организации, пронизанный на всех уровнях племенными и надплеменными генеалогическими связями; 2) дуальный (на крылья) или триадный (на крылья и центр) принцип административного деления империи; 3) военно-иерархический характер общественной организации “метрополии, чаще всего по “десятичному” принципу”; 4) ямская служба как специфический способ организации административной инфраструктуры; 5) специфическая система наследования власти (империя — достояние все-

го ханского рода, институт соправительства, курултай); 6) особый характер отношений с земледельческим миром.

Выделяются три модели (типичная, данническая, завоевательная) кочевых империй: 1) кочевники и земледельцы сосуществуют на расстоянии, получение прибавочного продукта осуществляется посредством *дистанционной* эксплуатации: набеги, вымогание “подарков” (в некотором смысле рэкет) и т. п. (хунну, сяньби, тюрки, уйгуры и пр.); 2) земледельцы подчинены кочевникам, форма эксплуатации — *данничество* (Золотая Орда, империя Юань и пр.); 3) номады завоевывают земледельческое общество и переселяются на его территорию, на смену грабежам и данничеству приходит *регулярное налогообложение* земледельцев и горожан (Северная Вэй, государство ильханов и пр.) (Крадин, 1992: 166—178).

Хуннская держава представляла собой классический вариант *типичной* кочевой империи. Ее возникновение является классическим примером, подтверждающим вышеизложенные положения. В течение многих столетий северные “варвары” совершали периодические нашествия на китайские царства. Но ни разу для совершения набегов номады не создали империльной организации. Для этого не было никакой необходимости. Китайцы главным образом были заняты внутренними проблемами, а кочевники могли время от времени совершать успешные набеги на юг либо торговать с земледельцами, чтобы получать необходимую скотоводам ремесленно-земледельческую продукцию.

Однако после 221 г. до н. э., когда было создано первое централизованное общекайское государство — империя Цинь, положение в корне изменилось. Теперь номадам противостояло единое мощное экспансионистское государство. Это государство имело прочную централизованную экономическую базу, обладало многочисленной вымуштрованной армией с опытными военачальниками и вело активную внешнюю завоевательную политику. Таким образом, баланс сил между “севером” и “югом”, между номадами и Поднебесной изменился явно не в пользу кочевников. С этого времени начинается принципиально новый этап во взаимоотношениях между Китаем и Степью.

Хунну быстро почувствовали последствия объединения Китая. Уже в 215 г. до н. э. по приказу правителя Цинь военачальник

Мэн Тянь возглавил громадную армию численностью, по разным китайским источникам, от 100 до 500 тыс. человек (Лидай, 1958: 15) и отвоевал у кочевников Ордос, славившийся своими тучными пастбищами. На отвоеванных территориях Мэн Тянь проложил дороги, воздвиг более 40 крепостей и заселил их ссыльными преступниками. Еще более впечатляющим было строительство Великой Китайской стены (*ваньли чанчэн* — “стены длиной в 10 тыс. ли”), которая по замыслу Цинь Ши-хуаньди должна была стать надежным барьером на пути варварских набегов с севера. В ее сооружении принимали участие громадное количество солдат, осужденных преступников, государственных рабов и крестьян-общинников, принудительно мобилизованных на работы из всех провинций империи.

Чтобы успешно противостоять Китаю, кочевникам необходимо было объединиться в кочевую империю. Однако в отличие от племенной федерации политическая структура степной империи была высоко персоналистской, зависела от индивидуальных способностей ее правителя. Шанью (каган, хан) никогда не был окружен столь пышным и таинственным церемониалом подобно китайским императорам или другим правителям земледельческих стран. Его цель была вполне материальной — организовать получение добычи и распределить ее между племенами. Он мог лично не принимать участие в грабительских набегах и сражениях, “но как самодержцу степной империи ему необходимы были качества воина. “Имперский” хан должен был вести своих подданных к успеху на поле боя и в вымогательстве богатства у оседлых правительств” (Fletcher, 1986: 23). Если правитель степной державы не удовлетворял ожиданий племен, империя могла распасться на более мелкие “квази-имперские” политии. Наконец, когда шанью умирал, существовал определенный риск развала степной империи. Его наследникам недостаточно было предъявить свои законные права на престол, помимо этого они должны были продемонстрировать наличие реальных личных способностей.

Расцвет хуннского общества и образование степной империи принято связывать с именем второго известного из летописей шаньюя хунну Модэ. На первых страницах 110-й главы своих “Исторических записок” Сыма Цянь подробно рассказывает о трудном

восхождении Модэ к вершинам власти (Бичурин, 1950а: 46–48; Лидай, 1958: 16; Материалы, 1968: 38–39). Согласно данному повествованию, Модэ был нелюбимым царевичем и не рассматривался в качестве претендента на хуннский престол. Однако он продемонстрировал личное мужество и получил за это в управление один из “уделов” племенной конфедерации. В своих владениях царевич начал готовиться к перевороту. Он приказал своим воинам беспрекословно повиноваться его приказам и выстрелил сначала в своего коня, любимую жену, а затем в коня шаньюя-отца. Всем, кто отказался повиноваться, Модэ повелел отрубить голову. После этого на охоте он с помощью своих сторонников убил отца и совершил государственный переворот.

Парадоксально, но этот в небольшой степени фантастический рассказ длительное время воспринимался исследователями как воспроизведение реальных событий (см., напр.: Гумилев, 1960; Ма Чаншоу, 1962; Сухбаатар, 1980 и др.). Однако он имеет многочисленные сходства с эпическими и сказочными произведениями. Во-первых, в сюжете прослеживается четкая композиционная структура, события разворачиваются по нарастанию в соответствии с принципом “кумулятивности” (как, например, в русской сказке про репку). Во-вторых, все события в рассказе о Модэ повторяются трижды (ср., например, сказку о Сивке-Бурке), но каждый раз с кумулятивным нарастанием напряжения. Сначала Модэ стреляет в своего коня, затем в жену и коня своего отца. Только на *третий* раз он добился единодушной поддержки своих воинов. В-третьих, в рассказе присутствуют такие традиционные для эпоса и сказок элементы, как *конь* и *жена*. Дважды приходится Модэ расставаться с “любимыми” женами и “любимыми” скакунами. Четвертое сходство с эпосом заключено в положительной оценке главного персонажа, независимо от того, какие поступки (убийство отца, массовый террор) он совершает (подробнее см.: Крадин, 1996: 28–34). Все это дает основание сделать вывод, что излагаемая Сыма Цянем в “Исторических записках” версия прихода Модэ к власти не является пересказом реально произошедших событий. Скорее всего до китайского историографа дошел рассказ, слышанный им (или его информатором) от какого-либо хуннского сказителя или певца. В рассказе причудливо переплетаются отзву-

ки реальных исторических событий и элементы поэтического, эпического произведения. Из всего вышеизложенного можно сделать только один вывод — Модэ определенно являлся узурпатором, захватившим власть силой. Однако восстановление реальной исторической картины скорее всего не подлежит реконструкции.

Основой доминирования хунну в Центральной Азии стала отлаженная военная система. Китайские источники неоднократно свидетельствуют о воинственном образе жизни северного соседа. С раннего детства мальчики и юноши тренировались в стрельбе из лука и скачках на лошадях. Все взрослые мужчины входили в состав военно-иерархической организации хуннского общества (Лидаи, 1958: 3, 31; Материалы, 1968: 34, 36). Хронисты образно именовали Хуннскую державу “царством военных коней”, самих кочевников сравнивали с “вихрем” или “молниями”, а в официальных документах в противопоставление оседлым китайцам хунну именуется как народы, “натягивающие луки” (Лидаи, 1958: 32; Материалы, 1968: 48, 75). Однако сама по себе милитаризация образа жизни являлась только предпосылкой для последующих успешных баталий. Более важную роль сыграли организационные и военные преобразования, произведенные шаньюем Модэ, и в особенной степени введение им так называемой “десятичной” системы и жесткой военной дисциплины. Преимущества “десятичной” системы достаточно очевидны. Военная история дает бесчисленное множество примеров, когда малочисленные армии побеждали превосходящих противников только из-за того, что имели лучшую внутреннюю организацию.

В периоды могущества Хуннской державы племена “метрополии” практиковали в отношении соседей различные формы дистанционной эксплуатации и данничества. Они получали дань, например, со своих заклятых врагов протомонголов (дунху, ухуаней). Обложены данью были и народы Саяно-Алтая и Тувы. Они управлялись хуннскими наместниками и поставляли в метрополию руду и ремесленную продукцию (Бичурин, 1950а: 103, 105, 144, 216, 1950б: 161, 188; Лидаи, 1958: 244; Материалы, 1973: 54, 126; 1984: 65, 297–298, 328 и др.). Оседлое население богатых оазисов “Западного края” платилономадам дань шерстью, тканями, изделиями ремесленников, было обложено ямской повиннос-

тью. Кочевники контролировали и прибыльные караванные пути в страны Запада (Бичурин, 1950а: 45–50, 55, 1950б: 155, 218; Лидаи, 1958: 16, 18, 29, 205, 208, 241; Материалы, 1968: 38–39, 41, 43; 1973: 25–26, 30, 49, 125; 1984: 65, 70).

Другой не менее распространенной формой эксплуатации на расстоянии было осуществление набегов на соседей с целью грабежа и захвата пленников. Наконец, известно, что народы, зависимые от хунну, были обязаны поставлять воинские контингенты для участия в боевых действиях на стороне метрополии кочевой империи или выполнять аналогичные обязанности на своей территории (Бичурин, 1950а: 154, 1950б: 155, 214; Материалы, 1973: 125; 1984: 75 и др.).

Следует оговориться, что такое положение существовало не всегда. В периоды кризисов и ослабления Хунну народы, зависимые от державы, переставали платить дань, поставлять воинские формирования и даже сами (и/или в сговоре с китайцами) совершали набеги на владения бывшего сюзерена. Но как только ситуация внутри метрополии кочевой империи стабилизировалась, карательные рейды хуннских полководцев приводили бунтовщиков и изменников к покорности. Такое положение сохранялось практически до распада Хуннской империи в середине I тыс. н. э.

Экономика степной империи

Китайские хроники сохранили описание образа жизни кочевников-скотоводов хунну. В самом начале своего знаменитого 110-го цзюаня “Ши цзи” Сыма Цянь пишет о северных соседях: “Из домашнего скота у них больше всего лошадей, крупного рогатого скота и овец... Мальчики умеют ездить верхом на овцах, из лука стрелять птиц и мышей; постарше стреляют лисиц и зайцев, которых затем употребляют в пищу; все возмужавшие, которые в состоянии натянуть лук, становятся конными латниками... в мирное время все следуют за скотом и одновременно охотятся на птиц и зверей, поддерживая таким образом свое существование, а в тревожные годы каждый обучается военному делу для совершения нападений” (Лидаи, 1958: 3; Материалы, 1968: 34).

Как это ни странно, но нечто похожее увидел спустя полтора тысячелетия венецианский купец Марко Поло: “Зимою татары живут в равнинах, в теплых местах, где есть трава, пастбища для скота, а летом в местах прохладных, в горах да равнинах, где вода, рощи и есть пастбища. Дома у них деревянные, и покрывают они их веревками; они круглы; всюду с собой их переносят... Жены, скажу вам, и продают, и покупают все, что мужу нужно, и по домашнему хозяйству исполняют, мужья ни о чем не заботятся; воюют да с соколами охотятся на зверя и птицу” (Книга Марко Поло, 1956: 88). Впрочем, аналогичные описания содержатся и в отношении еще более поздних кочевников (*Пржевальский*, 1875: 141; *Майский*, 1921: 33–35; *Калиновская, Марков*, 1987: 59–60; *Радлов*, 1989: 130, 153–162, 168, 260, 335 и др.).

Однако еще более удивительно, что численность населения у хунну и количество скота вполне сопоставимы с численностью монголов начала XX в. и поголовьем их стад (*Хазанов*, 1975: 264–265; *Тортика* и др. 1994). Таким образом, с известной долей уверенности можно предполагать, что многие важнейшие черты хозяйства, социальной организации, быта и, возможно, даже менталитета кочевников монгольских степей были детерминированы специфической экологией обитания подвижных скотоводов аридных зон и в своей основе мало изменились со времен глубокой древности вплоть до рубежа нового времени. В целом такая экологическая и экономическая адаптация предполагала достаточно ограниченный (а с точки зрения современного “цивилизованного” человека суровый) способ существования. “Бедный кочевник — чистый кочевник”, — сказал О. Латтимор (*Lattimore*, 1940: 522). И самое удивительное, на какой основе хунну и их наследникам удалось создать в степи грозные “кочевые империи”?

Казалось бы, проще всего для кочевников дополнять свою экономику иными видами хозяйственной деятельности, в первую очередь земледелием, тем более что многочисленные факты свидетельствуют о наличии у них зачатков собирательства и земледелия (*Хазанов*, 1975: 11–12, 117; *Марков*, 1976: 159, 162–167; 209–210, 215–216, 243; *Гаврилюк*, 1989: 35–37; *Косарев*, 1991: 48–53; *Масанов*, 1995: 73–76 и др.). Но оседлость и земледелие

в массовом масштабе возможны только там, где количество годовых атмосферных осадков не менее 400 мм или имеется разветвленная речная сеть (*Масанов*, 1995: 41). Большая часть территории Монголии, где кочевали со своими стадами хунну, под эти условия не попадает (*Мурзаев*, 1952: 192, 207, 220–233). Там всего 2,3% земель пригодны для занятия земледелием (*Юннатов*, 1946).

К тому же отказ от пасторального образа жизни рассматривался номадами как крайне нежелательная альтернатива. Психология кочевника отрицательно относилась к стационарности как к проявлению, оскорбляющему самолюбие свободного номада. Не случайно, например, у позднесредневековых татар существовала поговорка “Чтоб тебе, как христианину, оставаться всегда на одном месте и нюхать собственную вонь” (*Меховский*, 1936: 213, прим. 43). Поэтому, как показывают многочисленные этнографические данные, перешедшие к занятию земледелием кочевники рассматривали свое состояние как вынужденное и при первой же возможности возвращались к подвижному скотоводству (*Марков*, 1976: 139–140, 163, 165, 243–244; *Khazanov*, 1984: 83–84; *Косарев*, 1991: 46–50 и др.).

По данным причинам кочевники чаще предпочитали развивать сельскохозяйственный сектор в экономике путем включения в состав своих обществ земледельческого населения, попавшего в степь из соседних государств. Это могли быть: 1) угнанные в плен крестьяне и ремесленники; 2) лица, бежавшие к номадам в силу различных обстоятельств (преступники, должники, рабы и иные эксплуатируемые категории и др.); 3) жители присоединенных к кочевой империи оседлых народов.

Все эти варианты известны и в хуннской истории. Описание отношений между Хань и Хунну дает богатый цифровой материал в отношении пополнения земледельческо-ремесленного сектора хуннской экономики из числа угнанных китайцев. Можно выделить три волны в походах номадов за военнопленными в Китай. Первая волна — это период правления первых трех хуннских шаньюев (Модэ, Лаошана и Цзюньчэня), этап чередования набегов и вымогания “подарков” из Китая. В летописях упоминания об уводе населения в степь даются под 166–162(?) и 158 г. до н. э., хотя, возможно, пленники угонялись на протяжении всей пер-

вой половины II в. до н. э., вплоть до установления в 157 г. до н. э. при императоре Сяо-вэне стабильной приграничной торговли. Вторая волна приходится на хунно-ханьскую войну, развязанную У-ди (увод пленных в 128–123, 121–120, 108–107(?), 102, 91, 73 гг. до н. э.). Третья волна связана с хуннско-китайскими войнами при Ван Мане. Известны уводы ханьцев в 11, 12, 25–27 и 45 гг. н. э., но, вероятнее всего, пленников угоняли в Халху на протяжении всей войны, вплоть до распада Хуннской державы в 48 г. (Крадин, 1996: 43, 93) Перебежчиков в Хуннской державе, наверное, также было немало, хотя на этот счет не имеется точных цифровых выкладок. Обеспокоенность китайской администрации данной проблемой вынуждала еще в середине II в. до н. э. обращаться ханьских императоров к шаньюям с просьбой не принимать перебежчиков (Лидай, 1958: 32; Материалы, 1968: 49). Но недовольные притеснениями местных магнатов и бюрократии были всегда. Широко известна цитата из “Истории ранней династии Хань” под 33 г. до н. э., в которой говорится об озабоченности ханьского двора частыми побегами рабов к хунну: “Рабы и рабыни пограничных жителей печалются о своей тяжелой жизни, среди них много желающих бежать, и они говорят: “Ходят слухи, у сюнну спокойная жизнь, но что поделаешь, если поставлены строгие караулы?”. Несмотря на это, иногда они все же убегают за укрепленную линию” (Лидай, 1958: 230; Материалы, 1973: 41). Нет оснований полагать, что в другие времена было по-иному.

Данные категории населения селились в специальных пунктах, создаваемых внутри кочевого общества, в местах, пригодных для занятия земледелием или хотя бы огородничеством. Археологическое обследование территории Монголии и Забайкалья показывает, что в хуннское время существовало, как минимум, более десяти таких населенных пунктов (Доржсурэн, 1961; Пэрлээ, 1974; Давыдова, 1978; Hayashi, 1984 и др.). Они снабжали кочевую часть Хуннской имперской конфедерации частично продуктами земледелия и изделиями ремесла.

Наиболее хорошо изученное из них — Иволгинское городище на юге Бурятии (Давыдова, 1985; 1995). Городище представляло собой неправильный прямоугольник со сторонами примерно 200 на 300 м. С трех сторон оно было защищено фортификационными

сооружениями (4 вала и 3 рва между ними), с четвертой стороны городище защищала р. Селенга. Многолетними археологическими раскопками вскрыта значительная площадь, исследовано более 50 жилищ, а также много иных хозяйственных и прочих сооружений. Установлено, что большинство жителей городища занимались земледелием, оседлым животноводством (кости собаки — 29%, овцы — 22%, крупного рогатого скота — 17%, свиньи — 15%), рыболовством (Давыдова, 1985: 68–74).

Наряду с сельским хозяйством часть жителей занималась и ремесленным производством. По концентрации в отдельных жилищах находок разных категорий прослеживается специализация их обитателей. Так, в жилище № 25 обнаружено большое число изделий и заготовок из кости, в жилище № 32 — железные орудия труда и формочки для отливки металла, в жилище № 41 — много керамики и керамического брака, в жилище № 49 — панцирные пластины и другие предметы вооружения (там же, 20, 75–80).

Полиэтничность городища подтверждается различиями в конструктивных особенностях жилищ, погребальном обряде на синхронном городище могильнике и антропологическим материалом (там же, 22, 27–35, 85–86). Некоторые категории инвентаря и керамика обнаруживают аналогии с китайскими материалами. Большое преобладание наблюдается в остеологическом материале городища таких животных, как собака (29%) и свинья (15%) (там же, 71), что в совокупности с широко используемой на городище традицией строительства “кана” невольно наводит на мысль о том, что, возможно, определенная часть жителей городища являлась выходцами с Дальнего Востока. Известно, что собака — один из традиционных деликатесов народов Маньчжурии и Корейского полуострова, а свинья с глубокой древности входила в число любимых блюд “восточных иноземцев”.

Вместе с тем внутренняя седентеризация едва ли могла полностью обеспечить хуннское общество собственной ремесленно-земледельческой продукцией. Поэтому кочевники получали недостающие продукты сельского хозяйства и товары ремесленников посредством развития широких обменных связей с Китаем и странами “Западного края”, установлением даннических отношений с более слабыми соседями, организацией политики чередования периоди-

ческих набегов на Китай и вымогания от китайской администрации так называемых “подарков”.

В источниках имеются сведения о существовании в определенных периоды хунно-ханьских отношений приграничной торговли между ханьцами и хунну. Официально рынки были открыты только для товаров нестратегического назначения, но фактически здесь же китайские контрабандисты снабжали кочевников запрещенными товарами (оружие, железо и пр.) (Yu Yung-shi, 1967: 101, 117–122). Наивысшего расцвета торговля между Хунну и Хань достигла во второй половине II в. до н. э., когда на протяжении почти 30 лет не было совершено ни одного набега на Китай. Причем необходимость существования торговых пунктов для кочевников была настолько велика, что они иногда функционировали даже в периоды активизации грабительских набегов хунну на Китай (Лидай, 1958: 33–34, 242, 244; Материалы, 1968: 50–51, 1973: 51, 64). Кстати, китайцы прекрасно осознавали, что номады больше них нуждаются в обмене продукцией, и часто использовали внешнюю торговлю как средство политического давления на номадов, и последним нередко приходилось отстаивать свои права на торговлю вооруженным путем (это универсальная для всех регионов и эпох закономерность [Lattimore, 1940: 478–480; 94, p. 4–5; Хазанов, 1975: 255–256; Марков, 1976: 246; Khazanov, 1984: 201–212 и др.]).

В то же время, отдавая должное мирным связям хунну и китайцев, не следует недооценивать степень милитаризованности жизни кочевников. “Сюнну открыто считают войну своим занятием”, — говорил знаменитый советник Лаошан-шаньюя Чжунхан Юэ в беседе с ханьским послом (Лидай, 1958: 30; Материалы, 1968: 46). “У сюнну быстрые и смелые воины, которые появляются подобно вихрю и исчезают подобно молнии”, — предупреждал императора У-ди, один из крупных чиновников государства Хань Ань-го (Материалы, 1968: 75). Эта линия прослеживается даже в официальных политических документах. Так, например, в заглавии письма императора Сяо-Вэня хуннскому шаньюю от 162 г. до н. э. ханьцы характеризуются как народы, “носящие пояса и шапки чиновников”. Хунну противопоставляются им как “владения, натягивающие лук” (Лидай, 1958: 32; Материалы, 1968: 47–48).

Агрессивный характер внешней политики номадов отражают и статистические данные. За 250 лет существования Хуннской империи номады, по разным вариантам подсчета (от 47 до 80) лет, вели военные действия на территории Китая, тогда как ханьцы только 15 раз совершали походы на север за Великую стену (Крадин, 1996: 68).

Отношения власти

Стабильность степных империй напрямую зависела от умения высшей власти организовывать поставку шелка, земледельческих продуктов, ремесленных изделий и изысканных драгоценностей с оседлых территорий. Поскольку эта продукция не могла производиться в условиях скотоводческого хозяйства, получение ее силой или вымогательством было первоочередной обязанностью правителя кочевого общества. Будучи единственным посредником между Китаем и Степью, правитель хуннского общества имел возможность контролировать перераспределение получаемых из Китая добычи, “подарков” и дани, посредством чего он усиливал свою собственную власть. Одновременно это позволяло ему сохранять империю, которая не могла существовать на основе экстенсивной скотоводческой экономики. В делах же внутренних шаньюй обладал гораздо меньшими полномочиями. Большинство политических решений на местах принималось племенными вождями.

Такая же двойственность обнаруживается в экономике Хуннской империи. “Имперский уровень правительства финансировался ресурсами, получаемыми из-за пределов Степи, без обложения налогами скотоводов в империи, — пишет Г. Барфилд. — Получение этой “иностранной помощи” силой или мирными средствами было первоочередной обязанностью имперского правительства” (Barfield, 1981: 58). Американский кочевниковед весьма точно подметил двойственный характер природы власти шаньюя. Если в военное время могущество правителя Хуннской империи держалось на необходимости руководства военными действиями, то в мирное время его положение зависело от способностей перераспределять китайские подарки и товары.

Т. Барфилд подробно проанализировал механизм хуннской имперальной машины, который функционировал примерно следующим образом. Шаньюй совершал набеги для получения политической поддержки со стороны племен — членов “имперской конфедерации”. Далее, используя угрозы, что снова разорит земли, вымогал от Хань “подарки” (для раздачи родственникам, вождям племени и дружине) и право на ведение приграничной торговли (для всех подданных) (Barfield, 1981: 52–57).

Однако “подарки” китайских императоров оставались на верхних уровнях общественной пирамиды Хуннской державы. Известно, что ежегодная “дань” Хань составляла 10 000 *даней* рисового вина, 5 000 ху проса и 10 000 кусков (*пи*) шелковых тканей (Лидай, 1958: 191; Материалы, 1973: 22). В то же время среднегодовой паек зерна для взрослого мужчины по китайским нормам составлял 36 ху. При таком нормировании данного количества зерна ежегодно могло хватать лишь для 140 человек. Если использовать хлебные продукты только в качестве пищевой добавки (например, в размере 20% от нормы), данного количества зерна могло хватить для питания в течение года примерно 700 человек. Таким образом, императорские поставки хлеба могли предназначаться только для удовлетворения нужд шаньюевой ставки (Barfield, 1992: 47).

Один кусок (*пи*) представлял собой отрез длиной четыре *чжана* (9,24 м) и шириной два *чи* и два *цуня* (50 см) (Лубо-Лесниченко, 1994: 146). Исходя из этого, можно рассчитать, что ежегодные “подарки” шелком составляли около 92 400 м. Известно, что на самый простой мужской халат необходимо было четыре *чжана* ткани, тогда как на халат с прямой и изогнутой полкой — соответственно 10 и 14 *чжан* (Крюков и др., 1983: 190). Следовательно, из 10 тыс. *пи* можно было пошить несколько тысяч шелковых халатов разного покроя. Даже при этих самых приблизительных подсчетах очевидно, что китайский шелк расходовался на изготовление одежды для шаньюевого двора и на массовые раздачи племенным вождям. До простых скотоводов императорские “подарки” не доходили.

Последнее подтверждается и археологическими источниками. Лаковая посуда, как и другие предметы китайского производства

встречается главным образом в захоронениях хуннской элиты (Руденко, 1962: 96).

Однако основное население “имперской конфедерации” также испытывало потребность в получении продукции из земледельческого мира. Номадам был необходим как шелк для одежды, так и зерно и некоторые другие сельскохозяйственные продукты, ремесленные изделия, металл. По этой причине шаньюй был вынужден отстаивать интересы своего народа перед стремящимся к автаркии южным соседом (Lattimore, 1940: 478–480) и вымогать право на торговлю, угрожая возобновлением набегов на пограничные провинции Китая. Так он мог поддерживать свою власть среди скотоводов, не прибегая к войне или грабежам. Его роль как посредника между Хань и степняками стала такой же важной, как и его статус верховного военного главнокомандующего. Поэтому хуннские шаньюи тщательно охраняли свою исключительную монополию на осуществление международных политических отношений с Китаем от имени всех племенных федератов степной “империи”. Нарушители монополии на осуществление внешней политики шаньюя в периоды сильной власти сурово наказывались. Известен случай, когда в 177 г. до н. э. правый Сянь-Ван без согласования со ставкой совершил набег на приграничные территории округа Шанцзюнь и был за это строго наказан. Его послали на опасную войну против юэчжей (Лидай, 1958: 28–29).

Разумеется, в периоды ослабления единоличной власти шаньюя наиболее влиятельные “князья” также пытались завязывать неофициальные контакты с китайскими дипломатами, и те активно вступали в такие связи (см., напр.: Лидай, 1958: 204; Материалы, 1973: 24). Но в целом данная практика была нехарактерна. Можно согласиться с мнением того же Т. Барфилда, что в хуннской истории имелось немало случаев, когда соблазненные подарками и титулами вожди дезертировали вместе со своими племенами за Великую стену, но ни один племенной вождь или региональный наместник не имел права самостоятельно контактировать с ханьским правительством и оставаться в степной империи (Barfield, 1981: 57).

Механизмом, соединявшим “правительство” степной империи и племенных вождей, были институты престижной экономики. Ма-

нипулируя подарками и одаривая ими соратников и вождей племен по мере необходимости, шаньюй увеличивал свое политическое влияние и престиж “щедрого правителя” и одновременно как бы связывал получивших дар “обязательством” отдаривания. Племенные вожди, получая подарки, с одной стороны, могли удовлетворять личные интересы, а с другой — повышать свой внутриплеменной статус путем раздачи даров соплеменникам или посредством организации церемониальных праздников. Кроме того, получая от шаньюя дар, реципиент как бы приобретал от него часть сверхъестественной благодати, чем дополнительно способствовал увеличению собственного престижа.

Т. Барфилд правильно отметил, что, разработав политику “пяти искушений”, ханьские политики, вероятно, рассчитывали на простую человеческую алчность. Они полагали, что шаньюй опьянеет от количества и разнообразия редких диковинок и будет их копить в своей сокровищнице на зависть подданным или растраниривать их на всяческие сумасбродства. Однако конфуцианские чиновники так и не поняли, на чем зиждется фундамент степной политики. Психология кочевника отличается от психологии земледельца и горожанина. Поскольку статус правителя степной империи зависел, с одной стороны, от возможности обеспечивать дарами и благами своих подданных и, с другой стороны — от военной мощи державы, чтобы совершать набеги и вымогать “подарки”, то причиной постоянных требований шаньюя об увеличении подношений была не его личная алчность (как ошибочно полагали китайцы!), а необходимость поддерживать стабильность военно-политической структуры. Самое большое оскорбление, которое мог заслужить степной правитель, по мнению Т. Барфилда (*Barfield, 1981: 56–57*), — это обвинение в скупости. Правитель кочевой империи должен быть щедрым. Следовательно, протекающие через его руки “подарки” не только не ослабляли, а, напротив, усиливали власть и влияние правителя в “имперской конфедерации”.

Общественная структура

Во главе хуннского общества находился *шаньюй*. Он являлся верховным правителем степной империи, представлял ее в поли-

тических и экономических отношениях с другими странами и народами. В его компетенцию входило объявление войны и мира, заключение политических договоров, право получения “подарков” и дани и их редистрибуция, заключение династических браков и т. д. По всей видимости, шаньюй был верховным главнокомандующим, высшей судебной инстанцией и выполнял наиболее важные религиозные обряды (*Таскин, 1984*).

Шаньюй также являлся сосредоточением иррациональной власти. Он выполнял наиболее важные религиозные обряды, обеспечиваяномадам покровительство со стороны сверхъестественных сил. В официальных документах периода расцвета Хуннской империи шаньюй именовался не иначе, как “небом и землей рожденный, солнцем и луной поставленный, великий шаньюй сюнну”.

Шаньюй имел многочисленных родственников, которые относились к его “царскому” роду Люаньди (Луаньти, Сюйляньти): братьев и племянников, жен (*яньчжи*), сыновей и принцесс (*цзюйцзы*) и т. д. Самыми титулованными из родственников шаньюя являлись десять высших *темников*, которые составляли соответственно четыре и шесть “рогов”. Первых четырех китайские летописцы называли титулом *ван* (князь).

Кроме родственников шаньюя в число высшей хуннской аристократии входили и другие знатные “семейства” — Хуянь, Лань и позднее появившиеся роды Сюйбу и Цюлинь (*Лидай, 1958: 17, 680–681; Материалы, 1968: 40; 1973: 73*). Часть из них также занимали высокие военно-административные должности *темников*.

На следующей ступени в хуннской иерархии находились племенные вожди и старейшины. В летописях чаще всего они обозначаются как “небольшие князья”, *дувэй*, *данху*, *цзюй* (*Лидай, 1958: 17; Материалы, 1968: 40*). Наверное, часть *тысячников* была племенными вождями. Сотники и десятники являлись, вероятно, родовыми (клановыми) старейшинами различных рангов. В обязанности вождей и старейшин входили хозяйственные, судебные, культовые, фискальные и военные функции.

У хунну имелась определенная прослойка служилой знати. В первую очередь — это дружина шаньюя, связанная с ним отношениями личной преданности. Возможно, наиболее доверенным дружинникам давались титулы *гудухоу*. Помимо номадов к ка-

тегории служилой аристократии следует отнести иммигрантов из Китая, ставших советниками при шаньюевом дворе либо удостоившихся других должностей в административной иерархии империи и ставших очень полезными консультантами хуннских шаньюев. Они знакомили номадов с китайской тактикой военного дела, обучали ведению земледельческого хозяйства, иероглифической письменности, основам придворного этикета и администрирования (*Pritsak, 1954: 178–202*).

Несколько ниже служилой знати на иерархической лестнице располагались вожди нехуннских племен, включенных в состав имперской конфедерации или зависимых племен и владений, плативших номадам дань.

Основное население Хуннской державы составляли простые кочевники-скотоводы. Основываясь на некоторых косвенных данных, можно предполагать, что многие важнейшие черты хозяйства, социальной организации, быта и, возможно, даже менталитета хунну были детерминированы специфической экологией обитания и в своей основе мало чем отличались от особенностей культуры кочевников монгольских степей более позднего времени (*Крадин, 1996: 86–90*).

В письменных источниках отсутствуют сведения относительно различных категорий бедных и неполноправных лиц, занимавшихся скотоводством у хунну. Поэтому, основываясь на более общих закономерностях эволюции кочевых обществ (*Krader, 1963; Хазанов, 1975; Марков, 1976; Масанов, 1995; Khazanov, 1984* и др.), можно только предполагать, что такие лица у хунну могли быть. Также неизвестно, насколько у хунну были распространены рабовладельческие отношения, хотя источники буквально пестрят данными об угоне номадами в плен земледельческого населения. Неразвитость рабства у хунну может быть объяснена сравнительно-историческими этнологическими исследованиями, которые убедительно свидетельствуют, что ни в одном из скотоводческих обществ рабство не получило значительного распространения (*Нибур, 1907; Семенюк, 1958; Хазанов, 1975; Кляшторный, 1985; Крадин, 1992* и др.). Во-первых, использование рабского труда в выпасе скота экономически неэффективно. В скотоводческом труде потребности в дополнительных рабочих руках ограничены, и они

полностью удовлетворялись за счет внутренних ресурсов, и приток рабов извне был не нужен. Во-вторых, при кочевом образе жизни были сравнительно легкие условия для бегства, и одновременно существовала опасность повышенной концентрации рабов в одном месте при весьма низкой демографической плотности свободного населения. В-третьих, скотоводческий труд требовал определенной квалификации, личной заинтересованности и в то же время во многих скотоводческих обществах считался престижным.

Скорее всего правы те исследователи (*Гумилев, 1960: 147; Руденко, 1962: 70–71; Давыдова, 1975: 145; Хазанов, 1975: 139–144*), которые считают, что подавляющее число военнопленных занималось земледелием и ремеслом в специально созданных для этого поселениях. Однако по социально-экономическому и юридическому положению большинство из этих лиц — *цинцев* (среди них было много и свободных перебежчиков) — являлись не рабами, а совершенно иной категорией населения. Их социальный статус скорее всего был неодинаковым: от весьма условного полуассалитета до некоего подобия полукрепостничества. Классическим поселком такого типа являлось Иволгинское городище в Бурятии (*Давыдова, 1985; 1995*).

Археологические данные существенно дополняют сведения летописей. Чем выше статус усопшего, тем больше были затраты на сооружение погребальной конструкции, более пышным был опущенный с ним в могилу инвентарь. Монументальные сооружения создают специфическое священное пространство, которое символизирует божественный, иррациональный статус земной власти (применительно к хунну — так называемые царские курганы со всей атрибутикой, включая дромос — “дорожку” в загробный мир). Фокусируя ландшафт “на себя”, воплощая “максимальную сакральность” социума, монументальные памятники как бы представляют в опредмеченной форме реальный политический контроль и собственность.

Еще до образования империи, в период “борющихся царств”, у хунну существовала значительная стратификация. На одном полюсе — простые захоронения рядовых номадов. На другом — могилы представителей племенной верхушки, в которых обнаружены большое количество украшений для колесниц, редкое оружие, ювелир-

ные изделия и пластины с высокохудожественными изображениями животных из золота, жезлы, навершия знамен и пр. (могильники Алучжайдэн и Сигоупань во Внутренней Монголии [Тянь Гуанцзинь, Го Сусинь, 1980; 1980а; Сюн Цуньжуй, 1983]).

В период расцвета хунну социальное расслоение еще более увеличилось. В Ноин-Уле (Монголия) и Ильмовой пади (юг Бурятии) расположены монументальные “царские” и “княжеские” курганы хуннской элиты, на сооружение которых требовались немалые усилия (Доржсурэн, 1961; Руденко, 1962 и др.). Так, например, самый известный из хуннских курганов, исследованный в 1924—1925 гг. экспедицией П. И. Козлова, представлял собой сооружение с прямоугольной насыпью размером 14х16 м и высотой более 1,5 м. Могильная яма уходила крутыми уступами на глубину 9 м. С южной стороны она имела более пологий дромос, обрамленный каменной кладкой. Внизу в двух срубках находился гроб, покрытый лаком и росписью. Внутренняя поверхность срубов была задрапирована изысканными шерстяными коврами и шелковыми тканями. Покойного сопровождал богатый погребальный инвентарь (Краткие отчеты, 1925).

Погребения рядовых номадов гораздо проще и беднее по инвентарю. Обычно это округлые или четырехугольные каменные насыпи размером (диаметром) 5—10 м. Глубина могильной ямы обычно доходила до 3 м. На дне ее стоял деревянный гроб (реже гроб в срубке). Захоронение сопровождалось отдельными предметами вооружения, сбруи, орудиями труда, украшениями и заупокойной пищей (Доржсурэн, 1961; Коновалов, 1976; Цэвэндорж, 1985; Миняев, 1992; 1998 и др.). Но если сравнить погребения кочевников с могилами оседлого населения, проживавшего на территории Иволгинского городища, то последние выглядят еще скромнее и беднее (Давыдова, 1982; 1996).

Насколько жесткой была эта общественная пирамида? Возможно ли было индивиду преодолеть иерархические ступени и повысить свой административный и социальный статус? Исследования по социальной антропологии народов Евразии показывают, что для кочевников-скотоводов была характерна так называемая генеалогическая система родства (Васон, 1958; Krader, 1963; Хазанов, 1975; Марков, 1976; Khazanov, 1984; Масанов, 1995 и др.). Ее значи-

мость применительно к проблеме вертикальной мобильности выражалась в том, что: 1) статус и власть, как правило, передавались внутри одной генеалогической группы в соответствии с принципами старшинства; 2) ни один индивид не мог существовать вне рамок какой-либо кланово-родовой группы; 3) социальный статус конкретного индивида нередко обуславливался статусом его генеалогической группы среди других аналогичных групп. Следовательно, возможности вертикальной мобильности были ограничены местом в социальной генеалогии того или иного кланового подразделения. Наиболее реальным способом повышения персонального статуса, правда, лишь до известных пределов, являлась преданность правителю и личная военная доблесть.

Эволюция социально-политической организации

Социальная организация хунну состояла из традиционных для кочевников-скотоводов Евразии уровней. Ее низшие звенья (семья, семейно-родственные группы), называемые в китайских летописях *ло* (семья, юрта), базировались на реальных кровнородственных и экономических связях. Более высокие уровни — *ило* (род) — линиджные и клановые группировки, по всей видимости, основывались на реципрокных и других общинных связях, периодической трудовой кооперации, совместном владении средствами производства, отдаленном реальном и фиктивном генеалогическом родстве. Наконец, высшие звенья социальной организации (*бу* — кочевье, племя) были объединены в “имперскую конфедерацию” (китайцы использовали для ее обозначения термин *ю*, т. е. владение, независимое государство) связями преимущественно политического и военного характера.

Хуннская держава при Модэ была разделена на три части: центр, левое и правое крылья. Крылья, в свою очередь, делились на подкрылья. Вся высшая власть была сосредоточена у шаньюя. Параллельно он управлял центром — племенами “метрополии” степной державы. Ему подчинялись 24 высших должностных лица, которые руководили крупными племенными объединениями и одновременно имели воинское звание темников (т. е. десяти-тысячников). Левым крылом командовал, как правило, старший

ын шаньюя — наследник престола. У него был соправитель по левому крылу. У правителя правого крыла был также соправитель. Они были наиболее близкими родственниками правителя степной империи и имели высшие титулы князей (*ванов*). Князья и еще шесть наиболее знатных темников считались “сильными”, им подчинялось не менее 10 тыс. всадников. Остальные темники реально имели менее 10 тыс. конников (Лидай, 1958: 17; *Watson*, 1961: 153–164; Материалы, 1968: 40).

На низшем уровне административной иерархии находились местные племенные вожди и старейшины. Официально они подчинялись 24 наместникам из центра. “Каждый из двадцати четырех начальников также сам назначает тысячников, сотников, десятников, меньших князей, главных помощников, дувэев, данху и цецзюев” (Лидай, 1958: 17; Материалы, 1968: 40). Однако на практике зависимость племенных лидеров была ограничена. Ставка находилась достаточно далеко, а местных вождей поддерживали родственные им племенные группы. Поэтому влияние на местную власть имперских наместников было в известной степени ограничено, и они были вынуждены считаться с интересами подчиненных им племен. Однако же было общее число данных племенных групп в пределах Хуннской имперской конфедерации, источникам неизвестно.

Использование китайским историком для описания административно-политической структуры хуннского общества как военных темники, тысячники, сотники), так и традиционных (князья разных рангов, дувэи, данху и пр.) терминов дает основание предположить, что системы военной и гражданской иерархии существовали параллельно. Каждая из них имела отличительные функции. Система десятичных рангов использовалась для гражданского управления племенами. Система десятичных рангов применялась во время войны, когда большое количество воинов из разных частей Степи объединялись в одну или несколько армий (*Barfield*, 1992: 38).

Власть шаньюя, высших военачальников и племенных вождей на местах поддерживалась строгими, но простыми традиционными нормами. В целом, как оценивали хуннские законы китайские историки, наказания у кочевников были “просты и легко осуществимы” и сводились главным образом к палочным наказаниям, ссылке и

смертной казни. Это давало возможность быстро разрешать на разных уровнях иерархической пирамиды конфликтные ситуации и сохранять стабильность политической системы в целом. Не случайно, что для китайцев, с детства привыкших к громоздкой и неповоротливой бюрократической машине, система управления Хуннской конфедерации казалась предельно простой: “управление целым государством подобно управлению своим телом” (Лидай, 1958: 31; Материалы, 1968: 46). Стройная система рангов, разработанная при Модэ, не сохранилась в дальнейшем. Впрочем, она и не могла сохраниться. Это связано с тем, что в силу традиционной для кочевой аристократии практики полигамии воспроизводство элиты в кочевых империях осуществлялось едва ли не в геометрической прогрессии. Разумеется, право на наследование высокого положения и основного имущества имели не все потомки, а, как правило, сыновья от главной жены. Остальные наследовали только достаточно высокий статус (скорее всего, в соответствии с принципом конического клана). Однако это не исключало всех наследников из генеалогической иерархии. К тому же всегда встречались исключения для любимчиков или детей от молодых любимых жен. Что же касается многочисленных близких и дальних родственников шаньюя, то в их жилах текла голубая “королевская” кровь, и все члены рода Люаньди, без исключения, имели право претендовать на место под солнцем хуннской социальной лестницы.

Выделяются несколько периодов наиболее активного введения новых титулов (*Крадин*, 1996: 125–132). Первый приходится примерно на 100–50 гг. до н. э. В этот промежуток времени возник переизбыток представителей хуннской элиты. Так как все члены знатных кланов не могли быть обеспечены соответствующим их происхождению местом в общественной иерархии, то между ними неизбежно возникала острая конкуренция за обладание тем или иным высоким статусом и соответствующими ему материальными благами. Это привело в конечном счете к временному распаду Хуннской державы на несколько враждующих между собой объединений и к гражданской войне 58–36 гг. до н. э.

Следующий период массового введения новых титулов и должностей начинается с последней трети I в. до н. э. Сложившаяся после гражданской войны новая комбинация политических сил

постепенно “затвердевала” в прочную иерархию. В свете новой внешней политики требовалась корректировка административной системы управления, часть старых титулов оказалась косвенно скомпрометированной негативной связью с кем-либо из врагов или предателей. Необходимо было закрепить новый принцип наследования власти, отработать принципы принятия политических решений, ввести новые должности и адекватные им пышные титулы. В конечном счете новый рост представителей высшей элиты кочевников вызвал столкновение за ограниченные ресурсы и привел к распаду степной империи в 48 г. н. э. на северную и южную конфедерации.

Третье и последнее масштабное появление новых титулов относится ко времени разделения Хуннской державы на враждующие стороны. Китайский историк Фань Е дал подробное описание политической системы южной конфедерации этого времени (Лидай, 1958: 680–681; Материалы, 1973: 73). Теоретически его описание можно экстраполировать как на северных хунну, так и на потестарно-политическую систему Хуннской державы I в. н. э. в целом. Это дает уникальную возможность проследить динамику политических институтов у хунну на протяжении 250 лет.

Основные изменения между державой эпохи Модэ и обществом хунну накануне распада были в следующем: 1) переход от троичного военно-административного деления к дуальному; 2) Сыма Цянь писал о четко разработанной военно-административной структуре с 24 *темниками*. Фань Е не упоминает о “десятичной” системе, вместо военных званий *темников* перечисляются гражданские титулы князей (*ванов*); 3) по “Ши цзи”, к *ванам* отнесены только так называемые “четыре рога” (левый и правый *сянь-ваны* и *лули-ваны*); по “Хоу Хань шу”, “шесть рогов” также отнесены к *ванам*; 4) в Хуннской империи изменился порядок престолонаследия. Если первоначально престол шаньюя передавался от отца к сыну (за исключением нескольких экстраординарных случаев), то постепенно стал преобладать другой порядок — *удельно-лествичный*: от брата к брату и от дяди к племяннику; 5) у хунну возобладал принцип *соправительства* (по В. В. Трепавлову), согласно которому у правителя кочевой империи имеется *соправитель*, управляющий младшим по рангу “крылом”. Долж-

ность младшего *соправителя* наследуется внутри его линиджа, но его наследники не могут претендовать на трон шаньюя (Крадин, 1996: 132–135).

Таким образом, данные изменения свидетельствуют о постепенном ослаблении автократических отношений в империи и замене их связями конфедеративными, что, в частности, подтверждает переход от троичного административно-территориального деления к дуальному. Оттеснялись на задний план военно-иерархические отношения, вперед выдвигалась генеалогическая иерархия между “старшими” и “младшими” по рангу племенами. Империя постепенно трансформировалась в племенную конфедерацию.

Суперсложное вождество и раннее государство

До сих пор специалисты не могут прийти к единому мнению относительно уровня развития хуннского общества. По этой теме высказывались самые разнообразные точки зрения. В марксистском кочевниковедении одни авторы относили хуннское общество к рабовладельческой стадии (Толстов, 1934; Ма Чаншоу, и др.). К сожалению, эти (теперь уже) устаревшие взгляды до сих пор периодически встречаются в китайской историографии (см., напр., Ма Жэньнань, 1983; Сюан Цуньжуй, 1983). Другие исследователи настаивали на догосударственном (“военно-демократическом”, племенном, дофеодальном) характере хуннского общества (Гумилев, 1960; Марков, 1976: 45–47, 57), третьи придерживались точки зрения о его раннегосударственной форме (раннеклассовой, раннефеодальной) (Таскин, 1968; 1984; Сэр-Оджав, 1971; Давыдова, 1975; Сухбаатар, 1975; 1980; Хазанов, 1975; Мартынов, 1989 и др.), четвертые писали о сложившемся феодализме (Плетнева, 1982).

В зарубежной немарксистской историографии оценка уровня развития хуннского общества также не получила однозначного истолкования. Одни исследователи полагают, что Хуннская держава представляла собой догосударственную племенную конфедерацию (Yamada, 1982 и др.). Ряд исследователей оценивают уровень социальной интеграции хуннского общества как государственно-подобный (Мори, 1950; Pritsak, 1954; Masao Mori, 1973 и др.). Особенную важность, с моей точки зрения, имеют работы Г. Бар-

филда, который развивает весьма плодотворную идею, что политическая организация у хунну в форме "имперских конфедераций" возникает как способ адаптации кочевников к соседним земледельческим цивилизациям (Barfield, 1981; 1992).

Наиболее спорным, таким образом, в дискуссии о характере хуннского общества является вопрос: могли ли хунну самостоятельно преодолеть барьер государственности? В настоящее время существуют две наиболее популярные группы теорий, объясняющие процесс происхождения и сущность раннего государства. *Конфликтные*, или *контрольные*, теории показывают происхождение государственности и ее внутреннюю природу с позиции отношений эксплуатации, классовой борьбы, войны и межэтнического доминирования. *Интегративные*, или *управленческие*, теории главным образом ориентированы на то, чтобы объяснить феномен государства как более высокую стадию экономической и общественной интеграции (Fried, 1967; Carneiro, 1970; Service, 1975; Claessen, Skalnik, 1978; Haas, 1982; Johnson, Earle, 1987; Васильев, 1983; Павленко, 1989; Попов, 1990; Годинер, 1991 и др.).

Однако ни с точки зрения *конфликтного*, ни с точки зрения *интегративного* подходов Хуннская держава (как и многие другие кочевые империи) не может быть однозначно интерпретирована ни как вождество, ни как государство (подробнее см.: Крадин, 1996: 141–147). Ее государственный характер ("узаконенное насилие") ярко проявляется только в отношениях с внешним миром (военно-иерархическая организация для изъятия прибавочного продукта у соседей и сдерживания давления извне; признание со стороны Китая в качестве самостоятельного "владения" и специфический церемониал во внешнеполитических отношениях).

В то же время во внутренних отношениях "государственно-подобные" империи номадов (за исключением некоторых вполне объяснимых случаев) основаны на ненасильственных (консенсуальных и дарообменных) связях, они существовали за счет внешних источников, без установления налогообложения и эксплуатации скотоводов. Наконец, в хуннском обществе отсутствовал главный признак государственности. Согласно многим современным теориям политогенеза главным отличием государственных форм от догосударственных является то, что правитель вождества обладает

лишь консенсуальной властью, т. е., по сути, авторитетом, тогда как в государстве правительство может осуществлять санкции с помощью легитимизированного насилия (Service, 1975: 16, 296–307; Claessen, Skalnik, 1978: 21–22, 630, 639–40 etc.). Характер власти хуннского шаньюя, в принципе, позволяет интерпретировать объем его могущества более как консенсуальный, лишенный монополии на законную силу. Шаньюй выступает главным образом в качестве редистрибутора, вся сила которого держится на личных способностях и умении получать вне общества престижные товары и перераспределять их между подданными. Хуннская держава была основана на недостаточно стабильных дарообменных связях между шаньюем и вождями племен, исследователям неизвестны массовый аппарат принуждения у хунну и писанное право.

Для характеристики подобных обществ, более многочисленных и структурно развитых, чем *сложные* вождества, но в то же время не являющихся государствами (даже "зачаточными" *ранними государствами*), был предложен термин *суперсложное вождество* (Крадин, 1992: 152). Этот термин был принят коллегами-кочевниковедами (Трепавлов, 1995; Скрынникова, 1997), хотя в тот момент четких логических критериев, отделяющих суперсложное вождество от сложного вождества и от раннего государства, сделано не было.

Принципиальное структурное отличие между сложным и суперсложным вождеством было зафиксировано Р. Карнейро (он, правда, предпочитает называть их, соответственно, "компаундным" и "консолидированным" вождествами). По его мнению, отличие простых вождеств от компаундных носит чисто количественный характер. Компаундные вождества состоят из нескольких простых, над субвождями дистриктов (т. е. простыми вождествами) находится верховный вождь, правитель всей политики. Однако Р. Карнейро заметил, что компаундные вождества при объединении в более крупные политики редко оказываются способными преодолеть сепаратизм субвождей и такие структуры быстро распадаются. Механизм борьбы со структурным расколом был прослежен им на примере одного из крупных индейских вождеств, обитавших в XVII в. на территории нынешнего американского штата Виргиния. Верховный вождь этой политики по имени Паухэтан, чтобы

справиться с центробежными устремлениями вождей сегментов, стал замещать их своими сторонниками, которые обычно являлись его близкими родственниками. Это придало важный структурный импульс последующей политической интеграции (Carneiro, 1992).

Схожие структурные принципы были выявлены в истории хунну. Хуннская держава состояла из полиэтничного конгломерата вожеств и племен, включенных в состав “имперской конфедерации”. Племенные вожди и старейшины были инкорпорированы в общеимперскую десятичную иерархию. Но их власть в известной степени была автономной от политики центра и основывалась на поддержке со стороны соплеменников. В отношениях с племенами, входившими в имперскую конфедерацию, хуннский шаньюй опирался на поддержку своих ближайших родственников и соратников, носивших титулы темников (имеются в виду те из 24 военачальников темников, которые не являлись вождями племен “ядра” хуннского этноса). Они были поставлены во главе особых надплеменных подразделений, объединявших подчиненные или союзнические племена в “тумы” численностью примерно по 5–10 тыс. воинов. Эти лица должны были являться опорой политике метрополии на местах (Крадин, 1996: 106–114).

Но при этом совершенно очевидно, что суперсложное вождество, рассматриваемое здесь на примере Хуннской кочевой империи, уже гораздо ближе к раннему государству, чем к сложному вождеству. Практически это уже реальная модель, прообраз раннегосударственного общества. Если численность сложных вожеств измеряется, как правило, десятками тысяч человек (см., напр., Johnson, Earle, 1987: 314) и они по сути этнически гомогенны, то численность полиэтничного населения суперсложного вождества составляет многие сотни тысяч и даже больше человек (применительно к кочевым империям Центральной Азии в пределах 1–1,5 млн), их территория (с учетом намного меньшей плотности населения кочевников!) в несколько порядков раз больше площади, обычной для простых и сложных вожеств.

С точки зрения соседних земледельческих цивилизаций (развитых доиндустриальных государств) такие кочевые общества считались самостоятельными субъектами международных политических отношений и нередко воспринимались как равные по статусу “го-

сударства” (в китайских летописях *го*). Данные вождества имели сложную систему титулатуры вождей и функционеров, вели дипломатическую переписку с соседними странами, заключали династические браки с представителями высших сословий земледельческих государств, соседних кочевых империй и “квазимперских” полигий номадов.

Для них характерны зачатки урбанистического строительства (хунну уже стали воздвигать укрепленные городища, а “ставки” империй жужаней, тюрков и уйгуров представляли собой настоящие города), возведение пышных усыпальниц и заупокойных храмов для степной элиты (Пазырыкские курганы на Алтае, скифские курганы в Причерноморье, хуннские захоронения в Ноин-Уле и Гол Моде и др.). В ряде суперсложных вожеств кочевников элита пыталась вводить зачатки делопроизводства (хунну), в других существовала записанная в рунах эпическая история собственного народа (тюрки), а некоторые из типичных кочевых империй, например, Монгольскую державу первых десятилетий XIII в., есть прямой соблазн назвать государствами. Однако нельзя забывать, что все данные общества отличает отсутствие специализированного бюрократического аппарата и монополии элиты на узаконенное применение силы. Именно это обстоятельство дает основание интерпретировать большинство типичных кочевых империй (при всей их внешней государственноподобности) как суперсложные общества.

ГЛАВА 8

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ
ЖУЖАНЬСКОГО КАГАНАТА*

Жужани (жуаньжуани) были обычными для Центральной Азии кочевниками-скотоводами. В “Сун шу” дается типичная характеристика их образа жизни: у жужаней “нет городов”, они “занимаются скотоводством, переходя с места на место в поисках воды и травы”. Живут жужани в юртах, которые китайские хронисты называют то “войлочными палатками” (*чжань чжан*), то “куполообразными шалашами” (*цюнлу*) (Материалы, 1984: 289–90). Там же дается яркое описание суровых (с точки зрения китайского хрониста) природных условий обитания жужаней: “В их землях мрачные горы, на которых в разгар лета скапливается снег, а равнины тянутся на несколько тысяч ли [им не видно конца], как бы ни напрягали зрение. В степях нет зеленой травы, климат холодный. лошади и крупный рогатый скот жуют сухую траву и лижут снег, но от природы жирны и крепки” (Материалы, 1984: 289). Пищей для них служили мясо животных и кобылье молоко (*Хандсурэн*, 1993: 97). По источникам дополнительно известно, что у жужаней было меридиональное кочевание. Летом они кочевали в Халха-Монголии, зимой переселялись на юг через пустыню Гоби (Материалы, 1984: 267). По всей видимости, это упоминание касается не всех жужаньских племен. Однако, опираясь на этнографические параллели (*Мурзаев*, 1952: 48–9; *Вайнштейн* 1972: 58, 66–73; *Хазанов*, 1975: 10–1; *Khazanov*, 1984: 37–39, 40–69; *Андриа-*

нов, 1985: 41–81; *Динесман*, *Болд*, 1992: 193–194; *Масанов*, 1995: 77–86 и др.), можно допустить, что в мирное время жужани передвигались на летние и зимние пастбища по давно установленным маршрутам. Только значительные природные катаклизмы (снегопады, засухи) могли привести к нарушениям сложившихся маршрутов перекочевков. В годы же политической нестабильности жужани бросали скот и обозы и укрывались от преследования в предгорных долинах Хангая и Хэнтэя (Материалы, 1984: 267, 273, 282, 285).

К сожалению археологических данных о жужанях практически нет. Некоторые индивидуальные находки, типологически сопоставимые с аварскими древностями, связываются монгольскими археологами с жужанями (*Сэр-Оджав*, 1971: 17; История МНР, 1983: 107), однако необходимо признать, что целостной археологической культуры еще не выделено (*Сэр-Оджав*, 1971: 16; *Пэрлээ*, 1974: 271; *Шавкунов*, 1978: 23; *Савинов*, 1984: 22). Письменных свидетельств китайских хронистов также не очень много. Тем не менее они являются практически единственным источником при реконструкции различных сторон истории жужаней, в том числе и при анализе их общественного строя.

Самый главный источник по истории жужаней — это 103-я глава летописи “Вэй шу” (“Истории династии Вэй”). Некоторая информация содержится также в работах “Бэй ши” (“История северных династий”), “Сун шу” (“История династии Сун”) и в ряде других летописей (*Жоужань*, 1965). Сведения о жужанях переводились на разные европейские языки. На русский язык они были переведены еще в прошлом веке Н. Я. Бичуриним (1950: 184–208). Последний тщательный и подробно комментированный перевод источников о жужанях был сделан в середине 80-х гг. В. С. Таскиным (Материалы, 1984: 267–95, 398–416).

Различные вопросы истории жужаней рассматривались в целом ряде статей, коллективных трудах и специальных монографиях (БНМАУ-ын туух, 1966: 105–130; *Сэр-Оджав*, 1971; 1977; *Хандсурэ*, 1973; 1993; *Kollautz*, *Miyakawa*, 1970; История МНР, 1983: 106–8; *Воробьев*, 1994: 297–303 и др.). В целом они опираются на классическую нарративную традицию китайских

* Общественный строй Жужаньского каганата // История и археология Дальнего Востока: к 70-летию Э. В. Шавкунова. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2000. С. 80–94.

династийных летописей. Особо выделяется только точка зрения Г. Сухбаатора, который полагает, что вместо Жужаньского каганата существовало монголо-нирунское царство (1992).

Проблема социального строя Жужаньского каганата также рассматривалась рядом исследователей. В период господства пятичленной формационной схемы некоторые ученые определяли уровень развития жужаньского общества как рабовладельческий (Бернштам, 1946: 9, 82; 1951: 129; Толстов, 1948: 256–9). Однако поскольку время существования каганата пришлось на эпоху зарождения феодализма в Европе, то в оценке марксистских (главным образом советских и монгольских) исследователей не было особенных разногласий по поводу его формационной характеристики — в подавляющем большинстве общественный строй жужаней они определяют как раннефеодальный (БНМАУ-ын туух, 1966: 105–130; История МНР, 1967: 83–86; 1983: 106–8; Сэр-Оджав, 1971: 16–7, 24; 1977: 157–8; Хандсурэн, 1973; 1993; Таскин, 1984: 37 и др.). Ряд авторов, не акцентируя внимание на феодализме, характеризовали Жужаньский каганат как раннее государство (Плетнева, 1982: 67, 87; Кычанов, 1987; 1997: 74–9; Воробьев, 1994: 298–301). Л. Н. Гумилев определил жужаньское общество как “примитивную военную организацию, существовавшую за счет ограбления соседей” (1961: 7), образно назвав их в одной из последних работ “бандой степных разбойников” (1993: 107).

Образование каганата

Проблему образования Жужаньского каганата необходимо рассматривать в контексте более общих современных теорий политогенеза. В политической антропологии XX столетия были разработаны две наиболее популярные теории политогенеза: “интегративная” (Э. Сервис) и “конфликтная” (М. Фрид). Согласно первой вождество и государство возникают как результат преобразования управленческих структур усложняющегося общества. Согласно второй государство — это организация, предназначенная для стабилизации отношений в сложном, стратифицированном обществе (Fried, 1967; Service, 1975; Claessen, Skalnik, 1978; 1981; Cohen, Service, 1978; Haas, 1982; Gailey, Patterson, 1988; Павленко, 1989; Годинер, 1991 и др.).

Однако ни с той, ни с другой точки зрения нельзя считать, что государственность была для кочевников внутренне необходимой. Все основные экономические процессы в скотоводческом обществе осуществлялись в рамках отдельных домохозяйств. По этой причине какой-то особенной нужды в специализированном бюрократическом аппарате, занимающемся управленческо-редистрибутивной деятельностью, не было. С другой стороны, все социальные противоречия между номадами решались в рамках традиционных институтов поддержания внутренней политической стабильности. Сильное давление на кочевников могло привести к откочевке или применению ответного насилия, поскольку каждый свободный номад был одновременно и воином.

Потребность в объединении кочевников возникает только в случае войн за ресурсы существования, организации грабежей земледельцев или экспансии на их территорию, а также при установлении контроля над торговыми путями. В данной ситуации складывание сложной политической организации кочевников в форме “кочевых империй” есть одновременно и продукт интеграции, и следствие конфликта (между номадами и земледельцами). Кочевники-скотоводы выступали в данной ситуации как класс-этнос и специфическая государственноподобная **ксенократическая** (от греч. *ксено* — наружу и *кратос* — власть) политическая система. Образно говоря, по отношению к оседлым цивилизациям они представляли собой нечто вроде “надстройки” над земледельческо-городским “базисом” (Крадин, 1992; 1996). С этой точки зрения создание “кочевых империй” можно считать частным случаем популярной в свое время “завоевательной” (Л. Гумплович, Ф. Оппенгаймер) теории политогенеза, согласно которой война и завоевание являются предпосылками для последующего закрепления неравенства и стратификации.

Еще одна модель политогенеза, применимая к происхождению степных империй, — “торговая” (Webb, 1975; Ekholm, 1977). Ее основная посылка заключается в том, что внешнеторговый обмен с последующей редистрибуцией редких и престижных товаров среди подданных является важным компонентом власти вождей и правителей ранних государств (Павленко, 1989 и др.). Это хорошо согласуется с тем, что стабильность степных империй напрямую зависела от умения высшей власти организовывать поставку шелка,

земледельческих продуктов, ремесленных изделий и изысканных драгоценностей из оседлых территорий. Так как эта продукция не могла производиться в условиях скотоводческого хозяйства, получение ее силой или вымогательством было первоочередной обязанностью правителя кочевого общества. Будучи единственным посредником между Китаем и Степью, правитель номадного общества имел возможность контролировать перераспределение добычи и тем самым усиливал свою собственную власть. Это позволяло поддерживать империю, которая не могла существовать на основе экстенсивной скотоводческой экономики (Barfield, 1991; 1992; Голден, 1993; Крадин, 1996 и др.).

Степень централизации кочевников была прямо пропорциональна величине соседней земледельческой цивилизации. С точки зрения мир-системного подхода кочевники всегда занимали место “полупериферии”, которая объединяла в единое пространство различные региональные экономики (локальные цивилизации, “мир-империи”). В каждой локальной региональной зоне политическая структурированность кочевой “полупериферии” была прямо пропорциональна размерам “ядра”. Исходя из этого, кочевники Северной Африки и Передней Азии, чтобы торговать с оазисами или нападать на них, объединялись в племенные конфедерации или вожества; номады восточноевропейских степей, существовавшие на окраинах античных государств, Византии и Руси, создавали “квазиимперские” государственноподобные структуры, а во Внутренней Азии, например, таким средством адаптации стала “кочевая империя” (Lattimore, 1940; Barfield, 1981; 1992; Khazanov, 1984; Фурсов, 1988; 1995; Крадин, 1992; 1996; Голден, 1993 и др.).

С этой точки зрения по аналогии с законом Ньютона можно вывести мир-системный закон тяготения, согласно которому величина кочевых обществ и их могущество прямо пропорциональны размерам и силе оседло-земледельческих обществ “центра”, входящих с номадами в общую региональную суперсистему.

Но и это не все. Изменения в “центре” региональных суперсистем влияют на процессы, происходящие в периферийных и полупериферийных обществах. Номадам нужны продукты земледельческого хозяйства, шелк, изысканные яства. Получить их и перераспределить среди подданных ханы могли только от обще-

ства со стабильной экономической системой. Т. Барфилд (Barfield, 1992: 8–16) проследил синхронность процессов роста и упадка земледельческих “мир-империй” и периодов взлета и упадка степных народов Внутренней Азии. Как правило, самые влиятельные китайские династии существовали примерно в одно время с наиболее могущественными кочевыми империями (Хань — Хунну, Тан — тюрки, Сун, Цзинь — Монгольский улус).

Однако для осуществления успешной военной экспансии номадам было необходимо предварительно осуществить одно немаловажное условие — объединить разрозненные по всей территории Халха-Монголии племена в единую степную империю. Очевидно, что это было под силу далеко не каждому племенному вождю. Вот здесь-то и проявлялся субъективный фактор исторического процесса. Если в Степи появлялся талантливый полководец и политик, которому сопутствовала удача, номады оказывались объединенными в единую степную империю. Если же амбиции превосходили способности кандидата на лидерство или в события вмешивались случайные обстоятельства (болезнь, шальная стрела и пр.), Степь оставалась без единоначалия.

Таким образом, причины возникновения Жужаньского каганата необходимо искать как во внешнеполитических, так и во внутренних событиях. Первое существенное обстоятельство — это отсутствие централизации на территории Китая. В начале IV в., с того времени, когда в источниках впервые появляются сведения о жужанях, в Северном Китае существовало семь самостоятельных царств. На рубеже IV–V вв. на севере было уже двенадцать царств и мини-империй, созданных завоевательными династиями кочевников, а на юге — царство Восточная Цзинь.

Наиболее существенные события произошли в последней четверти IV в., когда кочевники тоба создали на северной территории Китая империю Северная Вэй. В отличие от китайцев, которые никогда особенно не преуспевали в борьбе с кочевниками на их территории (см., напр., о хунно-ханьских войнах: Крадин, 1996: 58–63), вчерашние номады тоба легко смогли осуществить то, что было не под силу оседлым жителям. Они несколько модифицировали тактику генералов ханьского императора У-ди. Тобаские войска в краткие сроки доходили до пустыни Гоби. Затем, оставив

обозы, легкая кавалерия с запасом провианта быстро пересекала пустыню и совершала стремительный рейд по незащищенным жужаньским кочевьям, приводя последних в ужас. В один из походов в 429 г. (т. е. уже в период существования Жужаньского каганата) эффект от рейда был таков, что жужани рассеялись по степи неизвестно куда, а скот разбрелся без присмотра, самостоятельно добывая себе корм.

С течением времени в Китае сложились два довольно крупных “центра”, которые поглощали более мелкие владения, — полукочевническая империя Тоба Вэй на севере и царство Сун на юге. Жужани, которые постепенно заняли основную часть Внешней Монголии, постоянно подвергались карательным набегам северовэйцев. В конце IV в. в Халхе не было ни мира, ни единства. Монголоязычные племена на востоке и их тюркоязычные соседи на западе были раздроблены на отдельные племенные группы и непрочные объединения в виде племенных союзов и вожеств. Их предводители плели интриги и вели бесконечные междоусобные войны. В такой ситуации требовалась железная рука, без которой жужани скорее всего были обречены оставаться раздробленными до тех пор, пока их не включили бы в состав другого, более крупного объединения кочевников.

Вот тут-то и проявился так называемый субъективный фактор — индивидуальные способности одного-единственного человека и случайное стечение обстоятельств. Таким избранником стал Шэлунь — потомок в шестом колене от легендарного первого правителя жужаней Мугулюя. Будущий основатель Жужаньской империи Шэлунь, судя по всему, был талантливым политиком. Китайские хронисты весьма неслестно характеризовали его как “жестокоего” и “хитрого” человека. В молодости (к сожалению, не известна дата его рождения) он был вынужден перенести вместе со своими сородичами все ужасы от нашествий тобасцев. Смерть близких и унижение (подчинение и неволя, пусть даже в достаточно мягкой форме) могли сильно повлиять на его выбор и закалить характер.

В 394 г. Шэлунь делает решающий шаг. Он разрывает вассальные отношения с тобаским ханом и бежит к дяде, на запад. Там за какие-то шесть–восемь лет где силой, где хитростью, ему удалось расправиться со всеми основными политическими про-

тивниками, в том числе и с родственниками дяди, которые не приняли его власть, подчинить и объединить многие монголо- и тюркоязычные (гаоцзюйцы) племена. В 402 г., собрав своих сторонников на берегу р. Жолошуй (возможно, это Халха), Шэлунь объявил о создании имперской конфедерации, приняв титул *кагана** (точнее *цэдофуа кэнань* — “каган правящий и приводящий к расширению”). Он произвел коренную реорганизацию военно-административной структуры жужаньского общества, разбив население-войско на сотни и тысячи, ввел обязательный учет количества имеющихся воинов, установил строгие правила поведения в бою и формы наказания за их нарушения (Материалы, 1984: 267). Именно так действовали и знаменитый предшественник Шэлуня — хуннский шаньюй Модэ, и впоследствии создатель великой Монгольской империи — Чингиз-хан.

С созданием Жужаньского ханства сформировалась внутрирегиональная троичная структура: государство Сун (на юге Китая) — “буферная” полукочевая империя Тоба Вэй (на севере Китая) — жужаньская имперская конфедерация (во Внешней Монголии).

Степная империя

Для каганата были характерны типичные для “кочевых империй” Евразии (Крадин, 1992: 168; Васильев, Горелик, Кляшторный, 1993: 33; Трепавлов, 1993: 17–18; Кляшторный, Савинов, 1994: 6 и др.) черты административно-политического устройства.

1. Каганат был типичной “имперской конфедерацией”. Помимо собственно жужаньских племен — “метрополии” степной империи — в него входили: а) принявшие вассалитет Шэлуня другие этнически родственные и иноэтничные “владения” и племена; б) присоединенные силой народы, как, например, уйгурские “кочевья” или племенное объединение тюркоязычных номадов (по “Цзю Тан шу” — остатки сюнну) под предводительством Жибаецзи (Материалы, 1984: 269, 271, 278).

* Титул *каган* впервые появился у сяньбийцев (Таскин, 1986: 214–215).

2. Основой существования ханства была *экзоэксплуатация*. Жужани в периоды могущества практиковали так называемую *дистанционную* эксплуатацию — политику попеременных набегов и вымогания богатых подарков от Китая (своеобразный “рэкет”), набеги на государства Средней Азии (*Бичурин*, 1950б: 247; *Материалы*, 1984: 289) с целью контроля торговых путей на запад, а также грабежи своих соседей. “Все мелкие владения, страдавшие от набегов и грабежей Шэлуня, были [как бы] на привязи” (*Материалы*, 1984: 269). Известно также, что тюрки поставляли жужаням железо (*Бичурин*, 1950а: 221, 228).

3. Жужаньское ханство занимало огромную территорию. Западные границы каганата доходили до р. Или и Таримской впадины, восточные — до границ киданей и Когурё, северные — до Байкала и верховьев Амура, южные — до великой пустыни Гоби (*Материалы*, 1984: 269, 289, 408, прим. 22). Он был разделен на западное и восточное крылья, однако известно, что дуальная организация зафиксирована у жужаней еще в доимперский период (*Материалы*, 1984: 267, 273). Первоначально правитель восточного крыла считался более высоким по статусу (*Материалы*, 1984: 267), однако впоследствии этот порядок, по-видимому, изменился на противоположный (*Материалы*, 1984: 273, 278, 285).

4. Общественная организация Жужаньской империи была основана по “военно-иерархическому” принципу. В “Вэй шу” сообщается, что в начале V в. Шэлунь ввел так называемую “десятичную” систему: “Впервые установил военные законы, по которым 1000 человек составляли отряд (*цзюнь*), во главе отряда ставился начальник, а 100 человек составляли знамя (*чуан*), во главе знамени ставился вождь” (*Материалы*, 1984: 269). Термин “начальник” (*цзян*) можно перевести также как “генерал”, а вождь (*шауй*) как “предводитель” или “командир”. Н. Я. Бичурин перевел эти названия соответственно как “предводитель” и “начальник” (1950а: 187). Интересно, что чуть ниже “Вэй Шоу” сообщает о декларативном характере данного нововведения. В частности, здесь есть данные о том, что военачальники по-прежнему лишь приблизительно подсчитывали число воинов, что неудивительно, ведь, скорее всего, воинские формирования образовывались на основе родовых и племенных сегментов. Это справедливо в отношении не только жужаней, но и других кочевников Евразии (*Крадин*, 1992:

142–143). Тем не менее это был качественный шаг вперед, поскольку такая расстановка значительно повышала силу жужаньского войска. Армия, имеющая более организованную структуру (при прочих факторах), обладает большим преимуществом в сравнении с войском, не имеющим никакой или худшую военную организацию. Военная история дает множество примеров, когда малочисленные армии побеждали превосходящих противников только из-за того, что имели лучшую организацию. Не лишним будет напомнить, что речь идет о племенном обществе, для которого базисные принципы социальной организации были совсем другими, отличными от основ государственного общества, основанного на легитимном принуждении.

5. В случае необходимости военные действия велись подразделениями, составленными из племен, кочующих на данной территории. По мере надобности войска собирались со всех племен и более крупных объединений, входящих в каганат (*Материалы*, 1984: 275). А при крайней опасности объявлялась всеобщая мужская мобилизация. Всего в периоды наивысшего могущества (речь идет о 470-х и 520-х гг.), по сведениям китайских хронистов, жужани могли выставить от 100 до 300 тыс. вооруженных всадников (*Материалы*, 1984: 287, 290). Это примерно сопоставимо (особенно если учесть почти одинаковые границы) с численностью вооруженных сил Хуннской державы (*Крадин*, 1996: 34–36) и других степных империй Центральной Азии. Правда, надо иметь в виду, что общая продолжительность времени существования Жужаньского каганата (полтора столетия) была меньше, чем время существования империй-долгожителей — Хуннской державы и Золотой Орды. Но она вполне соответствовала “среднестатистическим нормам жизни” кочевых империй Евразии. В то же время в истории самого Жужаньского каганата можно отметить свои подъемы и падения. По всей видимости, можно выделить два главных пика могущества жужаней: а) первоначальный взлет при основателе империи Шэлуне и его ближайших преемниках в 402–429 гг.; б) подъем и развитие процессов китаизации при правлении Анагуя в 521–552 гг. В тот же период можно зафиксировать два наиболее существенных кризиса ханства, соответственно, в 438–470 и 519–521 гг.

6. Правитель ханства обладал титулом *кагана*, введенным у жужаней, как это уже было отмечено выше, Шэлуем. Власть передавалась по наследству по прямой или боковой линии в рамках одного правящего рода.

7. Система контроля и управления, с точки зрения китайцев, была традиционно "проста" (Материалы, 1984: 289). "Письмен для записей не было, поэтому начальники и вожди приблизительно подсчитывали число воинов, используя при этом овечий помет, но впоследствии [жуаньжуани] хорошо научились делать записи с помощью зарубок на дереве" (Материалы, 1984: 269; ср. Толстов, 1948: 258). Каган руководил племенами из своей ставки. Ставка (*тин*) кагана, по данным источников, находилась примерно к северо-западу от Ганьсу (Материалы, 1984: 269). Монгольские историки располагают ее к северу от Хангайского хребта, на берегу Орхона (История МНР, 1983: 107). Однако возможно, что в разные периоды истории жужаней ее местоположение менялось. Впоследствии ставкой стал легендарный город Мумочэн (*Хандсурэн*, 1973). По всей видимости, для особо важных дел собирался совет высших должностных лиц степной империи, которые приезжали на него из своих улусов (Материалы, 1984: 292).

Отношения с Китаем

Внешняя политика Жужаньского каганата строилась на традиционных для кочевников Внутренней Азии принципах. Из нескольких классических стратегий по отношению к соседним земледельческим народам (грабежи, дистанционная эксплуатация, данничество, миграция с последующей ассимиляцией) они выбрали метод давления на китайские царства на расстоянии путем чередования набегов с периодами мирного вымогания богатых подарков.

Такая периодичность в истории Жужаньского каганата фиксируется непостоянно, однако можно выделить несколько характерных моментов. После набегов 402, 406, 409 и 415 гг. следовали переговоры и заключались мирные договоры (Материалы, 1984: 270, 278). Схожая ситуация наблюдалась после взаимных набегов 428–429 гг., когда в 431 и 434 гг. был произведен обмен посольствами и дарами. Затем инициатива перешла к тобасцам, которые

в период 438–470 гг. достаточно регулярно громили жужаньские кочевья и отражали редкие набеги из Халхи. Дипломатические обмены посольствами были прерваны. Если учесть, что в 438 г. Внешнюю Монголию постигла сильная засуха и у нас нет никаких данных об их удачных походах на западных и восточных соседей, то, вероятнее всего, это было очень тяжелое время для каганата. Трудно даже представить, какой ценой каганам Тухэчжэню и Юйчэну удалось сохранить единство конфедерации.

Восстановление дипломатических обменов посольствами и дарами произошло в 476 г., когда хан Юйчэн попросил выдать за него замуж китайскую принцессу. Можно предполагать, что с этого времени обмен подарками происходил достаточно регулярно, в течение примерно десяти лет.

Далее, в годы царствования кагана Доулуня (485–492 гг.) кочевники поменяли тактику в отношениях с Северной Вэй. Они стали периодически тревожить ее границы набегам. В 492 г. терпению императора Тоба Хуна пришел конец, и он послал 70 тыс. всадников расправиться с номадами. Результаты этого похода Вэй Шоу не сообщает, судя по чему можно догадаться, что особенно похвастаться было нечем. Правда, это событие имело косвенные последствия. Пользуясь нестабильной обстановкой в монгольских степях, уйгурский вождь Афучжило во главе 100 тыс. юрт (едва ли не всех тюркоязычных кочевников, входивших в состав западного крыла имперской конфедерации) откочевал на запад. Данное обстоятельство стало причиной свержения и убийства Доулуня.

При кагане Нагане отношения между жужанями и северовэйцами вновь оказались замороженными. В этот период Северная Вэй окончательно превратилась из воинственного государства завоевателей кочевников и земледельцев в классическое китайское государство. После смерти Нагая в 506 г. каганы Фугу и Чоуну неоднократно пытались возобновить дипломатические контакты с Китаем, однако только с воцарением в 519 г. Анагуя политические отношения между номадами и китайцами восстановились полностью. Анагуй был нужен китайским императорам в качестве мощной военной силы, которой к тому времени у них самих уже не было. В 525–527 гг. жужани участвовали в подавлении восстаний на территории Северной Вэй, поживившись за счет бунтовщиков владений.

Статус кочевников в отношениях с китайскими государствами несколько раз менялся. Е. И. Кычанов (1997: 78) пишет, что отношения между жужанями и северокитайскими царствами строились на принципах традиционного китайского дипломатического этикета, но с учетом силы каждой из сторон. Так, Шэлунь заключил с правителем небольшого царства Хоу Цинь “договор о мире, основанном на родстве” (*хэцинь*). В отношениях с тобаской империей Северная Вэй жужани первоначально считались вассалами (*чэнь*). В 506 г. они имели статус “вассального государства” (*фань ли*), хотя нередко вели себя в отношениях с китайскими царствами как равноправные партнеры. Впоследствии, с ослаблением северовэйцев, и этот статус был изменен на равный китайцам (*линь ди кан ли*).

Номады дарили правителям китайских или полукитайских государств лошадей, другие виды животных, пушнину (Материалы, 1984: 267, 274, 277, 279, 290). Ответные подарки китайцев, как бы их ни рассматривать — откупом за мир или желанием продемонстрировать свое превосходство над варварами (думаю, что справедливы обе точки зрения, первая — это взгляд на существо дела со стороны кочевника, вторая — взгляд со стороны цивилизованного конфуцианца), были намного больше. Они посылали каганам в Степь знаки отличия для правителей, ткани, модную одежду, богато украшенные предметы вооружения, музыкальные инструменты, прочую утварь дворцового быта. В ассортимент обязательно входили продукты и шелк (Материалы, 1984: 273, 283, 291, 294). Ничего не сообщается о поставках кочевникам вина. Интересно отметить, что полукочевнические династии отдаривали жужаней также типичными для номадов дарами — степными жеребцами, верблюдами, иными породами скота, большими сборными шатрами для ханов и их приближенных (Материалы, 1984: 283).

Дарообмен сопровождался передачей официальных писем друг другу. Подарки китайцев могли предназначаться не только кагану, но и его приближенным (Материалы, 1984: 287). Однако можно предположить, что ханы должны были строго следить за тем, чтобы главный канал внутренней власти не выходил из-под их контроля.

Кроме обмена предметами престижного потребления кочевники и китайцы пытались скреплять дипломатические союзы династичес-

кими браками. В 434 г. каган Ути взял в жены принцессу из Северной Вэй, одновременно отдав императору Тоба Гао в наложницы младшую сестру. В 476–478 гг. каган Юйчэну пытался добиться руки китайской северовэйской принцессы. Однако из-за каких-то разногласий между жужанями и тобасцами союзный договор не был заключен и брак расстроился. В годы правления последнего из авторитетных жужаньских каганов Анагуя было несколько случаев заключения дипломатических браков. В этот период Северную Вэй уже лихорадило от внутренних потрясений. В 533 г. каган добился выдачи замуж за своего сына китайской принцессы. Впоследствии, когда империя Северная Вэй разделилась, между китайскими царствами началось соперничество за дружбу с кочевниками. В этот период номады стали принимать участие в усобицах между северокитайскими царствами и вести себя очень самоуверенно. Ли Яньшоу сетует, что с этого времени каган Анагуй стал “проявлять высокомерие, грубо нарушал правила поведения и, посылая послов для предоставления двору дани, больше не называл себя слугой” (Материалы, 1984: 293). Такое положение продолжалось вплоть до разгрома Жужаньской державы в 552–555 гг.

Власть и наследование

Власть правителя степного общества основывалась на внешних источниках (Barfield, 1981; 1992; Голден, 1993; Крадин, 1996: 100–114 и др.). Каган являлся верховным военачальником жужаньской державы и имел монополию на представление своей “юрточной державы” (*го ло*) во внешнеполитических отношениях с другими странами и народами. В конечном счете все это сводилось к способности кагана правильно организовать ход боевых действий в военное время, чтобы обеспечить своих подданных добычей, и от его умения наладить дипломатические отношения с китайскими династиями, чтобы снабдить своих сподвижников богатыми “подарками”.

Поскольку от войны зависело благосостояние всех юридически полноправных номадов, вне зависимости от их военного и административного статуса, в обществе существовала строгая военная дисциплина. “Тому, кто первым врывается в ряды противника, жа-

ловались пленные и захваченная добыча, а того, кто из-за трусости отступал, убивали, бросая в голову камни, или же, когда представлялась возможность, били батогами” (Материалы, 1984: 269).

Каган Шэлунь, согласно китайским летописцам, обладал универсальными качествами лидера автократического типа: “жестокостью” (“храбростью”?), “хитростью”, умением приспособляться к обстоятельствам. Жестоким был, например, и Доулунь-каган, однако, наверное, важнее было не умение запугать своих подданных, а решительность, смелость правителя. Именно это придавало лидеру столь необходимую харизму.

От жестокого, не пользующегося авторитетом или неудачливого кагана можно было откочевать. Такая практика известна в истории Центральной Азии начиная еще с хуннского времени. Случаи откочевки племенных вождей разного ранга от жужаней на юг к китайцам упоминаются в источниках, в частности, под 404, 411, 449, 458, 520 и 521 гг. Однако, вероятно, самое неприятное событие случилось в 492 г., когда при жестоком кагане Доулуне храбрый уйгурский предводитель Афучжило возглавил 100 тыс. юрт своих соотечественников и откочевал с ними от жужаней на запад. Фактически целый фланг конфедерации оказался оголенным.

Жужаням было необходимо любой ценой восстановить потери. Для этого две армии были отправлены в погоню. Первую возглавлял каган Доулунь, второй руководил его дядя Нагай. “Вэй шу” сообщает, что каган потерпел несколько поражений от уйгуров, а Нагай, напротив, все свои сражения против уйгуров выиграл.

Далее в источнике приводится интересный рассказ об особенностях представлений о власти в жужаньском обществе. Вследствие неудачной военной кампании и, вероятно, не без того, что хан был очень жесток, у подданных сложилось мнение, что Доулунь лишился своей харизмы и не способен более обеспечивать подданным покровительство Неба. Напротив, как дословно написано в тексте, “все жуаньжуани считали, что Нагаю помогает Небо”. Номады хотели поставить его вместо своего неудачливого правителя. Нагай не соглашался идти против традиции, но вера в его избранность, видимо, была столь велика, что кочевники сами на-

* В переводе Н. Я. Бичурина – палками (Бичурин, 1950а: 187).

рушили порядок престолонаследия, убили кагана и его ближайших родственников и возвели Нагая на трон (Материалы, 1984: 278).

Данный рассказ является блестящим примером так называемого традиционного типа господства (по М. Веберу), основанного на убеждении в священном, непререкаемом характере традиций, нарушение которых ведет к тяжелым магико-религиозным последствиям. Вся человеческая деятельность в таком социуме нацелена на воспроизводство общности и обеспечение порядка, устраняющего хаос и нестабильность. Легитимность традиционного господства базируется на вере в наследственные способности правителей и жрецов взаимодействовать с потусторонними силами в целях оказания с их стороны покровительства своему народу.

Все жужаньские каганы, начиная с Шэлуня, являлись представителями одного правящего рода потомков от мифологического первопредка жужаней Мугулюя, бывшего, согласно китайским хроникам, беглым рабом. Впрочем, особенных оснований доверять китайским источникам нет. Это типичная для китайских историков вставка, предназначенная продемонстрировать низкое происхождение и варварскую сущность северных кочевников.

В источниках зафиксировано 16 случаев передачи престола. В 8 случаях трон наследовался по прямой линии – 7 раз от отца к сыну и один раз наоборот*. В 8 случаях титул кагана переходил по боковой линии – от брата к брату или от дяди к племяннику. Интересно, что все наследования престола по прямой линии проходили мирно. В то же время в 5 случаях из 8 передача трона по боковой линии сопровождалась конфликтной ситуацией (либо прямая узурпация, либо убийство кагана с последующим возведением на престол более приемлемого кандидата). Очевидно, что всякий каган стремился передать престол своему старшему сыну, но в случае некоторых обстоятельств (слабость его власти, внешне-политическая нестабильность и пр.) более сильный или более авторитетный родственник занимал трон.

* В 552 г., после разгрома жужаней тюрками, большинство представителей каганского рода спаслось бегством в царство Ци; не бежал только внук Нагая Тефа, которого оставшиеся племена возвели на престол. Вскоре он был убит киданями, и на трон взошел его отец Дэнчжу, вернувшийся к тому времени из Китая.

Начиная с Шэлуня, все жужаньские каганы при инаугурации брали пышные титулы. С начала царствования седьмого кагана Юйчэна в 464 г. для ханов (подобно китайскому этикету) были введены девизы правления (табл. 4)*.

Таблица 4

Титулы жужаньских каганов

№	Имя кагана	Годы	Титул	Перевод	Эра правления
1	Шэлунь	402(?)—410	Цюдоуфа кэхань	Правящий и приведший к расширению*	
2	Хулю	410—414 х	Айкугай кэхань	Каган с прекрасными качествами	
3	Булучжэнь	414—414 х			
4	Датань	414—429	Моуханьг-эшенгай кэхань	Победоносный	
5	Ути	429—444	Чилян кэхань	Божественный	
6	Тухэчжэнь	444—464	Чу кэхань	Почтительно поддакивающий**	
7	Юйчэн	464—485	Чоулочжэнь кэхань	Милостливый	Юй кан
8	Доулунь	485—492 х	Фугудунь кэхань	Постоянный	Тай пин
9	Нагай	492—506	Хоуцифудайкучжэ кэхань	Радостный*	Тай ань

* Н. Я. Бичурин (1950а: 187, 193, 196, 204) перевел титулы каганов, помещенных в списке звездочками, несколько иначе: Шэлунь — “стреляющий из лука”, Тухэчжэнь — “правдивый”, Нагай — “вожделенный”, Чоуну — “хан-законодатель”, Анагуй — “останавливающий”.

Продолжение

10	Футу	506—508	Тахань кэхань	Продолжающий дело	Ши пин
11	Чоуну	508—519 х	Доулофуба-дауфа кэхань	Освещающий правление*	Цзяньчан
12а	Анагуй	519,521—552	Чиля тоубиндоуфа кэхань	Забравший все в свои руки*	
12б	Полымань	519—521 х	Моукэшэгоу кэхань	Спокойный	
13	Тефа	552—553 х			
14	Дэнчжу	553—553 х			
15	Кути	553—553 х			
16	Яньло-чэнь	553—554(?) х			

Источник информации: Материалы, 1984: 269—271, 273, 275—279, 282, 284, 287, 409—415, прим. 22, 27, 29, 39, 44, 46, 47—48, 49, 51, 59, 61.

Знаком х обозначено насильственное свержение правителя.

Общественная структура

Относительно социальной структуры Жужаньского каганата в письменных источниках сведений практически нет. Поэтому мы можем реконструировать ее лишь с определенной долей вероятности. Во главе общества находился правитель *каган*. Кроме официального титула *каган* правитель Жужаньского ханства имел превосходную приставку: “победоносный”, “божественный” и т. д.

По подобию правителя его жена называлась *кагатунья*. Высшие должности и престол, как это было отмечено ранее, наследовались внутри каганского клана. Все правители каганата являлись потомками легендарного прародителя жужаней Мугулюя. Высших лиц

каганата окружала многочисленная свита до нескольких сот приближенных (Материалы, 1984: 274).

Следующую ступень иерархии занимала правящая элита жужаньского общества, которая в источниках противопоставляется “народу”. Эта категория чаще всего обозначается в летописях китайским термином *дачэнь* — “сановник” или “вельможа” (Материалы, 1984: 269, 270, 282, 292). В “Вэй шу” сообщается, что “по обычаям жуаньжуаней правитель и сановники принимают прозвища в зависимости от поступков и способностей, подобно тому как в Среднем государстве даются посмертные титулы, но у них после смерти почетные титулы не подносятся” (Материалы, 1984: 269). В. С. Таскин в комментарии к этой фразе видит известную аналогию монгольским вождям и батырам XI—XII вв. При этом он ссылается на известный труд Б. Я. Владимирцова (1934: 74) о монголах. “Таких предводителей аристократических домов вообще называют “господин”, но очень часто они носят характерные прозвища, как бы показывающие, кто они такие. Их часто называют *báatur* — “богатырь”, *secen* — “мудрый”, *mergen* — “меткий стрелок”, *bilge* — “мудрый”, *bökö* — “силач”. Также часто они носят титулы, заимствованные у других народов”.

Вельможи, согласно летописям, делятся на “высших и низших” (Материалы, 1984: 273). Кроме этого в летописях упоминаются другие термины: “военачальник” (Материалы, 1984: 274), “вождь” (Материалы, 1984: 268, 271), “старейшины” (Материалы, 1984: 271, 273, 294).

По всей видимости, под всеми данными терминами подразумевался достаточно широкий круг лиц, включавший кочевую аристократию из кланов вождей наиболее крупных вождество- и племенных объединений, племенных вождей и старейшин, представителей служилой знати из китайских перебежчиков, вождей и старейшин, зависимых от жужаней номадов и т. д.

По аналогии с существовавшей в Жужаньском ханстве системой наследования и некоторыми косвенными данными (Материалы, 1984: 271) можно предположить, что должности наследовались в соответствии с удельно-лестничной системой — внутри одного родственного коллектива (рода, клана, линиджа) по прямой или боковой линии от старших родственников к младшим. Кроме этого

каган мог пожаловать определенную должность и титул какого-либо ранга за определенные заслуги. Так произошло, например, со знахаркой-колдуньей по имени Дивань, которую в 518 г. каган Нагай за выдающиеся заслуги взял в жены с присвоением ей титула *кагатуньи* — ханши. Ее муж Фушэнмоу в качестве компенсации получил “титул и должность”, а также большое количество скота (Бичурин, 1950а: 197; Материалы, 1984: 280).

С середины V в. в источниках начинают упоминаться конкретные жужаньские титулы. С чем это связано, не известно. Вот наименования некоторых из жужаньских титулов: *мофу*, *мохэду* (монг. *batur*, *baghatur*) (Материалы, 1984: 276, 412, прим. 45), *мохэ цюй-фэнь* (монг. *bagakobegun*) (Материалы, 1984: 277, 280, 284, 292, 414, прим. 53), *хэси* (Материалы, 1984: 278, 279), *сылы* и *сылымохэ* (Материалы, 1984: 291—293), *тодоуфа* (Материалы, 1984: 293), *тодоудэн* (тюрк. *tutug* ?) (Материалы, 1984: 293), *сыцзинь* (тюрк. *irkin*) (Материалы, 1984: 279, 284), *сылыфа* (тюрк. *eltäbar* ?) (Материалы, 1984: 280, 284, 412, прим. 45, 414, прим. 55). Часть из них впоследствии встречается в административной номенклатуре Тюркских каганатов (*eltäbar*, *irkin* и др.).

Многие из перечисленных титулов включены в имена жужаньских посланников в китайские царства. Видимо, именно они были упомянуты в тех или иных дворцовых документах и поэтому оказались в поле зрения составителей китайских династийных хроник. Из летописей также следует, что титул *сылыфа* имели ближайшие родственники кагана, командовавшие большими воинскими формированиями. Существует мнение, что этот термин носили правители крыльев империи (История МНР, 1983: 106; Хандсурэн, 1993: 95).

В целом изучение административных титулов жужаней — это самостоятельная проблема, рассмотрение которой требует отдельного исследования. Поэтому в данной работе я могу только посоветовать всем интересующимся этой темой обратиться к соответствующим разработкам таких авторитетных авторов, как Сиратори Куракити (1935) и Фудзита Тоёхати (1968), на труды которых постоянно ссылается в своих комментариях к использованным мной переводам В. С. Таскин.

Несколько ниже в иерархии располагались более мелкие вожди, имевшие военные ранги “тысячников” и “сотников”. По всей видимости, в данном случае речь должна идти о племенных вождях и родовых старейшинах разных уровней. Однако, к сожалению, в источниках практически отсутствует информация о социальной организации жужаней. Неоднократно упоминаются только термины, характеризующие ее различные составляющие: “семья” (ло), “род” (ило) и “кочевье” (бу), переводимое Н. Я. Бичуриным как “аймак”. Основываясь на более общих закономерностях эволюции кочевых обществ (Васон, 1958; Krader, 1963; Толыбеков, 1971; Хазанов, 1975; Марков, 1976; Khazanov, 1984; Barfield, 1992; Масанов, 1995 и многие др.), можно предполагать, что социальная организация жужаней мало отличалась от общественной организации других кочевников Евразии и представляла собой сложную иерархическую многоуровневую систему.

Ее низшие звенья (семья, семейно-родственные группы) в таком случае должны были базироваться на реальных кровно-родственных и экономических связях. Более высокие уровни (линиджные и кланово-родовые группировки), по всей видимости, основывались на реципроктных и других общинных связях, периодической трудовой кооперации, совместном владении средствами производства, отдаленном реальном и фиктивном генеалогическом родстве. Наконец, высшие звенья социальной организации (племена и вождества) основывались скорее всего на политических, культурных, идеологических, эпизодических, экономических и иных связях. Они были облачены в форму фиктивного генеалогического родства. Из источников также известно, что численность “кочевий” могла колебаться от тысячи “юрт” (т. е. примерно 4–5 тыс. человек) до нескольких десятков тысяч человек (Материалы, 1984: 275, 276, 294). Под 521 г. в 103-м цзюане “Вэй шу” сообщается, что у жужаней было 10 “кочевий” (Материалы, 1984: 284).

Фундамент пирамиды степной державы занимали простые кочевники-скотоводы, о которых китайские летописцы не сообщают ничего. Скорее всего, по аналогии с другими кочевниками евразийских степей у жужаней должны были существовать различные категории неполноправных лиц, связанных со своими доминантами отношениями патронажа-клиентелы. Им либо давалось какое-то количество скота на выпас (так называемый “саун”), либо же они

работали в хозяйстве своего более обеспеченного благодетеля (Толыбеков, 1971; Першиц, 1973; Хазанов, 1975: 148–151; Марков, 1976; Khazanov, 1984: 152–164; Крадин, 1992: 111–118; Масанов, 1995 и др.).

По поводу рабовладения у жужаней известно только то, что в 521 г. Анагуй получил от китайского императора в подарок двух рабынь (Материалы, 1984: 283). Кроме этого еще Шэлунь провозгласил, что отличившимся в бою будут в награду даны пленники (Материалы, 1984: 269). Имеются также данные об угоне в степь земледельческого населения (Материалы, 1984: 286). Однако о том, становились ли военнопленные рабами, в источниках ничего не сообщается. Скорее всего в этом вопросе также необходимо руководствоваться общими закономерностями относительно распространения рабства у кочевников-скотоводов (Нибур, 1907: 237–265; Семенюк, 1958; Хазанов, 1975: 133–148; Кляшторный, 1985; Крадин, 1992: 100–111 и др.).

Динамика политической организации

В течение существования каганата (402–555 гг.) его административно-политическое устройство претерпело определенные изменения. Если в конце V в. Шэнь Юэ писал в 95-й главе “Сун шу”, что управление Жужаньским каганатом предельно просто (Материалы, 1984: 288), то уже в более позднем источнике сообщается, что жужани заимствовали письменность из Китая и стали использовать ее в дипломатической переписке с различными северокитайскими династиями и во внутреннем делопроизводстве (Материалы, 1984: 289, 294; 1984: 279). Там же говорится о наличии у жужаней большого числа грамотных лиц (Материалы, 1984: 289).

По всей видимости, активное внедрение китайской письменности произошло не позднее рубежа V–VI вв. Кроме этого некоторые исследователи полагают, что жужаням было знакомо собственное руническое письмо протоорхонского типа (История МНР, 1983: 107). Поскольку китайские хронисты писали о многих народах, не пользовавшихся иероглификой, как о неграмотных, то, возможно, так называемые “зарубки на деревьях” — это и есть рунические

тексты. Достаточно для сравнения привести описание древних тюрок из “Тан шу”: “Письмен не имеют. Количество требуемых людей, лошадей, податей и скота считают по зарубкам на дереве [здесь и далее подчеркнуто мной. — Н. К.]. Вместе с предписаниями на бумаге употребляется стрела с золотым копьем, с восчаной печатью... В здании, построенном при могиле, ставят нарисованный облик покойника и описание сражений, в которых он находился в продолжении жизни” (Бичурин, 1950а: 229–230).

В начале VI в., скорее всего при Анагуе, жужани построили столицу — город Мумочэн, которая, согласно “Лян шу” (Материалы, 1984: 290), была обнесена двумя рядами стен. Правда, до сих пор этот город не найден, и историки спорят о его местонахождении (Хандсурэн, 1973; 1993: 98–99). В период правления кагана Анагуя произошли и определенные изменения в административном аппарате каганата. Как пишет Ли Яньшоу, Анагуй “установил должности чиновников, незаконно подражая правителям”. Каган завел в ставку письменное делопроизводство по китайскому образцу, создал штат телохранителей, называемых на китайский манер (в переводе В. С. Таскина “окольных”, “камергеров”, “секретарей”), окружил себя советниками, воспитанными в традиции китайских книжников, — шэньши. Его главным консультантом во всех этих мероприятиях был китайский перебежчик из чиновников Шуньюй Тань, сыгравший примерно ту же роль, что и Чжунхан Юэ у хунну или Елюй Чуцай у монголов (Материалы, 1984: 293–294). К этому времени все чаще в китайских бумагах подданные кагана характеризуются как “чиновники и народ” (Материалы, 1984: 282, 285, 292).

Однако было бы неправильно рассматривать данные нововведения как свидетельство появления у жужаней бюрократической организации управления наподобие китайской. Скорее всего это внешнее подражание китайским институтам при сохранении традиционного степного содержания. Это видно хотя бы из того, что обе перечисляемые летописцем должности (“камергер”, “окольный”) связаны с бытом правителя и его окружения, а не с делопроизводством и управлением какими-либо центральными или региональными институтами власти. Шуньюй Тань, громко называемый “начальником секретариата”, судя по контексту источника, был единственным сотрудником своего ведомства и к тому же одно-

временно занимал другую, весьма важную должность “камергера”. Какое уж тут разделение властей. По всей видимости, в данном фрагменте летописи описываются некие “эмбриональные” органы управления наподобие тех, которые были у Чингиз-хана в период создания им своего первого улуса. Согласно 124-му параграфу “Тайной истории монголов”, в их число входили сабельщики — потенциальные “офицеры” ханского войска, разведчики, гонцы, стольники, ответственные за выпас стад, распоряжавшиеся челядью и организацией перекочевков ставки — всего 26 верных нукеров.

Трудно сказать, чем были обусловлены все данные перемены. Может быть, сыграла свою роль определенная этническая и культурная близость жужаней и тобасцев, в результате чего уже не было столь жесткого культурного противостояния между Северной Вэй и Степью, и номады с большей охотой перенимали культуру, этикет и принципы организации управления южных оседлых соседей. Не исключено и то обстоятельство, что в данный период в состав каганата помимо тюрко- и монгольязычных кочевников входило некоторое количество земледельческого населения. Однако вряд ли оно было многочисленным. Об этом, в частности, можно судить, основываясь на данных источников, согласно которым в 522 г. каган Анагуй попросил снабдить его семенами для посевов. Исходя из того что ему было выдано 10 тыс. даней проса (Материалы, 1984: 286), можно рассчитать, основываясь на имеющихся методиках (Кульпин, 1990): зерновых и полученного после урожая должно было хватить на прокормление населенного пункта численностью 1,5–2 тыс. человек, несколько меньшего по размерам, чем знаменитое Иволгинское городище хунну в Бурятии. Эти данные мы получили без учета кочевников, которые использовали зерновые только в качестве пищевой добавки в наиболее трудные периоды годового цикла. Правда, в тот год в жужаньских кочевьях был голод. Семенной фонд, по-видимому, просто съели, и в начале следующего года кочевники отправились в набег на Северную Вэй.

В качестве одной из версий можно допустить, что Анагуй мог планировать постепенное создание объединенного номадно-земледельческого государства по образцу других “варварских” династий того времени. Наверное поэтому, незадолго до крушения Жужань-

ского каганата он перебрался со своим двором в Лоян. Однако история распорядилась иначе.

* * *

Как было сказано в первой главе данной работы, большинство исследователей, рассматривавших проблему общественного устройства Жужаньского ханства, характеризовали уровень развития общества как феодальный. В этой связи необходимо отметить два важных обстоятельства. Во-первых, если понимать феодализм в “узком” смысле — как особый тип общества, характерный главным образом для средневековой Европы (А. Я. Гуревич, Л. С. Васильев), то Жужаньская держава не может считаться феодальной. Во-вторых, основу феодализма составляют внутренние отношения между сеньорами, их вассалами и зависимыми общинниками. Жужаньский каганат, как и другие кочевые империи, был основан на внешнеэксплуататорской деятельности.

Гораздо сложнее обстоит дело, если понимать феодализм в “широком” смысле, т. е. как этап социальной истории между первобытными и индустриальными обществами (Л. Б. Алаев, Ю. М. Кобищанов и др.). “Широкая” трактовка феодализма смыкается с другими теоретическими схемами, объединяющими все доиндустриальные послепервобытные общества в одну стадию (М. Вебер, У. Ростоу, Э. Геллнер, Э. Сервис, В. П. Илюшечкин и многие др.). В таком контексте проблема интерпретации уровня развития Жужаньского каганата как феодального оказывается перенесенной в несколько иную плоскость: можно ли считать жужаньское общество государством (“ранним государством”, “раннефеодальным” государством и т. д.) или оно представляло собой предгосударственное объединение (конфедерацию племен, вожжество и пр.).

Рассмотрим различные возможные решения этой проблемы. Они в немалой степени опосредованы избираемой методологией исследования. Согласно интегративному подходу, государство представляет собой политическую систему многочисленного и нередко полиэтничного общества, для которого характерны высокоразвитая ремесленная деятельность, монументальное строительство, урбанизация, письменность. У этой точки зрения есть аргументы как

за, так и против. Жужаньский каганат, вне всякого сомнения, был многоэтнической конфедерацией. Его общая численность (исходя из приблизительно известной численности войск) была не менее 500 тыс. человек и больше соответствовала государственности (Johnson, Earle, 1987: 314, table 10). Однако плотность населения жужаньского общества (как и других кочевых обществ) более типична для доиерархических структур и простых вожеств.

В источниках нет данных о монументальном строительстве и высокоразвитом характере ремесленной деятельности в жужаньском обществе. Напротив, исходя из того что жужани просили прислать им из Китая врачей, ткачей и других искусных мастеров (Хандсурэн, 1993: 96–97), можно предположить обратное. Но у жужаней, согласно летописям, был город Мумочэн — столица каганата, и, следовательно, можно говорить о зачатках урбанизации. Известно также, что уровень знания китайской письменности в жужаньском обществе был, по всей видимости, достаточно высок (имели ли жужани руническое письмо, это особый вопрос). Не только элита и иммигранты из Китая, но и некоторые обычные скотоводы умели пользоваться иероглификой. В 95-м цзюане “Суш шу” приводится интересный рассказ о некоем высокообразованном жужанине, который посрамил в арифметике одного мудрого китайского чиновника (Хандсурэн, 1993: 102–104).

Вне всякого сомнения, жужаньское общество развивалось под сильным культурным влиянием китайской цивилизации (как прямым, так и опосредованным, через полукочевые династии). Результаты этого влияния прослеживаются также в воздействии на жужаньскую политическую традицию. Каган имел пышный титул, брал девизы и пытался завести в своей ставке порядки подобно правителям китайских царств, придерживался международного дипломатического церемониала и вел переписку с китайскими государями. Во внешнеполитической деятельности Жужаньская конфедерация выступает независимым субъектом международных отношений.

С точки зрения конфликтных теорий политогенеза каганат являлся захватническим, милитаризованным обществом. Это специфическая военно-иерархическая полития, созданная для решения исключительно внешних задач — изъятия прибавочного продукта у соседних народов и государств. В этом проявились его подобию государству и яркий внешнеэксплуататорский **ксенократический ха-**

рактически. Однако согласно марксистской точке зрения жужаньское общество не может считаться государством, так как в источниках не упоминаются ни внутренняя эксплуатация непосредственных производителей, ни налоги, ни развитый бюрократический аппарат.

Это согласуется с неозволюционистским структурализмом. Большинство жужаньских управителей разных рангов, по терминологии Х. Классена, скорее могут быть отнесены к так называемым “общим функционерам”. Данных о “специализированных функционерах” (профессиональных бюрократах), которые имелись почти во всех ранних государствах (Claessen, Skalnik, 1978: 580), практически нет. Единственное исключение — упомянутый выше Шуньюй Тань, которого Анагуи назначил своим “начальником секретариата”. Кроме этого у жужаней неизвестна такая, в 99% случаев характерная для ранних государств (Claessen, Skalnik, 1978: 585), форма контроля над региональными наместниками, как объезд владений (*полюдье*).

Для Жужаньского каганата характерна традиционная форма власти и господства в ее классическом виде. При этом представляется очевидным, что жужаньский каган обладал лишь консенсуальной властью, т. е., по сути, авторитетом, тогда как главным критерием государства (согласно вебериянской методологии) является возможность правительства осуществлять санкции с помощью легитимизированного насилия.

Что касается права и законов, то никаких данных о судах, апелляциях, писанном праве, существовании кодекса наказаний за различные преступления, специализированных функционерах, контролирующих соблюдение законов в Жужаньском каганате, у нас нет. В этом смысле (если допускать, что в источниках содержится полная информация на этот счет) жужаньское общество выглядит даже несколько более архаичным, чем Хуннская держава.

Таким образом, в жужаньском обществе имеются как типичные признаки раннего государства, так и яркие черты вождества. Данная ситуация, возможно, отражает неприменимость использования понятийного аппарата, разработанного на материалах оседлых обществ, к истории кочевников-скотоводов. По этой причине для подобных обществ, гораздо более сложных, чем обычные “комплексные вождества”, но не обладающих всем набором характерис-

тик государства, был предложен термин “суперсложное вождество” (Крадин, 1992: 152; Трепавлов, 1995; Скрынникова, 1997). Однако и это было бы слишком простым решением проблемы.

Мне представляется, что более продуктивно анализировать особенности эволюции древних и средневековых кочевников Евразии посредством разработки категории “**кочевая империя**” (Крадин, 1992: 166–178; 1996; 1999 и др.), что я и пытался показать в данной главе. Кочевые империи представляли собой кульминацию, пик истории народов евразийских степей. Они возникли в период “осевого времени” как своеобразный “ответ” на рост и расширение ряда цивилизаций народов, оттесненных в трудные экологические условия. Черты сходства и отличия кочевых империй от античных городов-государств и империй, восточных деспотий, феодальных королевств позволяют сделать вывод, что это особая форма политической организации, просуществовавшая до начала эпохи первоначального накопления. При этом некоторые качества данной модели словно родимые пятна проступают в политических институтах ряда современных стран Востока. В сущности, здесь речь идет о совсем ином методологическом подходе — многолинейной теории социальной эволюции.

Исходя из всего вышеизложенного, представляется неправомерным рассматривать историю Жужаньского каганата как постепенную трансформацию от раннефеодального централизованного государства к следующей стадии феодализма — периоду раздробленности (см.: Сэр-Оджав, 1971: 16–17; История МНР, 1983: 108). Этапы усиления и ослабления случались в истории Жужаньского ханства несколько раз. С полным основанием можно говорить о кризисах каганата в периоды между 438–470 и 519–521 гг. Напротив, последние три десятилетия существования ханства при Анагуе были периодом политической стабильности, и ни о каком росте феодальных усабиц говорить не приходится. Только после 552 г., когда жужани, находясь на пике могущества, внезапно потерпели сокрушительное поражение от тюрков, а Анагуи покончил жизнь самоубийством, каганат пришел в упадок. Фактически это был конец каганата. За три года сменилось четыре хана, но они уже ничего не могли сделать. В 555 г. правитель западноэвэйского царства предательски выдал оставшихся несколько тысяч жужаней тюркам, и они все (кроме детей до 16 лет) были жестоко казнены. Так трагически закончилась история Жужаньского ханства.

СТРУКТУРА “ВАРВАРСКОЙ ИМПЕРИИ”: КИДАНЬСКАЯ ДИНАСТИЯ ЛЯО (907–1125)*

Проблемы типологии процессов становления государства и альтернативных ему структурно не менее сложных форм политической организации являются одной из наиболее актуальных тем современной политической антропологии. Особое место в процессах политогенеза занимали кочевники-скотоводы. Могли ли номады создавать собственную государственность? Как в теориях политической эволюции следует классифицировать кочевые империи? Могут ли они считаться государствами или это были предгосударственные политии? Эти вопросы до сих пор обсуждаются исследователями разных стран (подробнее о данной дискуссии см.: *Коган*, 1981; *Халиль Исмаил*, 1983; *Крадин*, 1992; 2001 и многие др.).

В настоящее время существуют две наиболее популярные группы теорий, объясняющих процесс происхождения и сущность раннего государства. *Конфликтные*, или *контрольные*, теории показывают происхождение государственности и ее внутреннюю природу с позиции отношений эксплуатации, классовой борьбы, войны и межэтнического доминирования. *Интегративные*, или *управленческие* (*функциональные*), теории главным образом ориентированы на то, чтобы объяснить феномен государства как более высокую

стадию экономической и общественной интеграции (*Fried*, 1967; *Service*, 1975; *Claessen and Skalnik*, 1978; 1981; *Cohen and Service*, 1978; *Haas*, 1982; *Павленко*, 1989; *Fienman, Marcus*, 1999; *Крадин*, 2004 и др.).

Однако ни с той, ни с другой точки зрения нельзя считать, что государственность была для кочевников внутренне необходимой. Все основные экономические процессы в скотоводческом обществе осуществлялись в рамках отдельных домохозяйств. По этой причине нужды в специализированном “бюрократическом” аппарате, занимающемся управленческо-редистрибутивной деятельностью, не было. С другой стороны, все социальные противоречия между номадами разрешались в рамках традиционных институтов поддержания внутренней политической стабильности. Сильное давление на кочевников могло привести к откочевке или применению ответного насилия, поскольку каждый свободный номад был одновременно и воином (*Марков*, 1976; *Irons*, 1979; *Khazanov*, 1984; *Fletcher*, 1986; *Barfield*, 1992; *Крадин*, 1992; *Масанов*, 1995 и др.).

Необходимость в объединении и создании централизованной иерархии у кочевников возникает только в случае войн за источники существования, для организации грабежей соседей земледельцев или экспансии на их территорию, при установлении контроля над торговыми путями. В данной ситуации формирование сложной политической организации кочевников в форме “кочевых империй” есть одновременно и продукт интеграции, и следствие конфликта (между номадами и земледельцами). Кочевники-скотоводы выступали в данной ситуации как *класс-этнос* и специфическая *ксенократическая* (от греч. *ксено* — наружу и *кратос* — власть; ранее я предлагал называть такие общества *экзополитарными* от греч. *экзо* — вне и *полития* — общество, государство и др.) политическая система. Обратно можно сказать, что они представляли собой нечто вроде “надстройки” над оседло-земледельческим “базисом” (*Крадин*, 1992 и др.). С этой точки зрения создание кочевых империй — это частный случай популярной в свое время “завоевательной” теории политогенеза (*Л. Гумплович*, *Ф. Оппенгаймер*), согласно которой война и

* Структура “варварской империи”: киданьская династия Ляо (907–1125) // Традиционная культура Востока Азии. Вып. 4. Благовещенск Изд-во АмГУ, 2002. С. 212–227.

завоевание являются предпосылками для последующего закрепления неравенства и стратификации.

Какой смысл скрывается за понятием “кочевая империя”? На это счет существуют разные точки зрения (Крадин, 1992: 168; 2001; Васильев, Горелик, Кляшторный, 1993: 33; Трепавлов, 1993: 17–18; 1993а: 173–175; Кляшторный, Савинов, 1994: 6 и др.). Рассматривая данный вопрос, прежде всего следует определиться с термином “империя”. Это слово обозначает такую форму политической организации, как правило, государственного уровня, которой присущи два главных признака: 1) большие территории; 2) наличие зависимых или колониальных владений. Р. Тапар, со ссылкой на труды С. Айзенштадта, было предложено определять империю как общество, состоящее из “метрополии” (ядра империи) — высококоразвитого экспансионистского государства — и территории, на которую распространяется ее влияние (“периферии”). Периферией могли являться совершенно различные по уровню сложности типы социальных организмов: от локальной группы до государства включительно. По степени интегрированности этих подсистем империи автор выделила “раннюю” и “позднюю” империи. В ранней империи, по ее мнению, метрополия и периферия не составляли прочной взаимосвязанной единой системы и различались по многим показателям, таким, например, как экология, экономика, уровень социального и политического развития. К числу классических примеров ранних империй можно отнести Римскую империю, инкское государство, королевство Каролингов и др. Поздняя империя характеризуется менее дифференцированной инфраструктурой. В ней периферийные подсистемы функционально ограничены и выступают в форме сырьевых придатков по отношению к развитым аграрным, промышленным и торговым механизмам метрополии. В качестве примера можно сослаться на Британскую, Германскую или Российскую империи начала прошлого столетия (Eisenstadt, 1963: 6–22, 61ff; Тапар, 1981: 410ff).

Одним из вариантов “ранней” империи следует считать “варварскую империю”. Принципиальное отличие последней заключалось в том, что ее “метрополия” являлась высококоразвитой только в военном отношении, тогда как в социально-экономическом раз-

витии она отставала от эксплуатируемых или завоеванных территорий и, по существу, сама являлась периферией и провинцией (допустимо, что она могла не быть государством). Все империи, основанные кочевниками, были варварскими. Однако не все варварские империи основывались кочевниками. Поэтому кочевую империю следует выделять как вариант варварской. В таком случае кочевую империю можно дефинировать как общество кочевников, организованное по военно-иерархическому принципу, занимающее относительно большое пространство и получающее необходимые нескотоводческие ресурсы, как правило, посредством внешней эксплуатации (грабежей, войн и контрибуций, вымогания “подарков”, неэквивалентной торговли, данничества и т. д.).

Выделяются три модели (“идеальных типа”) кочевых империй.

1. **Типичные** империи — кочевники и земледельцы сосуществуют на расстоянии. Получение прибавочного продукта кочевниками осуществляется посредством *дистанционной* эксплуатации: набеги, вымогание “подарков” (в сущности рэкет, неэквивалентная торговля) и т. д. (хунну, сяньби, тюрки, уйгуры, первое Скифское царство и пр.). 2. **Даннические** империи — земледельцы зависят от кочевников; форма эксплуатации — *данничество* (Хазарский каганат, империя Ляо, Золотая Орда, Юань и пр.). 3. **Завоевательные** империи — кочевники завоевывают земледельческое общество и переселяются на его территорию (Парфия, Кушанское царство, поздняя Скифия и пр.). На смену грабежам и данничеству приходит регулярное *налогообложение* земледельцев и горожан (Крадин, 1992: 166–178).

Типичные кочевые империи являлись суперсложными вождествами. Это уже реальный прообраз раннего государства (Крадин, 1996). Гораздо сложнее с теми империями кочевников, которые подчиняли земледельческие общества и эксплуатировали их за счет взимания дани или обложения налогами. Включение в их состав земледельческого населения стимулировало важные изменения в среде кочевников. Развивалась внутренняя стратификация, необходимость управления более сложными обществами земледельцев и горожан стимулировала развитие политической организации. Так постепенно на место суперсложному вождеству приходила государственная организация.

Данные процессы могут быть наглядно проиллюстрированы на примере киданьской империи Ляо. В этой империи скотоводы-кочевники кидани (“ядро — метрополия”) составляли всего пятую часть населения (750 тыс. человек). Кроме них в состав империи входили земледельцы-китайцы — более половины населения (2400 тыс. человек), бохайцы (450 тыс. человек), некиданьские (так называемые “варварские”) скотоводческие и охотничьи (200 тыс. человек) народы. Общая численность населения державы составляла 3 млн 800 тыс. человек (Wittfogel, Feng, 1949: 58).

На самых верхних уровнях социальной пирамиды империи находились императорский клан Елюй и клан императрицы Сяо. Представители этих кланов являлись крупнейшими собственниками в стране и занимали большую часть наиболее важных военных и гражданских постов в администрации империи. Клан Елюй происходил от племени шели, получившего название от одноименного места, где оно кочевало. Е Лунли свидетельствует на этот счет: “Шели — место в двухстах ли к востоку от Верхней Столицы (ныне существует р. Шили моли, и при переводе этого названия на китайский появилась фамилия Елюй” (1979: 310).

Клан подразделялся со времени правления основателя империи Абаоцзи на две части: “пять подразделений”, или северная часть, и “шесть подразделений”, или южная часть. Эти части управлялись “великими князьями” (да ванами). Семья императора относилась к “пяти подразделениям” клана, а прямые потомки Абаоцзи — к так называемым “поперечным” (“горизонтальным”) шатрам, потомки же двух его дядей и братьев были известны как “три патриархальных хозяйства”. Вместе они образовывали четыре ведущих линиджа (Wittfogel, Feng, 1949: 491; Kwanten, 1979: 95).

Император считался единоличным правителем, окончательной инстанцией, от имени которого принимались важнейшие ответственные решения и осуществлялась редистрибуция. В его кладовых “скопились целые горы редких и драгоценных вещей” (Е Лунли, 1979: 152). Государственные стада включали примерно один миллион голов животных, которые выпасались главным образом в Силоу (там же, 47), под надзором специальных органов контроля (Wittfogel, Feng, 1949: 47).

Существовал сложный, скрупулезно разработанный дворцовый церемониал, который тщательно описывают китайские хроники (Е Лунли, 1979: 523 сл.) Императора охраняла гвардия (там же, 468—469, 533). Переезжая из столицы в столицу, из дворца во дворец, императоры вели подвижный образ жизни. В империи имелось пять столиц. Верхняя столица находилась неподалеку от р. Шара-Мурэн в окрестностях современного г. Боро-Хотон во Внутренней Монголии КНР. Средняя столица была расположена около места впадения Шара-Мурэн в Ляохэ. Это были зоны обитания киданей и других скотоводческих народов империи. Восточная столица располагалась около г. Ляоян в местах расселения бохайцев. Два последних столичных города обосновались в пределах проживания китайского населения. Западная столица — это современный г. Датун в провинции Шэнси, а южная — современный г. Пекин (Кычанов, 1997: 148).

Вне всякого сомнения, периодические переезды императора Ляо — это дань традициям кочевого быта. Именно так должен был вести себя правитель степной империи. Однако помимо этого, как полагают К. Виттфогель и Фэн Цзяшэн (Wittfogel, Feng, 1949: 484), постоянные передвижения позволяли императору лично контролировать многочисленный аппарат чиновников на местах. Не случайно его всегда сопровождало большое количество приближенных. В этом можно найти прямые аналогии институту полюдья (Кобищанов, 1995). Думается, в пред- и раннегосударственных общественных структурах, потенциально способных к распаду и дроблению, подобный метод контроля был одним из наиболее действенных средств преодоления сепаратистских устремлений.

Клан Сяо, или иначе клан императрицы, имел уйгурское происхождение и также делился на несколько высших и низших линиджей (Wittfogel, Feng, 1949: 191). Этот клан являлся традиционным брачным “партнером” клана Елюй. “По законам варваров, — сообщают нарративные источники, — род правителей может заключать браки только с родом императрицы, независимо от того, высокое или низкое положение занимают представители этих родов. Семьи двух племен, к которым относится род правителей и род императ-

риц, не могут вступать в браки с другими племенами без разрешения правителя киданей. Это не распространяется на браки между остальными племенами” (Е Лунли, 1979: 310)*.

Впрочем, принадлежность к кланам Елюй и Сяо не означала, что все их представители являлись крупными собственниками. Ряд мероприятий по оказанию помощи голодающим, предпринятых в 1100 г., показывает, что даже в этих кланах существовала значительная имущественная дифференциация. Летописи сообщают об одном из представителей царствующего клана Елюй, который не имел даже верховой лошади (это кочевник-то!) и был вынужден приехать ко двору верхом на быке, одетым в овчинный тулуп**. Однако отсутствие имущественного достатка, впрочем, не помешало ему получить высокий пост при императорском дворе (Wittfogel, Feng, 1949: 191–192). Последнее еще раз подтверждает, что в кочевом обществе статус конкретного индивида нередко обусловлен статусом его генеалогической группы среди других аналогичных групп.

Первоначально киданьская империя Ляо (916–1125) представляла собой классическую “данническую” кочевую империю. Поскольку во всех кочевых империях ресурс власти правителя зависел, с одной стороны, от возможности обеспечивать дарами и

* По указу 1019 г. круг возможностей для вступления в брак для высших звеньев аристократии номадов был дополнительно сужен. Представителям четырех самых знатных линиджей Елюй было запрещено жениться на представителях “меньших” линиджей. В 1029 г. два ведущих линиджа клана Сяо и линиджи “пяти” и “шести” подразделений Елюй были объявлены “благородными родами нации”. Четыре ведущих линиджа клана Елюй при этом не упоминаются. По мнению К. Виттфогеля и Фэн Цзяшена (Wittfogel, Feng, 1949: 191), это, возможно, объясняется тем, что официальный статус этих линиджей был намного выше, чем у “просто” титулованной кочевой аристократии.

** Между тем источники свидетельствуют, что у киданей “знатные носят соболиные шубы. Особенно высоко ценятся темно-красный соболь, а затем соболь сероватого цвета. Используют горностаю” (Е Лунли, 1979: 316). Незнатные же “украшают головной убор мехом соболя, а шубы шьют из лисьего меха” (там же). Судя по всему, в данном контексте “овчинный тулуп” — преддел бедности.

благами своих подданных и с другой — от мощи военной державы, чтобы совершать военные кампании и вымогать “подарки” от своих соседей. Елюй Абаоцзи после узурпации престола в 907 г. обратил внимание на богатства своих восточных и южных соседей. И результат не замедлил сказаться — первым пало государство Бохай. Окрыленные успехом, кидани стали проявлять интерес к Северному Китаю.

Данничество и вымогаемые от китайских государств “подарки” приносили огромную прибыль. У Китая в основном вымогали шелк и денежные субсидии. Так, например, после подписания мирного договора в 1005 г. сунская династия согласилась выплачивать ежегодно Ляо 100 тыс. монет серебра и 200 тыс. кусков шелка. После новой военной кампании 1042 г. выплаты были увеличены до 200 тыс. монет и до 300 тыс. кусков шелка (Е Лунли, 1979: 63, 69, 148; Franke, 1990: 408–409 и многие др.). Длительное время эти доходы составляли основу бюджета престижной экономики империи. С варварских народов дань взималась лошадьми, мехами, охотничьими соколами, жемчугом, рыбой и пр. (Wittfogel, Feng, 1949: 93, 100, 120, 127; Е Лунли, 1979: 294–299; Ивлиев, 1988: 10–11). Дань собиралась с завидной регулярностью. Так, например, с начала X по начало XII в. с чжурчжэней она взималась 69 раз, с тели — 43 раза, с ую — 18 раз (Воробьев, 1975).

По мере расширения своей империи за счет Северного Китая у киданей возникла необходимость управления захваченными земледельческими территориями. Формирование основ административного аппарата относится уже к начальным годам существования империи, когда основатель династии Абаоцзи “на службе стал широко использовать китайцев. Китайцы научили его, и он, чтобы заменить значки, вырезавшиеся на дереве, составил несколько тысяч иероглифов... Кроме того, он установил правила для бракосочетания, названия для должностей чиновников” (Е Лунли, 1979: 311). Это было обусловлено тем, что включение в состав империи значительных земледельческих территорий требовало создания более сложного управленческого механизма. Традиционные догосударственные институты управления конфедерации “восьми племен” киданей не были приспособлены для управления сложной экономикой земле-

дельческой цивилизации с многочисленными городами. По существу, органы управления империи должны соответствовать внутренней экономической и социальной инфраструктуре, иначе неизбежен кризис системы управления, а затем и всей империи в целом.

Данную проблему завоеватели могли решить двумя способами:

1) “упрощением” завоеванного общества, чтобы оно соответствовало менее развитым экономическим и политическим институтам победителей — иными словами, уничтожением городов, земледельческого населения, превращением полей в пастбища для скота; 2) усложнением собственных органов управления, требующих оседания императорского двора в городах или создания комплекса столичных городов (система “пяти столиц”), между которыми можно было бы циркулировать с контрольно-ревизорскими целями, созданием бюрократического аппарата, введением письменности и делопроизводства по китайскому образцу.

Абаоцзи и его наследники выбрали второй вариант, что привело к созданию в 947 г. дуальной системы администрации, разделенной на северную и южную части. Вот как описывают ее нарративные источники: “Из учреждений имеются киданьское управление важнейших секретных дел и управление главноначальствующего походными дворцами. Эти учреждения называются Северными, так как они стоят к северу от юрты императора. Ведают делами, связанными с варварами. Имеются также китайское управление важнейших секретных дел, управление дворцового секретариата и управление главноначальствующего походными ставками. Эти учреждения называются Южными, так как стоят к югу от юрты императора. Ведают делами, связанными с китайцами” (Е Лунли, 1979: 314; Wittfogel, Feng, 1949: 473).

Северная администрация считалась по рангу выше Южной, хотя как по численности аппарата, так и по квалификации бюрократии уступала последней. Северная администрация возглавлялась “северным канцлером” (там же, 250), который, как правило, назначался из представителей кланов Елюй и Сяо. В его компетенцию входили важнейшие государственные дела, например, контроль за армией, наблюдение за госсектором скотоводческого хозяйства, участие в выработке важнейших политических решений

В источниках перечисляется большое количество различных чинов и званий, установленных для кочевой аристократии: “начальник дворцового секретариата”, “начальник политических дел”, “председатель верховного военного совета”, “начальник посольского приказа”, “начальник управления конюшен быстроногих лошадей”, командующий императорской гвардией, прочие титулы военачальников, сокольничие, ключники и т. д. (Е Лунли, 1979: 43, 51, 55, 67, 116, 133, 149, 177, 180, 249, 250, 272, 314, 440, 449, 461, 465 и др.). О наиболее важных постах в “Истории государства киданей” можно прочитать следующее: “Должность тииня соответствует начальнику приказа по делам императорского рода, илиби соответствует участвующему в управлении политическими делами, линья соответствует ученому из числа выдающихся литераторов, илицзинь соответствует правителю области. Большинство чиновников при дворе и вне его назначаются по образцу Китая, а среди помогающих им чиновников есть чанши, мугу, синугу и тунугу” (там же, 314).

К верхним звеньям аристократии киданьских “великих племен” относились титулы левого и правого великого правителя (*да ван*), левого и правого “великого наставника” (*тайши*), левого и правого командующего (*тайвэй*) (Думан, 1955: 31). Нетрудно заметить, что структурно они схожи с крыльевой системой других кочевых империй (Трепавлов, 1993). Упоминаются также титулы киданьской кочевой аристократии, присваиваемые императорским двором: *юйюэ*, *тиинь*, *сяньвэнь*, *мэйлао* (Е Лунли, 1979: 314, 348, 368, 377, 419, прим. 18).

Более мелкие структурные подразделения (племена) возглавлялись традиционными вождями — *илицзинями*. “Ляо ши” свидетельствует, что в компетенцию илицзиня входили военные функции — “крупный чиновник, командующий войсками и лошадьми”, а также судебно-медиативные обязанности — “когда каганом стал Цзу-у, то он, зная о мудрости родственника императорского дома Яли, поставил его илицзинем, чтобы он ведал наказаниями” (Е Лунли, 1979: 345). Источники также сообщают, что илицзинь был полноправным правителем на находившейся в его ведении территории (там же, 346). Появившаяся с 648 г. у киданей китайская должность *цыши* через некоторое время была приравнена к

илицзиню: по сути дела цыши — это начальник какой-либо области (там же, 314, 346, прим. 3–4).

В целом представляется возможным говорить о существовании у киданей развитого сословного неравенства, довольно разнородной многоуровневой прослойки кочевой аристократии, вождей, предводителей разных рангов. Киданьская аристократия обладала значительным богатством, так как постоянные войны и взимание дани обеспечивали приток большого количества ценностей из-за границы в метрополию, а самые высшие сановники (Е Лунли, 1979: 425–426) даже имели свои многочисленные дружины. Этот социальный слой был главной опорой династии, и его представители занимали большую часть военных и гражданских постов в Северной администрации империи, а также наибольшее число ключевых должностей в Южной администрации.

О существовании определенной сословной границы между киданьской знатью (кит. *цзи*) и простыми номадами (кит. *шужэнь*) свидетельствует, в частности, и тот факт, что если представитель аристократической социальной группы совершал правонарушения, он мог быть переведен в простолюдины (Wittfogel, Feng, 1949: 193). Аристократия различных рангов облагалась легкими налогами, была освобождена от трудовой повинности. В случае совершения преступления киданьские аристократы наказывались более мягко, чем иные категории подданных. Причем даже если их подвергали тюремному заключению, их условия жизни были более сносными и, вероятнее всего, они освобождались от рабского труда.

Необходимо также отметить наличие в киданьском обществе особой группы лиц, сопоставимых с институтом монгольских тарханов, награждаемых “железной грамотой” — по-видимому, чем-то наподобие пайцзы. Эти лица, а также их потомки в случае совершения преступления подвергались гораздо меньшему наказанию, чем другие категории населения, либо освобождались от него вообще (Е Лунли, 1979: 475, прим. 1).

Однако, несмотря на достаточно жесткую привязку статуса номада к положению его кланово-родовой группы в общей генеалогической иерархии, всегда имелись возможности для повышения своего ранга посредством военной доблести, личных за-

слуг, лояльности, породнения или инкорпорации в тот или иной аристократический клан. Существовала также должность *шели*, которую могли получить “богатые кидани, желающие обматывать голову платком”. За получение этой должности они платили 10 голов крупного рогатого скота и верблюдов, 100 голов лошадей (Е Лунли, 1979: 369, прим. 10).

Первоначально положение простых скотоводов-киданей, скорее всего, было достаточно приемлемым. Они составляли основу киданьского войска, а необходимость держать в подчинении более $\frac{4}{5}$ населения империи вынуждала верхушку кочевников ограничивать притеснение своих соплеменников.

В соответствии с иерархическим принципом организации степного общества номады были разбиты на подразделения по десятичному принципу (Е Лунли, 1979: 511–513). При этом обычно только часть кочевников была задействована в военных акциях, а “остальные воины всегда оставались на месте в качестве основы племени” (там же, 426). Племена, бывшие до воцарения Абаоцзи автономными и независимыми потестарными образованиями, стали в период империи главными административными единицами. В их обязанности вменялись следующие функции.

Во-первых, военная. Племенное ополчение входило в состав войсковой организации наряду с профессиональными армейскими подразделениями императора и ряда крупных аристократов, дружинами вассальных народов. Не случайно, видимо, в одном из источников упоминается, что знамя является отличительным атрибутом племени (Е Лунли, 1979: 527).

Во-вторых, племена являлись основными административно-политическими единицами северной части страны. Каждое племя имело свою определенную территорию кочевания. У каждого племени была своя организация управления, возглавлявшаяся традиционным вождем (*илицзинем*). Титул племенного вождя передавался по наследству (Е Лунли, 1979: 246). С течением времени, по мере развития процессов китазации, начинается давление на племена кочевников. Традиционные территории кочевания стали ограничиваться и урезаться имперским правительством. Иногда племена переводили со своих традиционных пастбищ на новые земли (Симада Масао, 1952: 302).

В-третьих, племена стали фискально-податными единицами империи. По мере взаимодействия степной “метрополии” и завоеванных оседло-земледельческих территорий усилилось социальное расслоение среди номадов. Если во время войны и бедные, и простые, и знатные кочевники, и полукочевники имели право на долю добычи, то когда над покоренными земледельцами были установлены твердые налоги, стали обогащаться только элита и ее окружение.

Для “даннических” и “завоевательных” кочевых империй характерно постепенное формирование и развитие налогообложения не только покоренных земледельцев, но и номадов из числа завоевателей. Нарративные источники позволяют выделить несколько способов эксплуатации простых номадов. Их обязывали участвовать в военных походах и облавных охотах, платить подушный налог со взрослых, налог со скота, снабжать армию лошадьми, обеспечивать перевозку зерна, доставлять почтовые сообщения. По мере вытеснения племен с лучших пастбищных территорий номады разорялись и становились работниками в государственном скотоводческом секторе (*Wittfogel, Feng, 1949: 565–566; Думан, 1955: 23–24; Симада Масао, 1952: 301–302*).

Притеснения номадов вызывали уклонение от уплаты податей, бегство с облавных охот, требования отмены налогов и несправедливых законодательных актов (*Думан, 1955: 24*). Неспokoйные кочевники со временем становились обузой для имперского правительствa, и оно начало постепенно переселять их в маргинальные зоны, на территории традиционного земледелия. Кочевникам предоставлялись льготные условия хозяйствования. Они частично оседали, частично переселялись на окраины империи, что должно было по замыслу инициаторов данной политики обезопасить границы страны. Проводимые мероприятия преследовали своей целью укрепление финансовой системы династии, поскольку для государства было намного выгоднее взимать налоги с земледельцев, чем безуспешно пытаться обуздать гордых кочевников (*Симада Масао, 1952: 301–314*). По всей видимости, эта тенденция все-таки не успела получить значительного распространения. Пока империя сохраняла полиэтничный характер, простые номады состав-

ляли основу военной машины, с помощью которой элита держала в подчинении земледельческое население страны. Следовательно, социальный статус рядовых кочевников оставался выше, чем у завоеванных народов.

Южная администрация структурно копировала бюрократическую систему империи Тан (*Попова, 1999*) и состояла из чиновников-китайцев. Однако все высшие должности были у завоевателей киданей. Вплоть до 1114 г. китайцы не имели права принимать участие в обсуждении важнейших государственных дел (*Е Лунли, 1979: 178*). Согласно “Цидань го чжи”, до указанного времени только восемь китайцев были назначены на высшие должности в империи (там же, 280–281). Только сокрушительные поражения от чжурчженей заставили киданей доверять китайским бюрократам. Тем не менее пост “южного канцлера”, возглавлявшего всю китайскую часть управленческого аппарата, всегда занимали кидани (*Wittfogel, Feng, 1949: 449–450*).

Среди важнейших составных частей Южной администрации упоминаются институты “трех наставников”, “трех князей-советников”, различные советники с подчиненными им департаментами, цензорат, Академия наук, департамент государственной историографии, а также шесть важнейших министерств: 1) чинов; 2) наказаний; 3) налогов; 4) религиозных церемоний; 5) общественных работ; 6) военных дел (*Wittfogel, Feng, 1949: 440ff; Думан, 1955: 32; Кычанов, 1997*). Территория южной части страны была разделена на округа (*дао*), префектуры (*фу*), области (*чжоу*), уезды (*сянь*). На каждом уровне иерархии существовал свой управленческий аппарат. Кроме центральных, региональных и местных органов власти имелись административные органы пяти столиц империи (*Wittfogel, Feng, 1949: 446ff*). Назначение генерал-губернаторов областей империи производилось в Центральной администрации южных территорий, а всех должностей в области — генерал-губернатором (*Е Лунли, 1979: 491*).

В отличие от других средневековых обществ китайская цивилизация характеризовалась высокой вертикальной мобильностью. Это было связано с существованием в Китае системы экзаменов на должность. Данная система была перенята киданями и с 988 г.

введена в Ляо. Согласно установленным правилам, раз в три года проводились экзамены в волостях, областях и при управлении государственной канцелярии. Те, кто выдержал экзамены в волостях, назывались *сяньцзянь*, в области — *фуцзе*, в управлении государственной канцелярии — *цзиньши* (Wittfogel, Feng, 1949: 451–456).

Помимо официальных каналов повышения своего статуса существовала возможность достижения более высокого положения за счет личной преданности. При традиционном господстве это был один из наиболее часто встречающихся каналов социальной мобильности. “Всех, кто пользовался его расположением и доверием, император повышал в должности через ступени, не придерживаясь обычных правил повышения по службе” (Е Лули, 1979: 150). Были случаи, когда отдельные лица из слуг пробивались в советники и даже князья. В 981 г. император, большой любитель музыки, сделал генерал-губернаторами более 30 музыкантов (там же, 119).

Социальный статус и положение китайского чиновничества рельефно отражают суть созданной киданями многонациональной империи. Расширение государства за счет присоединяемых земель сельскохозяйственных районов требовало дополнительного привлечения услуг китайских бюрократов. Разумеется, могущество китайских аристократов и бюрократии, служивших лясскому двору, было сильно ограничено властью элиты кочевников-завоевателей, которые, передавая многочисленные рутинные управленческие дела китайцам, оставили за собой право на принятие самых ответственных решений, а также сохранили бразды политического и военного господства.

Статус и доходы, а также частные состояния китайских чиновников были намного выше, чем у рядовых китайцев, а иногда даже и представителей верхушки киданей, не говоря уже о простых кочевниках. Известно, что китайские бюрократы были освобождены от всеобщих общественных повинностей, к которым в завуалированной форме (воинская служба) привлекалось и население кочевой метрополии.

Положение китайских крестьян-общинников было, по всей видимости, несколько более стесненным из-за этнического угнетения. Источники перечисляют многочисленные формы податей и повинностей, которыми облагалось оседло-земледельческое население

империи: налог государству за пользование землей, промысловая подать, налог с жилья, налог с сельскохозяйственных орудий и др. Кроме того, китайцы привлекались к ирригационным работам, строительству городов, дворцов, административных учреждений, храмов, дорог, валов и других фортификационных сооружений (Wittfogel, Feng, 1949: 312–313).

Были случаи, когда китайских общинников переселяли на север для занятий земледелием, ремесленной и торговой деятельностью (Симада Масао, 1952: 301). Китайцы воссоздавали на новом месте традиционную социальную организацию. При этом в окружении завоевателей-номадов их эксплуатация могла осуществляться более интенсивно, хотя юридически статус переселенцев оставался идентичным положению крестьян южных областей. В других случаях, напротив, положение мигрантов могло качественно улучшиться, поскольку правительство давало переселенцам дополнительные льготы. “Так, — пишут К. Виттфогель и Фэн Цзяшэн, — выросла запутанная система личной и коллективной зависимости, полусвободы и полной свободы — системы, которая была чрезвычайно сложна в северных племенных районах и сравнительно проста в старых китайских провинциях юга” (Wittfogel, Feng, 1949: 194).

Китайское крестьянство было стратифицировано и делилось, согласно нарративным источникам, на три группы. К верхней относились наиболее богатые общинники, сельская администрация, которые использовали в своих хозяйствах труд обедневших соседей. Члены семей средней группы едва ли могли позволить себе наемный труд, но тем не менее они вели самостоятельное хозяйство. Те, кто находился ниже этой группы и относился к числу малообеспеченного крестьянства, с трудом сводили концы с концами и чаще нанимались к первой группе в работники. В случае бедствия они становились потенциальными претендентами на продажу за долги в рабство или вынуждены были бежать либо бродяжничать (там же, 154).

Свободные китайские ремесленники и торговцы занимали более привилегированное положение в сравнении с крестьянами-земледельцами (Kwanten, 1979: 96). Они составляли основную часть населения в городах юга, а также в новых городах севера, превращая

их в настоящие китайские города с многочисленными лавками и многолюдными рынками. Такое положение объясняется заинтересованностью метрополии в развитии собственного ремесла в стране и внутреннего экономического рынка. Особенно высокое экономическое положение и значительное имущественное достояние имела категория *юнь-вэй* — ростовщичество (Wittfogel, Feng, 1949: 194). Впрочем, в положении юнь-вэй была одна особенность: закон запрещал им заниматься политической деятельностью (там же, 195). Подобное явление было типичным для обществ Востока. “Здесь (т. е. на Востоке. — Н. К.) частные собственники... верно служили власти и были готовы довольствоваться тем приниженным статусом, который имели. Они не знали и не желали знать, что такое Свобода, Право, Гарантии собственности или неприкосновенности личности и т. п. Они хотели лишь одного: существовать и процветать под надежным прикрытием сильной власти, любое требование со стороны которой было для них законом. А власть со своей стороны была заинтересована в существовании частных собственников — но именно таких, какими они были. Заинтересована потому, что рыночно-частнособственнические отношения выполняли под присмотром власти те жизненно важные функции, без которых развитое общество и сильное государство просто не могли бы существовать” (Васильев, 1998: 37–38).

Все несвободное население империи Ляо можно разбить на две группы (подробнее см.: Кычанов, 1986). Первая группа (*буцзюй*) означала людей, принадлежавших частным лицам. Чаще всего *буцзюй* становились бывшие рабы или их потомки, переданные в индивидуальную собственность киданьским аристократам, сановникам или китайским чиновникам. Их заставляли обрабатывать землю, строить дома и города (Wittfogel, Feng, 1949: 194), отправляли нести пограничную службу за своих хозяев (Кычанов, 1986: 189). Вторая группа лиц несвободного населения принадлежала государству. В ней выделяется несколько различных категорий. *Гунху*, *гуньфэху*, *чжуаньху* — категории лиц, приписанных к императорским дворцам, ставкам (*ордо*) киданей (Wittfogel, Feng 1949: 55, 234, 512).

Принадлежавшие казне ремесленники хотя и не были свободными, но с ними обращались более сносно. Они, “должно быть, были ремесленниками полусвободного типа” (Wittfogel, Feng, 1949: 194; Kwanten, 1979: 96).

В самом низу социальной структуры киданьского общества находились рабы. Можно выделить следующие источники рабства у киданей (Wittfogel, Feng, 1949: 196; Думан, 1955: 26; Пиков, 1985: 32–34; Кычанов, 1986: 186): 1) внешние источники — военнопленные из разбитых киданями войск противников, обращенные в рабство в индивидуальном порядке (Wittfogel, Feng, 1949: 196, 231, 576, 583), а также жители завоеванных или подвергавшихся набегам и грабежам территорий (Материалы, 1984: 233; Е Лунли, 1979: 494 и др.); 2) внутренние источники — продажа и самопродажа в рабство за долги (Кычанов, 1986: 189) и обращение в рабство лиц, совершивших тяжкие (чаще всего антигосударственные) преступления.

Сфера применения собственно рабского труда у киданей была ограничена у частных лиц домашним хозяйством, у государства — обслуживанием императорских гробниц, дворцов, административных учреждений, монастырей. Рабов также могли приписывать к *ордо* кочевников, использовать при строительных работах, а иногда даже на службе в армии (Wittfogel, Feng, 1949: 196, 335, 569; Думан, 1955: 26–27; Пиков, 1985: 35).

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что киданьская династия Ляо лучше всего подходит под параметры второй из выделенных даннической модели. С созданием Ляо сложилась дуальная система управления, в которой Северная администрация занимала более высокое положение, а также контролировала номадов и другие северные народы (“метрополия”). Южная администрация копировала бюрократическую систему Китая, управляла оседло-земледельческими территориями. По мере того как степное “варварство” трансформировалось в “цивилизацию”, представители элиты завоевателей одевались на манер побежденных, перенимали

их этикет и письменность либо создавали свое письмо. Кидани возводили крупные города, в которых воздвигали пышные дворцы, где селились императорский двор и чиновники. С расширением территории империи за счет включения все новых земель сельскохозяйственных областей Северного Китая процесс китаизации киданьской аристократии шел все более быстрыми темпами. Она все дальше и дальше отрывалась от степных традиций. “Данническая” кочевая империя киданей постепенно трансформировалась в “завоевательную” модель, а далее, возможно, следовал прямой путь к трансформации в комплексное земледельческо-скотоводческое государство.

Насколько объективны были эти тенденции? Ответить на этот вопрос можно только рассматривая историю киданей в более широком региональном контексте. Одна из первых версий принадлежит К. Виттфогелю. Он разработал ее в процессе совместной работы с Фэн Цзяшеном над фундаментальной книгой о династии Ляо (*Wittfogel, Feng, 1949*). Виттфогель рассматривал двухтысячелетнюю историю Китая с точки зрения теории аккультурации — как результат взаимодействия коренного ханьского этноса и различных “завоевательных” династий. Он считал, что итогом такого взаимодействия было образование некоей новой культурной формы, что выразилось, в частности, у киданей в создании собственной письменности, формировании отличной от китайской системы политического управления.

Сравнивая аграрные земледельческие и скотоводческие общества, Виттфогель отмечал, что при кочевом образе жизни было гораздо меньше условий для установления деспотизма. Текучесть степной экономики поддерживала диффузию и сепаратизм. Сильная власть устанавливалась только после подчинения или завоевания орошаемых земель, но и в таком случае военные неудачи или природные бедствия быстро могли ослабить пасторальный деспотизм предводителя номадов (*Wittfogel, Feng, 1949: 4, 24–25; Wittfogel, 1957: 204–207*).

По мнению ученого, можно выделить три модели такого взаимодействия: 1) при кочевых династиях Ляо (907–1125 гг.) и Юань (1206–1368 гг.) масштабы культурного взаимопроникно-

вения между номадами и земледельцами были ограничены. Таковую модель можно назвать как “сопротивляющуюся культурным изменениям” (*culturally resistant*); 2) напротив, при чжурчжэньской династии Цзинь (1115–1234 гг.) возникла ситуация, благоприятная для культурного симбиоза. Виттфогель определил ее как “поддающуюся культурным влияниям” (*culturally yielding*); 3) маньчжурская династия Цин (1644–1911 гг.) представляла некую промежуточную (*transitional*) форму (*Wittfogel, Feng, 1949: 24–25*).

К сожалению, в этой фундаментальной книге была проигнорирована роль собственно кочевых империй (хунну, тюрки, уйгуры). Виттфогель не включил в свою классификацию империи номадов, которые эксплуатировали Китай на дистанции. Впоследствии этот недостаток был исправлен в концепции японского историка Тамуры Дзиудзо (*Tamura, 1974*). В отличие от Виттфогеля Тамура включил в свою схему не только “завоевательные” династии, но и более ранние политии номадов (хунну, тюрков, уйгуров), которые взаимодействовали с Китаем на расстоянии. В то же время он указал на важные отличия между династиями Ляо и Юань. Киданьский этнос противостоял сунскому Китаю один на один. При монголах ситуация была более сложной. Помимо монголов северным и южным китайцам структурно противостояла многочисленная группа сэму — тюрко- и ираноязычных выходцев из Средней Азии.

Тамура выделил два больших цикла в истории Северной Евразии: 1) цикл древних империй кочевников засушливой зоны Внутренней Азии (II в. до н. э. — IX в. н. э.): хунну, сяньби, жужани, тюрки, уйгуры; 2) цикл средневековых завоевательных династий, происходивших из таежной (чжурчжэни, маньчжуры) или степной (кидани, монголы) зон (X — начало XX в.): Ляо, Цзинь, Юань, Цин. Общества первого цикла взаимодействовали с Китаем на расстоянии, государства второго завоевывали земледельческий юг и создавали симбиотические государственные структуры с дуальной системой управления, оригинальными формами культуры и идеологии.

Но почему сначала доминировали “типичные” кочевые империи, а потом им на смену пришли “даннические” и “завоеватель-

ные” империи? Частично ответ на этот вопрос содержится в концепции Т. Барфилда, который обнаружил, что Китай завоевывали, как правило, “маньчжурские народы”. Развал централизованной власти и в Китае, и в Степи освобождал последних от давления как со стороны кочевников, так и со стороны китайцев. Освобожденные от внешнего прессинга народы Маньчжурии создавали свои государственные образования и захватывали земледельческие области на юге. Особенно преуспели в завоеваниях кидани и чжурчжэни, которым удалось подчинить практически весь Северный Китай, и позднее — маньчжуры, покорившие всю Поднебесную (Barfield, 1992). Являлась ли подобная геополитическая расстановка сил неизбежной или у нее были исторические альтернативы, еще предстоит выяснить.

Часть IV

СОЦИАЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ ХУННУ

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАННИХ КОЧЕВНИКОВ (ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ)*

Судя по всему, первые попытки реконструкции социальной структуры по данным археологии относятся еще к рубежу XIX–XX вв. В той или иной степени социологические интерпретации погребальной обрядности были характерны в XX столетии для классической культурно-исторической археологии за рубежом. Определенный интерес к этой теме в рамках социологического марксистского направления возник и в СССР в 1920–1930-е гг. В то же время на Западе в целом было принято считать, что особенности погребального обряда более опосредованы религиозными представлениями, нежели социальными позициями усопшего. Наиболее последовательным противником использования данных по погребальной обрядности для реконструкции социальной структуры архаических обществ был А. Крёбер. Он полагал, что погребальные обряды нестабильны и вследствие этого не могут содержать адекватных данных о дифференциации изучаемого сообщества (*Kroeber, 1927 etc.*).

Принципиальным образом ситуация изменилась со второй половины 1960-х гг. после возникновения так называемой “новой” (процессуальной) археологии. Новаторскими в этом плане стали

* Данная глава подготовлена на основе авторской части 2-й главы “Методологические проблемы реконструкции социальных структур в археологии” (авторы – С. А. Васютин, А. В. Коротаев, Н. Н. Крадин, А. А. Тишкин) коллективной монографии “Социальная структура ранних кочевников Евразии” (Иркутск. 2005).

публикации Л. Бинфорда (*Binford, 1971 etc.*), а также фундаментальные исследования А. Сакса, Дж. Тэйнтера, Дж. О'Ши (*Saxe, 1970*; цит. по: *Chapman, Randsborg, 1981: 6; Tainter, 1975; 1978; O'Shea, 1981; 1984 etc.*). В этих работах подчеркивалось, что социальные позиции индивида во многом проявляются в обрядах погребения. При этом, если в группах охотников-собирателей в основном проявляются половозрастные особенности захороненных, то в обществах ранних земледельцев и скотоводов более ярко фиксируются черты, указывающие на социальные роли и статус индивидов. Последние характеристики наиболее рельефно проявляются в количестве труда, вложенного в захоронение (включая затраты на погребальную конструкцию, опущенный в могилу сопроводительный инвентарь, расходы на траурную церемонию и тризну). Этот показатель может дать представления о вертикальной структуре общества (социальной дифференциации), тогда как данные о горизонтальной структуре социума (семейно-родственные связи, возрастные группы и пр.) могут быть получены из исследования планиграфии захоронений.

В 1970–1980-е гг. идеи “новой” археологии оказали существенное влияние не только на североамериканскую, но и на западно-европейскую археологию. В этот период по обе стороны Атлантического океана были выполнены важные работы, в которых можно проследить как прямое, так и косвенное влияние процессуалистских разработок в области социологической интерпретации погребальной обрядности (*Renfrew, 1972; Randsborg, 1974; 1981; Peebles, Kus, 1977; Hodson, 1979; Goldstein, 1980; Brown, 1981; Бишони, 1994; Kristiansen, Rowlands, 1998 etc.*).

Вслед за возникновением процессуальной археологии появилось критическое направление — постпроцессуализм, сторонники которого не разделяют оптимизма в области социокультурных интерпретаций неозволюционистских археологов. Представители этой школы занимают весьма скептическую позицию относительно возможности реконструкции социальной структуры общества на основе изучения погребального обряда (*Ucko, 1969; Pader, 1982; Hodder, 1991 etc.*). Они полагают, что погребальная обрядность была более связана с религиозными воззрениями (идея, идущая от А. Крёбера), нежели чем с общественными позициями древних.

а современному человеку недоступен исходный смысл, который они вкладывали в погребальный ритуал, и, следовательно, наши выводы строятся только на собственных умозаключениях.

Однако с подобным утверждением трудно согласиться. Несомненно, мы не можем полностью реконструировать значение погребальной церемонии, но это не означает, что мы не в состоянии понять ее определенный социальный или идеологический контекст. “Выводы о социальной иерархии не зависят от наших знаний о том, какой смысл вкладывали люди в строительство этих сооружений. Чтение подтекста не требует знания о том, что означает сам текст” (*Уасон, 2003: 166*).

Другой контраргумент постпроцессуалистов основывается на скептическом утверждении, что прямая связь между погребальным ритуалом и социальным статусом захороненного отсутствует. Для подтверждения этого тезиса М. Паркер-Пирсон исследовал современные кладбища в Кембридже и установил, что корреляция между расходами на могильные изваяния и богатством индивида очень незначительна. Только члены королевской семьи, национальные герои и некоторые представители национальных меньшинств были погребены с пышными церемониями (*Parker-Pearson, 1982*). Эти исследования цитировались в свое время Я. Ходдером (*Hodder, 1991: 2*) для подтверждения своих идей по поводу того, как трудно понять человеческое поведение, основываясь на интерпретации фрагментов материальной культуры. Впоследствии Паркер-Пирсон расширил свою аргументацию посредством включения в книгу о погребальной археологии выводов собственных этноархеологических исследований на Мадагаскаре (*Parker-Pearson, 2001*), тем не менее в данном случае едва ли следует принять его способ прямых сопоставлений современных, традиционных и древних обществ.

Не вдаваясь в подробный разбор основных положений постпроцессуализма, который за несколько десятилетий критики “новой” (процессуальной) археологии так и не смог предложить стройной концептуальной альтернативы (об этом см.: *Patterson, 1990*), необходимо отметить уязвимость подобных выводов в принципе. В христианстве (это справедливо, кстати, также в отношении других мировых религий) смерть представляет собой переход индивида

в небесное царство равных, и, следовательно, идеология препятствует излишней демонстрации социальной иерархии. Впрочем, неравенство все равно проявлялось, пусть даже в других факторах — в месте погребения (кафедральный собор, Кремлевская стена, престижное кладбище и др.), в присутствии большого количества людей (в том числе и влиятельных лиц) на похоронах, в пышности церемонии (катафалк, цветы, информация в СМИ, национальный траур и т. д.). Другое дело, насколько эти отличия могут быть отражены в объектах материальной культуры. Из этнографии известно немало примеров, когда высокие социальные позиции индивида проявляются не в размерах и особых формах погребальных конструкций, а именно в пышном обряде похорон (Wason, 1994: 70, 183 etc.).

Но даже и в этом случае нет никаких оснований распространять данные по викторианской Англии на иные современные общества. Чтобы убедиться в ошибочности этого, достаточно, например, посетить любое городское кладбище на территории современной России и посмотреть, с какой роскошью погребены местные криминальные авторитеты. Невольно я вспоминаю визит П. Скальника весной 2006 г. во Владивосток и его неподдельное изумление, когда мы посетили с ним один из городских некрополей. Мы долго бродили с ним по кладбищу и удивлялись тому размаху, с которым были погребены некоторые лидеры местных мафиозных структур. Могилы партийных вождей советского времени, других влиятельных исторических персон и современных богатых людей выглядят на этом фоне более чем скромно. Что же касается архаических обществ эпохи политогенеза, то здесь постпроцессуальный критицизм представляется вообще излишним. Трудно представить, чтобы некрополь правителя какого-нибудь вождества или раннего государства был беднее, чем, например, захоронение простого крестьянина, вольноотпущенника или раба. И египетские пирамиды, и царские захоронения третьей династии Ура, и роскошные курганы скифского времени на территории Евразии демонстрируют экстраординарный для современников статус лиц, погребенных под этими пышными усыпальницами.

Л. Бинфорд специально изучал по этнографическим источникам влияние тех или иных обстоятельств на погребальную обрядность в сорока различных культурах. Исходя из его суммарных

подсчетов, оказывается, что те или иные черты погребальной обрядности были значимы в следующих случаях: место смерти — 2 раза, условия смерти — 8 раз, возраст — 11 раз, пол — 19 раз, социальное взаимодействие — 28 раз, социальные позиции — 38 раз (Binford, 1971, table IV). Таким образом, именно общественное положение человека, а не идеологические воззрения наиболее полно отражается в погребальной обрядности этноисторических народов. Мы вправе распространить этот вывод и на более ранние исторические периоды.

Вне всякого сомнения, нельзя жестко привязывать те или иные типы погребений к конкретным социальным прослойкам по причине фрагментарности нашей источниковой базы и отсутствия информации о социальной структуре изучаемого общества в целом. Однако при соблюдении определенных методических процедур можно вполне корректно судить, например, об эгалитарном или стратифицированном характере структуры исследуемого социума.

Более того, можно согласиться с мнением, что сложность социальной стратификации в известной степени может коррелировать со сложностью социальной системы. С другой стороны, с возникновением ограниченного доступа к ресурсам не могло не появиться желания закрепить подобное неравенство наследственно, что, в свою очередь, должно было сопровождаться увеличением количества рангов, различием между разными группами и усложнением социальной системы в целом (Brown, 1981: 26).

Отечественная археология эволюционировала своим путем, и теоретические дебаты между процессуалами и постпроцессуалами, проходившие на Западе, ее практически не затронули. В нашей науке в советский период ее развития особое внимание уделялось социологическим построениям (даже в ущерб иной проблематике). При этом интерпретации социальной структуры архаических обществ производились с точки зрения формационной теории, марксистско-ленинского учения о классах и государстве. Однако методические разработки в американском неэволюционизме теорией “среднего уровня” оказались востребованными среди отечественных археологов. Для большинства авторов, не имевших доступа к зарубежной литературе, это оказалось возможным благодаря фундаментальной работе В. М. Массона (1976). Помимо этого в

1970–1990-е гг. в советской и современной постсоветской науке также было опубликовано значительное число интересных обзорных и теоретических исследований, посвященных методике анализа социальной структуры по данным археологии (Грач, 1975; Добролюбский, 1982; Бунятян, 1985; Алекшин, 1986; Генинг и др., 1990; Гуляев, 1990; Афанасьев, 1993а; 1993б; Васютин, 1998; Харке, Савенко, 2000; 2000а; Берсенева, 2005 и др.).

Кроме этого к настоящему времени в отечественной археологии накоплен большой опыт конкретно-исторических исследований социальной структуры обществ кочевников-скотоводов (Добролюбский, 1978; Грач, 1980; Курочкин, 1980; Генинг, 1984; Бунятян, 1985; Акишев, 1986; Бойко, 1986; Савенко, 1989; Медведев, 1999; Матвеева, 2000; Тишкин, Дашковский, 2003; Шарапова, Берсенева, 2006 и многие др.).

Все это позволяет сформулировать ряд основных теоретических допущений, которые дают возможность создать методологические основы реконструкции социальной структуры ранних кочевников евразийских степей. Главное из них может быть охарактеризовано как энергетическая теория власти. Еще Б. Рассел отмечал, что для социальных наук понятие “власть” имеет столь же фундаментальное значение, что и понятие “энергия” для физики (Russel, 1938). Л. Уайт показал, что вся история человеческой культуры есть процесс расширения объемов и источников используемой людьми энергии (2004). Р. Адамс применил данные идеи к институтам общественной иерархии и власти (Adams, 1975), оговаривая при этом, что власть имеет не физическую, а культурную и психологическую природу. По Адамсу, любое стабильное человеческое сообщество является открытой энергетической системой, которая обменивается энергией с внешней средой и преобразует эту энергию. Любая система стремится к уменьшению внутренней энтропии. Концентрация власти и введение иерархии способствуют лучшей адаптации, уменьшают энергетические потери.

Начиная с появления вождеств, контроль над энергией принимает иерархически централизованный, отделенный от широких масс характер. Для закрепления данных принципов общественной структуры используются механизмы сакрализации правителя, передачи власти по наследству, ограничения доступа к управлению

на основе эндогамии. Далее, по мере усовершенствования средств контроля энергетических потоков, расширяются объемы и способы воздействия власти.

Исходя из этих идей, величина власти обусловлена масштабом контроля над источниками энергии (продуктивные ресурсы, военная добыча, товарооборот и др.), накопителями энергии (склады, у номадов — стада, сокровищницы и пр.) и контролем над перераспределением энергетических потоков. Следовательно, чем выше был статус индивида, тем более пышным являлся опущенный с ним в могилу инвентарь (одежда, украшения, оружие, предметы быта, пища и т. д.). Однако очень многие так называемые “царские” погребения древних цивилизаций и культур ограблены. По этой причине можно согласиться с теми исследователями, которые полагают, что такой критерий, как количество энергозатрат при возведении погребальных сооружений, как правило, коррелируется с рангом умершего, объемом его власти при жизни и может быть применим для реконструкции социальной структуры архаического общества (Binford, 1971; Tainter, 1975; 1978; Масон, 1976: 169; Добролюбский, 1978: 113–114; Кореняко, 1979: 7; Brown, 1981: 28–29; Gibson, 1984: 166; Бунятян, 1985: 72–73; Генинг и др. 1990: 191, 193–194; Афанасьев, 1993а: 5; Матвеева, 2000: 7, 195; Уасон, 2003: 166 и др.).

Необходимо иметь в виду, что процедура конкретной социологической интерпретации погребальной обрядности должна быть достаточно гибкой и основываться не только на определенной теоретической концепции, но и на способах интерпретации следов социального поведения, отмеченных в археологических находках (Brown, 1981: 26). При этом можно избрать несколько разных способов исчисления трудовых затрат (Бишони, 1994: 154–155). Наиболее часто исследователи идут по пути выделения нескольких типов погребений, отличающихся размерами, формой и сопроводительным инвентарем. Нередко для этого используется факторный и/или кластерный анализ (Hodson, 1970; Tainter, 1975; Milisauskas, 1978; Бунятян, 1985; Афанасьев, 1993а; Матвеева, 2000; Тишкин, Дашковский, 2003 и др.).

В другом случае можно использовать так называемые кривые богатства, основывающиеся на количестве значимых и престижных

предметов в захоронении (Hodson, 1979; Гей, 1993; Бернабей, и др. 1994; Медведев, 1999: 118–128; 2004 и др.), или выявить редкие и/или получаемые издалека предметы (Brown, 1981: 30, 34, 36; Wason, 1994). В третьих случаях можно оценить богатства в пересчете на драгоценные металлы и определить их реальную стоимость на период совершения погребения (Ransborg, 1974; Гаврилюк, 2000).

В этой связи уместно задать вопрос: что являлось “богатством” и что не представляло особой ценности для исследуемого общества? В современном смысле богатство рассматривается как следствие имущественного неравенства. Оно является основанием экономической стратификации и понимается как совокупность различных материальных активов, включая доходы, всевозможные формы движимого и недвижимого имущества (Kottak, 1997: 276).

Несмотря на то, что это определение было взято из учебника по антропологии, представляется сомнительным распространять его на архаические культуры, в которых экономика имела престижный характер и основывалась не на товарно-денежных отношениях, а на принципе дарообмена (Moss, 1996; Салинз, 1999 и др.). Далеко не всегда количественные показатели отражают реальный статус и престиж индивида в архаических обществах, поэтому при изучении погребальной обрядности вряд ли стоит основываться только на количественной стороне так называемого “богатства”. Однако как в таком случае выявить качественную составляющую неравенства?

Возможно, отчасти эту проблему можно разрешить посредством разграничения *обычных* финансов и финансов *богатства* (Earle, 2002: 192–194). Обычные финансы представляет собой аккумулируемые излишки повседневных товаров — продукции земледелия, животноводства и охоты, ремесленных изделий и т. д. Данная прибавочная продукция производится в рамках натурального хозяйства. Ее преимущества — в относительной простоте аккумуляции, она может быстро использоваться для непосредственного потребления каких-то групп или общества в целом. Недостатком является то, что подобные излишки, как правило, трудно хранить продолжительное время и сложно транспортировать на длительные расстояния.

Финансы богатства представляет собой совокупность предметов, которые обычно не имеют утилитарного значения (ценные вещи, изделия из благородных металлов, драгоценности, первобытные деньги и др.) и могут служить в качестве оплаты. Они могут быть получены посредством редистрибуции, внешнего обмена или же созданы трудом ремесленников, обеспечивающих потребности элиты. Нередко финансы богатства используются как оплата различным чиновникам и должностным лицам. Их очевидные преимущества — возможность длительного хранения и перемещения даже на большие расстояния. Недостаток их в том, что они не предназначены для непосредственного потребления или использования и должны быть конвертированы в необходимые продукты.

Как данное разделение фиксируется в археологических материалах? С одной стороны, скорее всего следует обратить внимание на редкие предметы, получаемые издалека. Во многих обществах именно контроль за внешним обменом служил важным каналом усиления власти тех, кто осуществлял его над торговлей. С другой стороны, возможно, определенное понимание в этом может дать сравнительное изучение комплекса артефактов из захоронений и синхронных им поселений. Утилитарные артефакты, часто встречающиеся при раскопках мест поселений архаического человека, как правило, не могут служить символическим показателем высокого социального ранга усопшего. Наконец, представляется важным разграничивать символы собственно “богатства” и символы “власти”. Далеко не всегда предметы, которые могли бы указывать на высокий имущественный и/или социальный статус погребенного, могут свидетельствовать о его властных полномочиях (Brown, 1981: 30, 36; Chapman, Randsborg, 1981: 9; Renfrew, 1984: 24).

Обычно вслед за М. Вебером принято понимать власть как способность навязывать свою волю другим, даже вопреки их сопротивлению (Weber, 1922: 28; Fried, 1967: 13; Mann, 1986: 6; Куббель, 1988: 28–29). Следовательно, символы власти — это особые предметы, которые указывают на политический статус его владельца. Символика власти многообразна. Она появляется еще в эгалитарных и ранжированных обществах, где имеет ярко выраженный половозрастной характер (пищевые табу, право на получение имени, татуировку, ношение оружия и т. д. только после ини-

циации). В сложных или комплексных обществах (т. е. вождествах, государственных образованиях и их аналогах) символика приобретает несколько иное значение. Она подчеркивает вертикальные связи. Людям приходится вступать в отношения с незнакомцами, и поэтому символы должны безошибочно указывать на социальную роль индивида (вождь и общинник, свободный и раб, рыцарь и крестьянин).

Королевская власть также создала свою атрибутику, в которую до сих пор включаются обязательные символы — корона, скипетр, держава и герб. Символом подчеркивания власти становится слово. Создаются особые языковые конструкции обращения к правителю — “Ваше величество”, “сир”, “государь” и пр. В так называемых “высоких” (т. е. письменных) культурах элита отличалась от масс причастностью к грамотности (если не прямо, то опосредованно через грамотеев-писцов), устная речь властвующего тиражировалась многочисленным отрядом писарей.

Из прочих символов особенное место занимают предметы, связанные с войной и военной деятельностью (мечи, копья, защитное вооружение, иконография). Важное значение в символике власти имеют животные (из семейства кошачьих, вепрь, бык, волк, змея = дракон, хищные птицы). Они изображаются на оружии, различных предметах, связанных с властью, и должны подчеркивать силу, твердость, военное могущество, агрессивность и даже жестокость этой власти (Morris, 1998).

Символика власти предполагает, что пространство должно быть организовано таким образом, чтобы подчеркивать дистанцию между правителем и всеми остальными. Структурирование территории в сложных обществах приводит к расчленению пространства на две части — “центр”, где сосредоточены носители власти и ее влияние максимально, и “периферийные” участки, на которых воздействие власти по мере ее удаления убывает. Пространственные оппозиции фиксируются на всех уровнях: не только страна делится на столицу и провинции, но и столичный город — на центр, где находится резиденция правителя (замок, кремль, дворец), и обычные районы (посад). Во дворце выделяется тронный зал, в тронном зале — трон. Трон, в свою очередь, обязательно устанавливается в таком месте, которое максимально удалено от входа и, как правило, находится на некотором возвышении.

Это согласуется с давними разработками археологов, пришедших к выводу, что экономическая и политическая власть фиксируется в специфических культурных символах, которые могут быть отражены в археологических данных (особенно в иконографии, монументальном строительстве и архитектурной планировке) (Marcus, 1974; Renfrew, 1984; Abrams, 1989; Earle, 1991; Wason, 1994).

Монументальные сооружения создают специфическое священное пространство, которое символизирует божественный, сверхъестественный статус земной власти (применительно к ранним кочевникам это так называемые элитные курганы со всей их атрибутикой). Фокусируя ландшафт “на себя”, воплощая максимальную сакральность социума, монументальные памятники как бы представляют в опредмеченной форме реальный политический контроль и права собственности на значимые ресурсы (Bourdeieu, 1977).

В этом плане представляется важным связать весьма плодотворную идею А. Саутхолла о символическо-ритуальной монополии элиты на воображаемые средства производства (Southall, 1991) с попытками персонификации властью профанного (дворцы, замки, города), сакрального (храмы, святилища) и загробного (“царские” курганы, усыпальницы, мавзолеи, пирамиды) пространства. Монументальные дворцовые, культовые и погребальные сооружения особым образом структурируют священное пространство, которое символизирует божественный, сверхъестественный статус земной власти.

С известной долей упрощения можно выделить несколько возможных этапов роста концентрации в руках элиты “воображаемых” средств производства. По всей видимости, сначала правители изображали себя распорядителями всех общественных ресурсов (материальных, людских, интеллектуальных и пр.) в отношениях со сверхъестественными силами. Со временем такие представления были перенесены из сакральной сферы в мирскую. Вожди стали мнить себя монополистами в отношениях с главами других первобытных и архаических обществ. Затем они сочли себя верховными собственниками простых общинников. И, наконец, стали предпринимать попытки обратить “воображаемую” собственность в реальные приобретения.

Еще одним важным аспектом исследования социальной структуры архаических обществ является половозрастной анализ. При этом анализ погребений и останков захороненных по полу и возрасту должен предшествовать процедуре выделения социальных рангов. Это обусловлено неравным статусом в обществе мужчин и женщин (что должно отражаться в погребальной обрядности), а также существованием в архаическом обществе процедур специфических инициаций, без прохождения которых переход в иной, более значимый возрастной социальный статус не представлялся возможным.

Ярким свидетельством этого является, например, знаменитое описание Геродотом (IV, 64, 66) скифских обычаев: "Скиф пьет кровь первого убитого им врага, а головы всех убитых им в сражении относит к царю, потому что принесший голову получает долю захваченной добычи, а не принесший не получает... Ежегодно по разу каждый начальник в своей области приготавливает кратер (лохань) вина, из которого пьют только те скифы, которые умертвили врагов; те, которым не удалось этого сделать, не вкушают этого вина и как обесчещенные садятся отдельно; это для них величайший позор. Напротив, те из них, которым удалось убить очень много врагов, получают по два ковша и пьют из обоих разом". Некоторые намеки на существование аналогичных обычаев у хунну можно найти в цитате из "Ши цзи": "Гот, кто в сражении отрубил голову неприятелю или возьмет его в плен, жалуется одним кубком вина, ему же отдают и захваченную добычу" (Лидай, 1958: 18; Бичурин, 1950а: 50; Материалы, 1968: 41).

Вышеуказанные стороны общественной жизни архаических и традиционных обществ давно зафиксированы многочисленными этнографическими исследованиями (Задыхина, 1951; Грачева, 1975; Артемова, 1991; 2004; Derevenski, 1997 и многие др.). Недоучет этого важного фактора может привести к существенным искажениям результатов, поскольку, например, женщина, имеющая сопоставимый с мужчиной статус (жена, сестра и пр.), могла быть захоронена с меньшей пышностью.

Для того чтобы избежать подобных ошибок при последующей интерпретации, необходимо учесть имеющийся опыт выявления половозрастных групп по данным археологии (Binford, 1971: 13–15.

Грач, 1980: 50–59; Пустовалов, Черных, 1982; Бунятян, 1985: 59–72; Кислый, 1985; Колесников, 1985; Алекшин, 1986: 17–48; Генинг, и др., 1990: 137–149; Афанасьев, 1993а: 20–27, 34–40; Матвеева, 2000; Берсенева, 2005; Шарапова, Берсенева, 2006 и др.). Как правило, отличия между взрослыми и детскими захоронениями (там, где их нельзя зафиксировать антропологически) фиксируются в размерах могилы или гроба, величине скелета, аксессуаров одежды, наличии игрушек, мелких изделий и пр.

Отличия между мужскими и женскими погребениями отражаются в специфике разделения труда и, следовательно, сопроводительного инвентаря. Применительно к кочевникам Евразии следует отметить, что у номадов также наблюдалась известная специализация мужской (война, выпас скота) и женской (домашнее хозяйство) деятельности. Однако с археологической точки зрения такое разделение, возможно, не будет фиксироваться столь очевидно, поскольку, когда мужчины были заняты грабежами или войной, скот пасли подростки или женщины, а последние у ряда кочевых народов нередко принимали участие в боевых действиях.

Далеко не всегда есть возможность прямого физико-антропологического определения пола захороненных. В этом случае, прежде чем приступать к изучению всего массива данных, имеет смысл попытаться выявить значимые факторы для мужских и женских погребений только на исследуемом материале. Это даст возможность определить в ряде случаев пол захороненных, основываясь на особенностях погребальных конструкций или сопроводительного инвентаря.

Надо отметить, что археологические материалы в целом и конкретно погребальная обрядность могут служить источником для получения информации о социальной дифференциации в исследуемом обществе. В наиболее обобщенном виде данная процедура представлена следующим образом:

1. Выделение особенностей погребального обряда, составление списка признаков, ввод информации в компьютерную базу данных для последующей обработки с помощью специализированных статистических программ.
2. Выявление факторов, значимых для возрастного деления совокупности.

3. Разделение совокупности на взрослые и детские погребения.
4. Выявление факторов, значимых для полового деления массива взрослых погребений.
5. Разделение совокупности на мужские и женские погребения.
6. Изучение отличий в погребальном обряде в пределах однородных половозрастных групп посредством кластерного анализа.
7. Выявление существенных факторов, связывающих те или иные внутригрупповые кластеры с различными категориями сопроводительного инвентаря.
8. Интерпретация результатов.

В последующих двух главах книги показано на примере хунну Забайкалья, как данные методологические принципы могут быть использованы в конкретно-исторических исследованиях.

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ ИВОЛГИНСКОГО ГОРОДИЩА*

Иволгинское городище является наиболее изученным памятником хуннской археологической культуры на территории Российской Федерации. Оно расположено примерно в 7 км к югу от г. Улан-Удэ. По форме городище представляет собой неправильный прямоугольник со сторонами примерно 200 на 300 м. С трех сторон городище было защищено фортификационными сооружениями (4 вала и 3 рва между ними), с четвертой примыкало к реке.

Городище было открыто в 1926 г. В. В. Поповым. В разные годы его исследовали Г. П. Сосновский, А. П. Окладников, В. И. Шилов, А. В. Давыдова, С. С. Миняев, В. И. Ташак. Однако наибольший вклад в изучение памятника внесла А. В. Давыдова. В течение 12 полевых сезонов, с 1949 по 1974 г., под ее руководством были осуществлены крупномасштабные раскопки на городище. В ходе археологических работ было вскрыто около 1/10 части общей площади памятника, исследовано более 50 жилищ, а также много хозяйственных и прочих сооружений. Кроме этого в 1955–1956 и 1958–1959 гг. А. А. Давыдовой был исследован синхронный городищу могильник, в котором ученые обнаружили 216 захоронений жителей городища. Материалы данных раскопок опубликованы практически полностью (Давыдова, 1985; 1995;

* Социальная структура населения Иволгинского городища // Актуальные проблемы дальневосточной археологии (Труды ИИАЭ ДВО РАН. Т. XI). Владивосток: Дальнаука, 2002. С. 235–263.

1996), что дает возможность не только решать специфические археологические проблемы (классификация и типология инвентаря, вопросы хронологии и датировки, культурная принадлежность и т. д.), но и реконструировать различные стороны хозяйственной, социальной и духовной жизни.

В этой связи немаловажное значение имеют вопросы: какое место занимали оседлые населенные пункты в структуре Хуннской империи и каков был статус их населения? Мнения специалистов на этот счет существенно расходятся. Одни полагают, что хунну не были "чистыми" кочевниками, а представляли полукочевой этнос. По мнению других авторов, городища заселялись в основном иммигрантами или пленниками из оседло-земледельческих обществ.

Исследование хозяйства населения городища показало, что его жители занимались земледелием, оседлым животноводством и ремеслом, обеспечивали кочевников-скотоводов результатами своей деятельности. По всей видимости, это были не хунну, а иные этнические группы, чей быт и хозяйство традиционно связывались с оседлым образом жизни (Крадин, 1999).

Проблема социального строя населения Иволгинского городища была рассмотрена в работах А. В. Давыдовой (1982; 1985: 30–34; 1996: 26–30). На основе различий в погребальном обряде неразграбленных захоронений она выделила пять социальных групп у мужчин и четыре группы у женщин.

В настоящей работе делается попытка снова обратиться к данной проблеме, но с учетом, во-первых, более расширенной источниковой базы (кроме материалов Иволгинского могильника использованы также материалы из раскопок городища) и, во-вторых, с привлечением современных компьютерных методов исследования. Предварительные результаты этой публикации были включены в текст диссертации автора (Крадин, 1999) и апробированы в ряде научных докладов.

Методология и методика исследования

В социологии **социальная структура** в самом широком смысле понимается как "каркас", "скелет" общества, обеспечивающий гармоничное сочетание всех его частей, которые составляют единое

целое. Социальную структуру обычно описывают либо в рамках функционалистской методологии — как совокупность функционально важных, значимых для общества позиций и институтов, либо в категориях социального неравенства — как совокупность иерархических общественных связей, отражающих положение отдельных индивидов и групп) (Сорокин, 1990; Мертон, 1992; Фролова, 1995; Волков, Мостовая, 1998; Парсонс, 1998; Смелзер, 1998 и др.).

Нельзя сказать, что данные подходы взаимоисключают друг друга. Скорее, в соответствии с принципом "дополнительности" Н. Бора они лишь отражают разные стороны одной и той же реальности. И функциональная интеграция, и неравенство одинаково важны для функционирования общества. В то же время функциональный характер деятельности с большим трудом может быть прочитан в археологических источниках (это не означает, что археологам не следует заниматься поисками в данном направлении). Поэтому вполне понятно стремление археологов обратиться к тем показателям социальной структуры исследуемого общества, которые хорошо представлены в материалах раскопок — размерам могил и надмогильных конструкций захороненных лиц, отличиям в разнообразии и количестве сопроводительного инвентаря. Все это дает возможность реконструировать социальную стратификацию исследуемого народа.

Под **социальной стратификацией** в социологии принято понимать положение людей и групп в социальном пространстве по отношению к другим индивидам и группам. Согласно одной из классических дефиниций, социальная стратификация — это разделение некоей совокупности населения на отдельные группы в определенном иерархическом порядке (Сорокин, 1990: 302). Социальная стратификация отражает существующее в обществе разделение обязанностей, прав, власти и привилегий. В социологии она обычно отслеживается по таким признакам, которые поддаются измерению и корректному сравнению друг с другом (доход, наследственный статус, образование, профессия, вероисповедание, возраст, пол и т. д.). Есть подобные признаки и в археологических материалах. Однако археологический источник — это особая категория, требующая определенной исследовательской методики. Для того чтобы перевести зашифрованную в нем информацию в репрезентативные

для социологического анализа данные, необходимы специальные методические процедуры.

В настоящее время существуют различные методики анализа социальной структуры по данным археологии (Массон, 1976; Бунятян, 1981; 1982; 1985; Добролюбский, 1982; Алекшин, 1986; Генинг и др., 1990; Афанасьев, 1993а; 1993б; Мошкова, 1994; 1997; Васютин, 1998 и др.). Все это дает надежную базу для проведения аналогичных исследований на материале погребальных памятников хуннской археологической культуры.

Конкретная методика исследования предполагает необходимость целого ряда последовательных операций. На первом этапе проводится собственно археологическая источниковедческая процедура создания матрицы формализованного описания. Затем производится половозрастной анализ и выявляются признаки, характерные для возрастной и гендерной дифференциации. После этого исследуются по отдельности совокупности мужских, женских и детских захоронений, выявляются признаки, значимые для тех или иных кластеров. На последнем этапе осуществляется интерпретация полученных результатов.

Для выявления признаков, значимых для тех или иных половозрастных и общественных групп, использовался факторный анализ. Данный метод позволяет обнаруживать скрытые факторы, объясняющие связи между выбранными признаками (Федоров-Давыдов, 1987: 174–180). Для вычленения социальных групп внутри однородных половозрастных групп применялся кластерный анализ. Этот метод предназначен для разбиения какого-либо множества на заданное или неизвестное число классов на основании некоторых критериев сходства-различия (Федоров-Давыдов, 1987: 180–189).

Список признаков

При составлении списка признаков был учтен имеющийся опыт отечественных исследователей в этой области (Генинг, Борзунов, 1975; Бунятян, 1981; 1985; Генинг и др., 1990; Афанасьев, 1993; Мошкова, 1994; 1997 и др.). Была разработана классификация погребального обряда хуннской археологической культуры Забай-

калья. Высшую таксономическую ступень в этой классификации занимает категория совокупностей признаков. Было выделено пять таких категорий: I. Надмогильные сооружения. II. Погребальное сооружение. III. Останки погребенных. IV. Сопроводительный инвентарь. V. Жертвенная пища.

Категории совокупностей признаков включают несколько совокупностей признаков, которые, в свою очередь, состоят из отдельных признаков. Признаки могут быть простыми (т. е. неделимыми; они либо присутствуют, либо отсутствуют) или сложными (т. е. делимыми на более дробные категории).

I. Категория “надмогильные сооружения” включает следующие совокупности признаков:

I. 1. Высота насыпи

Собственное значение (в метрах).

I. 2. Форма насыпи

1. Сложная форма (А).

2. Квадратная, прямоугольная (В).

3. Круглая, овальная (С).

4. Захоронение без насыпи (N).

I. 3. Площадь насыпи

Собственное значение (в квадратных метрах).

I. 4. Детали конструкции

1. Состав насыпи (А — земля, В — земля и камни).

2. Дромос (0 — нет, 1 — есть).

3. Сложная каменная конструкция (перегородки и пр.) (0 — нет, 1 — есть).

4. Другие детали (0 — нет, А — ровик, В — вал).

5. Перекрытие над гробом (0 — нет, У — каменное, В — бревенчатое).

I. 5. Трizza

1. Кости животных (0 — нет, 1 — мало, 2 — несколько особей).

2. Посуда (0 — нет, 1 — один сосуд, 2 — два и более).

3. Следы огня (0 — нет, 1 — мало, 2 — много).

I. 6. Количество погребений

1. Количество погребений (0 — нет, 1 — одно, 2 — два и более).

II. Категория **“погребальное сооружение”** включает следующие совокупности признаков:

II. 1. Тип погребального сооружения

2. Гроб в двойном срубе (А).

3. Гроб в срубе (В).

4. Гроб (С).

5. Гробовище из слегка подтесанных лесин (D).

6. Каменный ящик (Е).

7. Яма (F).

8. Не определено (X).

II. 2. Длина погребального сооружения

Собственное значение (в метрах).

II. 3. Ширина погребального сооружения

Собственное значение (в метрах).

II. 4. Глубина погребального сооружения

Собственное значение (в метрах).

II. 5. Детали конструкции

1. Шелковая драпировка (0 — нет, Y — есть).

2. Золотые украшения гроба (0 — нет, Y — есть).

3. Подстилка под гробом из хвойных веток и шишек (0 — нет, Y — есть).

III. Категория **“останки погребенных”** включает следующие совокупности признаков:

III. 1. Количество погребенных в могиле

Количество костяков (0 — нет, 1 — одно, 2 — два и более).

III. 2. Ориентировка

(N, NNO, NO, NOO, O, SOO, SO, SSO, S, SSW, SW, SWW, W, NWW, NW, NNW, X — сидя).

III. 3. Половозрастная характеристика

1. Мужчина (M).

2. Женщина (W).

3. Ребенок (CH).

4. Смешанное погребение — взрослый и ребенок (MCH — мужчина и ребенок, WCH — женщина и ребенок).

5. Не определено.

IV. Категория **“сопроводительный инвентарь”** включает следующие совокупности признаков:

IV. 1. Орудия труда и предметы быта

1. Нож (0 — нет, 1 — один, 2 — два и более).

2. Лопата (0 — нет, 1 — есть).

3. Котел (0 — нет, 1 — есть).

4. Прибор для добывания огня (0 — нет, 1 — есть).

5. Шилья и иголки (0 — нет, 1 — есть).

6. Палочки для еды (0 — нет, 1 — есть).

7. Ложки (0 — нет, 1 — есть).

8. Предметы одежды (0 — нет, 1 — есть).

8. 1. Шелковая одежда (0 — нет, 1 — есть).

8. 2. меховая одежда (0 — нет, 1 — есть).

8. 3. Пуговицы (0 — нет, 1 — есть).

9. Другие предметы быта (0 — нет, 1 — есть).

IV. 2. Оружие

1. Металлические наконечники стрел (0 — нет, 1 — есть).

2. Костяные наконечники стрел (0 — нет, 1 — есть).

3. Лук (0 — нет, 1 — есть).

4. Кинжал (0 — нет, 1 — есть).

5. Меч (0 — нет, 1 — есть).

6. Поножи (0 — нет, 1 — есть).

7. Копье (0 — нет, 1 — есть).

8. Топор (0 — нет, 1 — есть).

9. Шлем (0 — нет, 1 — есть).

10. Панцирь (0 — нет, 1 — есть).

IV. 3. Посуда

1. Лепные и станковые сосуды (0 — нет, 1 — один, 2 — два-три, 3 — четыре и более).

2. Лаковая (0 — нет, 1 — есть).

3. Ритуальные сосудики (0 — нет, 1 — один-два, 2 — три и более).

IV. 4. Пояс

1. Пояс с простыми бронзовыми или железными бляхами (0 — нет, 1 — есть).

2. ажурные бронзовые бляхи (0 — нет, 1 — есть).

3. Золотые, позолоченные и серебряные бляхи (0 — нет, 1 — есть).

4. Колокольчики (0 — нет, 1 — есть).

IV. 5. Сбруя

1. Удила, псалии, и другие элементы сбруи (0 — нет, 1 — один комплект, 2 — два комплекта и более).

IV. 6. Украшения

1. Бусы (0 — нет, 1 — есть).

2. Бисер (0 — нет, 1 — есть).

3. Серьги (0 — нет, 1 — есть).

4. Подвески (0 — нет, 1 — есть).

5. Браслеты, кольца (0 — нет, 1 — есть).

6. Раковины каури (0 — нет, 1 — есть).

7. Зеркала (0 — нет, 1 — есть).

8. Шелковые ткани (0 — нет, 1 — есть).

9. Монеты (0 — нет, 1 — есть).

10. "Кошелек" (0 — нет, 1 — есть).

11. Игральные кости (0 — нет, 1 — есть).

12. Фигурки (0 — нет, 1 — есть).

13. Ковры (0 — нет, 1 — есть).

IV. 7. Атрибуты власти

1. Жезл (0 — нет, 1 — есть).

V. Категория "жертвенная пища" включает следующие совокупности признаков:

V. 1. Продукты скотоводства

1. Баран (0 — нет, 1 — одно животное, 2 — два-три, 3 — четыре-десять особей, 4 — одиннадцать особей и более).

2. Корова (0 — нет, 1 — одно животное, 2 — два-три, 3 — четыре-десять особей, 4 — одиннадцать особей и более).

3. Коза (0 — нет, 1 — одно животное, 2 — два-три, 3 — четыре-десять особей, 4 — одиннадцать особей и более).

4. Лошадь (0 — нет, 1 — одно животное, 2 — два-три, 3 — четыре-десять особей, 4 — одиннадцать особей и более).

5. Свинья (0 — нет, 1 — одно животное, 2 — два-три, 3 — четыре-десять особей, 4 — одиннадцать особей и более).

6. Собака (0 — нет, 1 — одно животное, 2 — два-три, 3 — четыре-десять особей, 4 — одиннадцать особей и более).

V. 2. Продукты охоты

1. Дикие копытные животные (0 — нет, 1 — одно животное, 2 — два-три, 3 — четыре-десять особей, 4 — одиннадцать особей и более).

V. 3. Продукты рыболовства

1. Рыба (0 — нет, 1 — одна особь, 2 — две-три, 3 — четыре-десять особей, 4 — одиннадцать особей и более).

V. 4. Продукты земледелия

1. Зерна злаков (0 — нет, 1 — есть).

Для характеристики жилых сооружений населения Иволгинского городища было выделено две категории: I. Конструкция жилища; II. Сопроводительный инвентарь.

I. Категория "конструкция жилища"

I. 1. Тип жилища

(Р — полуземлянка, Д — наземное).

I. 2. Площадь жилища

Собственное значение (в метрах).

I. 3. Кан

(0 — нет, 1 — есть).

I. 4. Очаг

(0 — нет, 1 — есть).

I. 5. Дверь

(0 — нет, 1 — есть).

I. 6. Количество комнат

Собственное значение.

I. 7. Циновка

(0 — нет, 1 — есть).

II. Категория "сопроводительный инвентарь"

II. I. Земледельческий инвентарь

1. Плуг (0 — нет, 1 — есть).

2. Серп (0 — нет, 1 — есть).

3. Зерноотерка (0 — нет, 1 — есть).

II. II. Предметы вооружения

1. Латы (0 — нет, 1 — есть).

2. Лук (0 — нет, 1 — есть).

3. Металлические стрелы (0 — нет, 1 — есть).

4. Костяные стрелы (0 — нет, 1 — есть).

5. Пояс (0 — нет, 1 — есть).

II. III. Животноводство, охота и рыболовство

1. Кости животных (0 — нет, 1 — есть).

2. Рыболовные крючки (0 — нет, 1 — есть),
 3. Рыболовные грузила (0 — нет, 1 — есть).
- II. IV. Ремесленная деятельность
1. Молоток (0 — нет, 1 — есть).
 2. Долото (0 — нет, 1 — есть).
 3. Заготовки рога (0 — нет, 1 — есть).
- II. V. Предметы домашнего быта
1. Нож (0 — нет, 1 — есть).
 2. Точило, оселок (0 — нет, 1 — есть).
 3. Скребок (0 — нет, 1 — есть).
 4. Шило, игла, игольник (0 — нет, 1 — есть).
 5. Пряслице (0 — нет, 1 — есть).
 6. Шары из порфира (0 — нет, 1 — есть).
 7. Другие предметы быта (0 — нет, 1 — есть).
- II. VI. Посуда
1. Бронзовые сосуды (0 — нет, 1 — есть).
 2. Железные сосуды (0 — нет, 1 — есть).
 3. Сосуды из камня (0 — нет, 1 — есть).
 4. Керамика (количество сосудов).
- VII. Украшения и предметы культа
1. Гадательные лопатки (0 — нет, 1 — есть).
 2. Бусы (0 — нет, 1 — есть).
 3. Кольца (0 — нет, 1 — есть).
 4. Подвески (0 — нет, 1 — есть).
 5. Альчик (0 — нет, 1 — есть).
 6. Раковины каури (0 — нет, 1 — есть).
 7. Зеркало (0 — нет, 1 — есть).
 8. Накладки (0 — нет, 1 — есть).
 9. Другие украшения (0 — нет, 1 — есть).

Социальный состав Иволгинского могильника

Могильник находится в 0,8 км к северу от Иволгинского городища и включает 216 погребений, раскопанных А. В. Давыдовой в течение семи полевых сезонов, с 1956 по 1970 г. Общая вскрытая площадь 80 тыс. м². Все материалы памятника опубликованы

(Давыдова, 1996). Кроме этого в могильнике, по всей видимости, находилось еще какое-то количество погребений, которые были уничтожены в результате выборки песка с территории памятника местными жителями и грабительских раскопок 1968 г.

Методика исследования была охарактеризована выше. Первоначально из общего массива захоронений были выделены одиночные мужские, женские и детские погребения, определенные И. И. Гохманом (Давыдова, 1996: 77–81, прил. 1):

мужские: № 1, 3, 46, 46, 60, 83, 98, 102, 117, 120, 141, 152, 155, 163, 167, 189, 191, 192, 193, 196 (всего 20 погребений);

женские: № 2, 7, 8, 39, 49, 52, 74, 76, 88, 100, 119, 125, 138, 139, 159, 173, 179, 190, 195, 199, 200, 204, 206, 207, 210, 211, 212, 215 (всего 28 погребений);

детские: № 4, 9, 10, 32, 36, 38, 40, 71, 81, 94, 95, 105, 114, 121, 122, 133, 165, 176, 178, 188, 201, 205, 208, 216 (всего 24 погребения).

Исследование конструктивных особенностей погребального обряда взрослых и детских захоронений показало, что для мужских и женских погребений характерно схожее распределение по типам погребальных сооружений (преобладание захоронения в срубе, определенное распространение погребений в яме и незначительное число погребений в гробовище). Детские захоронения гораздо чаще встречались в простых ямах, кроме этого были также детские погребения в сосуде.

Оказалось, что длина мужских погребальных сооружений была не меньше 2 м, тогда как женские погребения совершались в яме меньшей длины (до 1,6 м). Длина более 50% детских погребений была меньше 1,6 м и редко больше 1,8 м. Средняя длина мужских захоронений была на 20–40 см больше женских погребений.

Ширина большинства мужских захоронений укладывалась в пределах 0,6–1 м, не было зафиксировано ни одного мужского погребения шириной менее 0,4 м. Средняя ширина женских погребений была несколько меньше. Кроме того, не было зафиксировано женских захоронений более 2 м, из чего можно предположить, что все могилы длиной 2 м и более — мужские. Ширина детских погребений равнялась в основном 0,4–0,7 м, впрочем, встречались и захоронения меньшего размера.

Распределение ориентации мужских и женских костяков примерно совпадало (большинство ориентированы на NNO, гораздо реже строго на N, в целом меньше с южной ориентацией с отклонениями на W и O; правда, оказалось мало женских погребений, ориентированных на NO). Среди детских отмечены погребения, ориентированные на SW.

Для получения дополнительной информации о половозрастных отличиях погребального обряда был осуществлен факторный анализ признаков сопроводительного инвентаря с целью выявления соответствующих факторных нагрузок. Для этого были составлены отдельные матрицы коэффициентов корреляции признаков совокупностей мужских, женских и детских выборов.

Для мужских погребений была составлена квадратная матрица коэффициентов корреляции между каждой парой признаков 19x19. В нее были включены признаки, которые встречались в антропологически определенных мужских захоронениях:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Нож | 11. Пояс |
| 2. Шилья | 12. Ажурные бляхи |
| 3. Пуговицы | 13. Сбруя |
| 4. Другие предметы труда и быта | 14. Бусы |
| 5. Стрелы металлические | 15. Кольца |
| 6. Стрелы костяные | 16. Кости барана |
| 7. Лук | 17. Кости коровы |
| 8. Кинжал | 18. Кости рыб |
| 9. Керамика | 19. Злаки |
| 10. Посуда лаковая | |

В результате использования метода главных компонент была получена факторная матрица, в которой проанализировано 19 переменных (десятичная логарифмическая детерминанта корреляцион-

ной матрицы — 20,477). Был выделен один фактор (собственное значение — 17,1813, доля объяснимой дисперсии 90,4%). Результаты видны из соответствующей таблицы факторных нагрузок (табл. 5). Незагруженным оказался только признак 8 (керамика), ниже других оказалась факторная нагрузка признака 1 (нож).

Для проверки полученных данных был произведен факторный анализ всех признаков (с сопроводительным инвентарем сопоставлялись размеры погребальных сооружений, ориентировка захороненных и пр.). Была составлена факторная матрица, в которой были учтены 25 переменных (десятичная логарифмическая детерминанта корреляционной матрицы — 26,108). После процедуры вращения методом варимакс было выделено два фактора. Собственное значение первого фактора 20,7753 (83,1%), второго — 1,79089 (доля объяснимой дисперсии 7,2%). Первый фактор, как и в предыдущем случае, оказался загруженным признаками 2—8, 10—19, отражающими наиболее распространенный набор инвентаря мужских погребений (табл. 8).

Таким образом, можно сделать вывод, что 17 из 19 выделенных признаков, вероятно, типичны для сопроводительного инвентаря мужских захоронений Иволгинского могильника. По всей видимости, такие признаки, как нож и керамика, оказались характерны не только для мужских погребений.

Признаки сопроводительного инвентаря женских погребений были объединены в квадратную матрицу корреляции размером 24x24 переменные:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Нож | 13. Бусы |
| 2. Котел | 14. Бисер |
| 3. Шилья | 15. Подвески |
| 4. Пуговицы | 16. Кольца |
| 5. Другие предметы труда и быта | 17. Раковины |
| 6. Стрелы металлические | 18. Монеты |
| 7. Лук | 19. Кости барана |

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 8. Керамика | 20. Кости коровы |
| 9. Посуда лаковая | 21. Кости свиньи |
| 10. Пояс | 22. Кости неопределенные |
| 11. Ажурные бляхи | 23. Кости рыб |
| 12. Сбруя | 24. Злаки |

Для анализа избран метод главных компонент. Была получена факторная матрица с 24 переменными (десятичная логарифмическая детерминанта корреляционной матрицы — 26,978). Выделенным оказался один фактор (собственное значение — 21,9204, доля объяснимой дисперсии 91,3%). Результаты видны из соответствующей таблицы факторных нагрузок (табл. 6). Незагруженным оказался лишь признак 1 (нож).

С целью проверки данного вывода был осуществлен факторный анализ всех признаков (показатели погребальных сооружений, ориентировка захороненных, сопроводительный инвентарь и т. д.). Была составлена факторная матрица, включающая 31 переменную (десятичная логарифмическая детерминанта корреляционной матрицы — 23,028). После процедуры вращения методом варимакс было выделено два фактора. Собственное значение первого фактора 26,5383 (доля объяснимой дисперсии 85,6%), второго — 1,42468 (доля объяснимой дисперсии 4,6%). Первый фактор оказался загруженным большинством признаков (исключая нож и керамику, которые, судя по анализу инвентаря мужских захоронений, широко распространены во всех совокупностях взрослых погребений), а также определил сильную связь признаков инвентаря с полом захороненных (табл. 9).

Аналогичным способом была составлена корреляционная матрица для признаков сопроводительного инвентаря детских захоронений. В нее были включены следующие признаки:

- | | |
|-------------|------------------|
| 1. Нож | 9. Ажурные бляхи |
| 2. Пуговицы | 10. Сбруя |

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 3. Другие предметы труда и быта | 11. Бусы |
| 4. Стрелы костяные | 12. Бисер |
| 5. Керамика | 13. Подвески |
| 6. Посуда бронзовая | 14. Кольца |
| 7. Посуда ритуальная | 15. Раковины |
| 8. Пояс | |

Анализ корреляционной матрицы был осуществлен методом главных компонент. В результате была получена факторная матрица, включающая 15 переменных (десятичная логарифмическая детерминанта корреляционной матрицы — 16,361). В результате был выделен один фактор (собственное значение — 13,8964, доля объяснимой дисперсии 92,6%), в котором оказались загруженными все признаки. Результаты видны из таблицы факторных нагрузок (табл. 7).

Данные были откорректированы посредством анализа другой матрицы, включающей помимо признаков сопроводительного инвентаря и иные показатели (размеры захоронений, ориентация, тип погребального сооружения и др.). Была составлена новая корреляционная матрица размером 22x22 признака. После анализа методом главных компонент и вращения полученной факторной матрицы из 22 переменных (десятичная логарифмическая детерминанта корреляционной матрицы — 22,694) было выделено два фактора. Собственное значение первого фактора 18,5595 (доля объяснимой дисперсии 84,4%), второго — 1,41600 (доля объяснимой дисперсии 6,4%). Первый фактор также оказался загруженным практически всеми признаками сопроводительного инвентаря (исключая только керамику), зафиксирована сильная корреляция признаков инвентаря с возрастом захороненных (табл. 10).

Сопоставим теперь совокупности наиболее характерных признаков мужских, женских и детских погребений. Ряд признаков встречается во всех половозрастных совокупностях захоронений (пуговицы, костяные стрелы, пояс, ажурные бляхи, сбруя, бусы, кольца). Такие признаки, как нож и керамика, очень широко рас-

пространены в погребениях могильника. В то же время имеются и определенные отличия. Так, в детских погребениях фиксируются ритуальные и бронзовые сосуды, но для них практически нехарактерно присутствие оружия и ритуальной пищи. Женские погребения больше сопровождаются украшениями (бисер, подвески, раковины, монеты), чем мужские. С такими захоронениями, как правило, связано ритуальное жертвоприношение свиньи. В мужских захоронениях, напротив, чаще встречаются предметы вооружения, не характерные для захоронений женских (например, кинжалы). В целом, судя по характеристике сопроводительного инвентаря, имеются свои специфические нюансы для каждой из половозрастных совокупностей, что позволяет в ряде случаев достаточно точно определять пол и отчасти возрастную группу захороненных.

Следующим этапом исследования стала процедура половозрастной интерпретации прочих одиночных захоронений Иволгинского могильника (122 погребения), не включенных в обозначенные выше выборки мужских, женских и детских захоронений. Дополнительно в совокупность одиночных мужских захоронений были включены погребения № 25, 28, 54, 55, 57, 58, 69, 77, 84, 96, 99, 108, 109, 112, 115, 134, 140, 151, 186, 202 (всего 20 погребений). В совокупность одиночных женских захоронений были включены погребения № 15, 17, 21, 24, 30, 31, 34, 44, 45, 51, 62, 64, 66, 68, 107, 113, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 131, 132, 137, 142, 145, 148, 153, 156, 170, 171, 172, 177, 181, 183, 184, 197, 203 (всего 39 погребений). В группу одиночных детских захоронений были включены погребения № 12, 13, 16, 50, 63, 79, 82, 90, 103, 110, 127, 130, 135, 136, 143, 144, 147, 154, 198, 213 (всего 20 погребений). Захоронения № 5, 6, 11, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 37, 41, 43, 53, 56, 59, 61, 65, 67, 70, 73, 78, 86, 87, 89, 92, 93, 104, 106, 111, 116, 118, 146, 150, 157, 160, 161, 164, 185, 187, 209 остались неопределенными (всего 43 погребения).

Далее поочередно исследовались все мужские, женские и детские погребения. Для этих целей была применена процедура кластерного анализа (в этом и во всех последующих случаях был применен метод Варда).

Для исследования совокупности мужских захоронений была создана матрица 40x40. По степени сходства все захоронения разбили на два кластера (табл. 11). В кластер 1 вошли 7 погребений

(№ 1, 28, 77, 99, 117, 167, 193). Они преимущественно совершались в гробе или гробовище, 4 из 6 захоронений сопровождались керамикой (в единственном случае были представлены шило, ритуальный сосуд, кости овцы).

Кластер 2 состоит из двух субкластеров 2А (23 погребения) и 2В (10 погребений). В свою очередь, субкластер 2А разбивается еще на два субкластера 2АА (12 погребений) и 2АВ (11 погребений). По разнообразию сопроводительного инвентаря все три субкластера гораздо ближе друг к другу, чем к кластеру 1.

В субкластер 2АА включено 12 захоронений (№ 3, 25, 55, 57, 60, 69, 83, 102, 112, 115, 140, 202); 8 из них совершены в гробе, 4 — в яме. В захоронениях представлены металлические и костяные стрелы, обкладки лука, керамика, другие (в том числе неопределенные) предметы быта, бусы, остатки рыбной заупокойной пищи. В единственном экземпляре имеются нож, кинжал, кости различных видов домашних и диких животных.

В кластер 2АВ включено 11 погребений (№ 98, 109, 120, 141, 151, 152, 155, 163, 186, 189, 192) как в гробе и гробовище, так и в простой яме без гроба. Погребения сопровождались ножами, шильями, пуговицами, другими (в том числе неопределенными) предметами быта, поясом, в том числе и с ажурными бляхами, керамикой (во всех без исключения могилах), кольцами, костями барана, злаками и рыбой. В единичном случае представлены характерные для кластера 2АА металлические наконечники стрел, лук, кинжал, кроме того, в одном случае найдены кости коровы, а также обнаружена ранее нефиксированная лаковая посуда.

Кластер 2В состоит из 10 погребений (№ 46, 48, 54, 58, 84, 96, 108, 134, 191, 196) либо в гробу, либо в простой яме. В отличие от других групп все погребения данного кластера жестко ориентированы на NNO и NO. Погребения сопровождаются ножами, шильями, пуговицами, другими предметами быта, металлическими и костяными наконечниками стрел, луком, кинжалами, керамикой, поясом, сбруей. Надо отметить, что в них отсутствует ритуальная пища. В одном экземпляре представлены кольца, монеты, игральные кости.

Интерпретируя эти данные на основе анализа мужских захоронений могильника, мы можем предполагать в социальной структуре мужского населения Иволгинского городища наличие двух

резко отличающихся групп. Первая группа, вероятно, достаточно немногочисленная (кластер 1). Для захоронений этой категории населения характерен бедный инвентарь. Можно допустить низкий общественный и экономический статус этой группы, участие данных лиц в жизни городища в качестве эксплуатируемого слоя. Вторая категория (кластер 2) близка по положению между собой, сопровождается предметами быта, вооружения, украшениями и жертвенной пищей. От первой группы она отличается более разнообразным инвентарем и, что особенно важно, наличием **оружия**. Однако вторая группа также может быть условно разделена на три стратифицированные подгруппы (2АА-2АВ-2В). Вторая подгруппа отличается от первой дополнительно наличием **пояса**, а третья от второй — наличием **сбруи**. Заманчиво было бы видеть в таких признаках, как оружие, пояс и сбруя, критерии общественного статуса жителей Иволгинского городища. Однако никаких оснований для категоричности такого утверждения у нас нет.

В целом все это позволяет сделать вывод о наличии в структуре мужского населения как двух, так и четырех социальных групп. Однако прежде чем прийти к тому заключению, целесообразнее было бы обратиться к анализу структуры других половозрастных категорий населения городища.

Женские погребения были исследованы посредством анализа кластерной матрицы 66х66 захоронений. В результате все захоронения были разбиты на два примерно равных кластера (табл. 12). Кластер 1 составил 32 захоронения. Он резко распадается на два субкластера — 1А (25 захоронений) и 1В (7 захоронений). В свою очередь субкластер 1А может быть разбит еще на два субкластера — 1АА (8 захоронений) и 1АВ (17 захоронений). Кластер 2 состоит из 34 погребений. Он может быть разложен на два субкластера — 2А (25 погребений) и 2В (9 погребений). Рассмотрим теперь каждую из выделенных групп подробно.

Субкластер 1АА состоит из 8 погребений (№ 2, 15, 17, 129, 159, 177, 210, 214) либо в яме, либо в гробу. Единственным сопровождающим инвентарем (но во всех погребениях без исключения) является керамика (количество сосудов разное).

Субкластер 1АВ включает 17 погребений (№ 7, 24, 31, 45, 49, 123, 125, 126, 128, 137, 139, 153, 170, 172, 204, 206, 207): в гробу, гробовище, яме без гроба. Погребения сопровождаются ножами.

частями лука, керамикой, прочими (в том числе неопределимыми) предметами быта, из украшений — бусами, подвесками, кольцами, а также костями овцы или барана. В единичном экземпляре представлены шилья, монета, кости свиньи, иных неопределенных животных, рыба, злаки.

Субкластер 1В состоит из 7 захоронений (№ 8, 21, 44, 64, 131, 132, 145): в гробу, гробовище и в яме без гроба. Однако все они безынвентарные.

Субкластер 2А самый массовый. Он объединяет 25 могил (№ 30, 34, 39, 51, 52, 62, 66, 68, 74, 76, 113, 119, 124, 142, 148, 156, 171, 173, 181, 194, 197, 199, 203, 212, 215). За исключением одного погребения в гробовище (обряд еще одного захоронения оказался невыясненным), погребения данного субкластера совершались либо в простой яме, либо в гробу. Можно визуально проследить некоторое увеличение размеров могильных ям, в том числе и глубины захоронения. Эти захоронения сопровождались ножами, шильями, керамикой (в разном количестве сосудов), другими предметами быта, поясом, бусами, подвесками, кольцами, раковинами, костями барана, рыбой. В одном случае были обнаружены котел, лук, металлический наконечник стрелы, ритуальный сосуд, ажурная бляха, колокольчик, принадлежности сбруи, бисер, монета, кости крупного рогатого скота, злаки.

Последний субкластер 2В включает 9 погребений (№ 88, 100, 138, 179, 183, 184, 190, 195, 211): в гробу, гробовище, яме. Размеры могильных ям довольно большие. Погребения сопровождаются ножами, шильями, пуговицами, другими (в том числе неопределимыми) предметами быта и труда, металлическими наконечниками стрел, керамикой (за исключением погребения № 138, где нет керамики, во всех захоронениях от двух и более сосудов), поясом, в том числе и с ажурными бляхами, бусами, бисером, подвесками, кольцами, раковинами, костями мелкого и крупного рогатого домашнего скота, злаками. В одном экземпляре представлены костяные наконечники стрел и лук, серьги, монета, останки свиньи, кости диких животных и рыбы.

Таким образом, совокупность женских погребений расслаивается на пять групп. Первая группа погребений (1В) безынвентарная, во второй (1АА) встречается только керамика, в треть-

ей (1АВ) появляется сопроводительный инвентарь, в четвертой (2А) инвентарь становится разнообразнее (в том числе фиксируются пояс, монеты, украшения), в пятой (2В) данные признаки становятся массовыми, заупокойная тризна отличается большим разнообразием. В целом это дает возможность в зависимости от разных критериев классификации выделить от трех до пяти категорий (1В-1АА1АВ-2А2В, 1В1АА-АВ2А-2В, 1В-1АА-1АВ2А-2В, 1В-1АА-1АВ-2А-2В и пр.).

Для исследования совокупности детских погребений была создана кластерная матрица 45х45 погребений. Выборка была разбита на два далеко отстоящих друг от друга по степени сходства кластера. В кластер 1 вошли 10 погребений. Кластер 2 составили 35 погребений. В свою очередь кластер 2 делится на два субкластера 2А (33 погребения) и 2В (2 погребения), из которых первый подразделяется еще на два субкластера 2АА (18 погребений) и 2АВ (15 погребений). Субкластер 2АА также может быть разбит на два субкластера — 2ААА (11 погребений) и 2ААВ (7 погребений) (табл. 13).

Кластер 1 (10 захоронений: № 4, 9, 96, 127, 143, 144, 165, 198, 208, 216) состоит из могил в яме и специфических детских погребений в сосуде. Размеры могильных ям, как правило, небольшие. Форма ям часто не позволяет выявить ориентацию захороненных. Единственной массовой категорией сопроводительного инвентаря является керамика. Все остальные находки (подвески, изделия из бронзы, бабки, кости домашнего крупного и мелкого рогатого скота и неопределенных животных) встречены только по одному разу.

Субкластер 2ААА (11 погребений: № 10, 13, 15, 40, 63, 79, 81, 136, 147, 205, 213) состоит в основном из захоронений в ямах. Только 3 погребения произведены в гробу. Длина погребений составляет примерно около 1,5 м, глубина — до 1 м. Основная ориентация костяков NNO. Из инвентаря встречается только керамика, зафиксированная во всех погребениях без исключения.

Субкластер 2ААВ составляют 7 погребений (№ 12, 82, 103, 105, 10, 130, 201). Большинство из них в ямах. Длина в среднем, составляет также около 1,5 м, глубина — до 1 м. Ориентация погребенных делалась как в северную, так и в южную сторону. Сопроводительного инвентаря в захоронениях не обнаружено.

К субкластеру 2АВ относятся 15 погребений (№ 32, 36, 38, 50, 71, 94, 95, 114, 121, 122, 133, 135, 154, 176, 178); 10 из них совершены в ямах без гроба, 2 — в гробах, 3 представляют собой захоронения в сосуде в яме. Размеры ям не очень сильно отличаются от размеров могильных сооружений других субкластеров кластера 2. Ориентация преимущественно к NNO с вариациями. Этот субкластер наиболее богат сопроводительным инвентарем. В погребениях встречены ножи, другие предметы быта, керамика, ритуальные сосуды, пояс, в том числе с ажурными бляхами, сбруя, бусы, бисер, подвески, кольца, раковины. Только один раз встречены пуговицы, костяные наконечники стрел, бронзовый сосуд, кости барана и злаки.

В субкластер 2В вошли всего два погребения (№ 107, 188). Оба — безынвентарные. Первое отличается большими, не характерными для детского захоронения размерами (190х100х76), размеры второго вообще проследить не удалось. Вероятно, поэтому данные погребения выделились в отдельную группу. При интерпретации всей выборки их можно либо не учитывать, либо включить в группу наиболее бедных безынвентарных захоронений могильника.

В целом совокупность детских погребений дифференцируется на три группы. К первой группе относятся безынвентарные погребения (2ААВ+2В), ко второй — погребения с керамикой (2ААА), к третьей — захоронения субкластера 2АВ с разнообразным сопроводительным инвентарем. Отдельно следует рассматривать погребения кластера 1, которые условно обозначены нами как “младенческие”.

Социальная топография Иволгинского городища

Социальное неравенство проявляется не только в различиях погребального обряда, но и в количестве усилий, затраченных на строительство и обустройство жилых сооружений (Массон, 1976 и др.). Интересно проверить, насколько сопоставимы результаты исследования социального состава Иволгинского могильника с выявлением стратификации по данным анализа жилищных конструкций самого Иволгинского городища. Для этих целей было решено воспользоваться методикой кластерного анализа.

Для исследования жилищ методом кластерного анализа предварительно была составлена кластерная матрица 55х55 жилищ. Для

анализа были избраны только признаки категории I: **конструкция жилища**. В результате исследований погребения разделились на два кластера. В кластер 1 вошли 54 жилища, а кластер 2 составило самое большое жилище № 9 (табл. 14). Данное жилище в отличие от остальных жилищ городища было наземным (только еще одно жилище 46А также не было полуземлянкой). Оно располагалось на небольшом всхолмлении, имело размеры 13х11,5 м, его стены были сделаны из сырца. Исходя из размеров, конструктивного своеобразия и местоположения жилища, А. В. Давыдова предположила, что здесь проживал “правитель” Иволгинского городища (1985: 19–20; 1995: 17–18).

Кластер 1 резко разбивается на два субкластера — 1А (33 жилища) и 1В (21 жилище). В свою очередь субкластер 1А может быть разбит еще на два субкластера — 1АА (24 жилища) и 1АВ (9 жилищ). Субкластер 1АА распадается еще на два субкластера — 1ААА (20 жилищ) и 1ААВ (4 жилища), однако в последний субкластер вошли жилища № 11–13, 16, по которым отсутствует полная информация по категории совокупности признаков 1, поэтому все вместе они были отнесены к более широкой совокупности. Субкластер 1В может быть разложен на два субкластера — 1ВА (7 жилищ) и 1ВВ (14 жилищ). Рассмотрим теперь каждую из выделенных четырех групп подробно.

В субкластер 1АА вошли жилища № 1, 2, 3, 4, 6, 11–13, 16, 17, 19, 20, 24, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 49, 51, II, III. Для жилищ этой группы типична площадь 18–24 кв. м, отсутствует такая конструктивная особенность, как дверной проем.

В субкластер 1АВ вошли жилища № 5, 10, 15, 26, 31–33, 44, 48. Здесь в жилищах имеется дверной проем, но площадь жилищ данного кластера меньше. Она разбивается на две группы — 7–10 и 12–16 кв. м.

В субкластер 1ВА вошли жилища № 7, 28, 30, 34, 39, 47. Это самые большие по площади жилища (от 35 до 47 кв. м). Чуть менее, чем для половины жилищ этой группы не характерен дверной проем.

В субкластер 1ВВ вошли жилища № 8, 14, 18, 21–23, 25, 27, 29, 36, 41, 46, 46А, 50. Средняя площадь жилищ — от 26 до

30 кв. м. Примерно в $2/3$ жилищ этой группы отсутствовал такой признак, как дверной проем.

После разбивки жилищных комплексов на группы было решено проверить с помощью факторного анализа, с какими признаками категории совокупности “**сопроводительный инвентарь**” коррелируются жилища того или иного субкластера. Поскольку находок в жилищах было не очень много, факторные связи оказались в целом невысокими. В ряде случаев, чтобы выявить хоть какую-нибудь корреляцию, пришлось пойти на объединение признаков. В признак “земледелие” был объединен весь земледельческий инвентарь. Вместе были объединены также лук и стрелы. Рыболовные крючки и грузила были объединены в признак “рыболовство” и, соответственно, все предметы, относящиеся к ремесленной деятельности, — в признак “ремесло”. Также в единую совокупность были объединены все предметы быта и большая часть украшений (кроме наиболее часто встречающегося признака “бусы” и игральные кости), в признак “сосуды” были включены все виды не глиняной посуды (из бронзы, железа и камня). В то же время другие признаки, которые хотя и встречались достаточно редко, но могли иметь важное значение для обитателей данных жилищ, не были объединены в более широкие совокупности. Это такие признаки, как “пояс”, “зеркало”, “гадательные лопатки” и еще ряд других. Признак “кости” также пришлось выделить, поскольку в использованных при составлении базы данных публикациях соответствующих сведений о них не содержалось.

Для изучения жилищ субкластера 1АА была составлена факторная матрица из 15 переменных (десятичная логарифмическая детерминанта корреляционной матрицы — 3,0105). Исследование корреляционной матрицы было осуществлено посредством метода главных компонент. Вращение матрицы методом варимакс позволило выделить два фактора (собственное значение — 2,66816 и 2,61639, а доля объяснимой дисперсии — соответственно 19,1% и 18,7%). Загруженными оказались все признаки, что видно из соответствующей таблицы (табл. 15). Для первого фактора особенно сильной оказалась корреляция признаков “латы”, “пояс” и “зеркало”. Для второго фактора наиболее значимыми были признаки “предметы быта” и “другие украшения”.

Для проверки жилищ субкластера 1АВ была составлена другая корреляционная матрица, которая включала 9х9 признаков. После ее анализа методом главных компонент, а затем после получения факторной матрицы из 9 переменных и вращения последней методом варимакс (десятичная логарифмическая детерминанта корреляционной матрицы 2,9074) было выделено два фактора. Собственное значение первого фактора 3,65405 (доля объяснимой дисперсии 40,6%), значение второго 1,93719 (доля объяснимой дисперсии 21,5%).

Первый фактор, как и в более раннем случае, оказался загруженным всеми признаками сопроводительного инвентаря. Особенно высокой была корреляция для таких признаков, как элементы “пояса”, “кости” и “предметы быта”. Для второго фактора характерна тесная корреляция между “луком+стрелы” и “предметами ремесла”, что обусловлено взаимовстречаемостью данных категорий находок в жилищах № 26, 32, 48 (табл. 16).

Для изучения признаков сопроводительного инвентаря жилищ субкластера 2ВА была составлена квадратная матрица корреляции размером 15х15 переменных. Матрица была проанализирована методом главных компонент. В итоге получена факторная матрица из 15 переменных (десятичная логарифмическая детерминанта корреляционной матрицы — 3,5526). В результате было выделено два фактора (значение факторов соответственно 3,13179 и 2,55895). Загруженными оказались все признаки сопроводительного инвентаря. Результаты нагрузок фактора видны из таблицы (табл. 17). Для первого фактора отмечается наиболее высокая значимость таких признаков, как “предметы быта” и “бусы”. Для второго фактора более значимы другие признаки: “пояс” и “сосуды”, что, судя по всему, обусловлено встречаемостью данных категорий находок в жилище № 28.

Для исследования жилищ субкластера 2ВВ была подготовлена корреляционная матрица из 14 переменных. После анализа этой матрицы методом главных компонент и вращения полученной факторной матрицы было выделено два фактора (десятичная логарифмическая детерминанта корреляционной матрицы — 3,5244). Собственное значение первого фактора 3,58567 (доля объяснимой дисперсии 25,6%), второго — 2,29883 (доля объяснимой дисперсии 16,4%). Первый фактор оказался загруженным всеми

признаками сопроводительного инвентаря (ср. табл. 18). Наиболее высокая корреляция отмечена для такого признака, как “предметы ремесла”. Для второго фактора наиболее существенным оказался такой признак, как “кости”.

Сопоставляя все таблицы факторных нагрузок (табл. 15–18), нетрудно заметить, что большая часть признаков характерна практически для всех четырех кластеров жилищ. Для всех вышеуказанных групп характерны предметы быта, украшения, орудия земледелия и ремесла, предметы вооружения, находки, которые можно связать с рыболовством или охотой. Наиболее значимые величины в каждом из выделенных факторов отражают скорее случайное совпадение тех или иных категорий находок, нежели за этим скрывается какая-либо закономерность. Все это дает основание заключить, что *обитатели всех четырех групп жилищ (т. е. кластеров) занимались присваивающе-производящим хозяйством и в той или иной степени ремесленной деятельностью.*

Однако в распределении предметов сопроводительного инвентаря между данными кластерами имеются и определенные отличия. Так, наиболее резко противопоставляются всем остальным группам жилища кластера 1АВ. Для последних характерны только костяные наконечники стрел, не встречаются гадательные лопатки, и здесь довольно бедно представлены украшения (только бусы, кольца, раковины каури). Но наиболее существенно кластеры жилищ разнятся по количеству керамических сосудов. Логично было бы предположить, что объемы керамики обусловлены количеством обитателей жилища и в этой связи с увеличением площади должно возрастать и число гончарных изделий. Отчасти такой вывод справедлив. Однако однолинейной зависимости здесь нет. Больше количество сосудов обнаружено не в самых крупных жилищах кластера 1ВА, а в жилищах следующего по величине кластера 1ВВ. Следует отметить, что в самых крупных жилищах кластера 1ВА усредненное количество сосудов сопоставимо с количеством сосудов в жилищах третьего по величине кластера 1АА (площадь 18–24 кв. м). В то же время в половине самых маленьких по размеру и наиболее бедных по инвентарю жилищах кластера 1АВ керамики вообще нет, а там, где она встречается, ее гораздо меньше, чем в жилищах других групп.

В этой связи логично напрашивается вывод, что жилища кластера 1АВ принадлежали лицам наиболее низкоранговой группы на-

селения городища. По всей видимости, они даже не имели своих семей. Следующие по статусу — кластеры жилищ 1АА и 2ВВ. Между их обитателями есть определенная разница в имущественном, а может быть, и в социальном положении. Наиболее крупные жилища кластера 1ВА несколько уступают по разнообразию инвентаря и количеству керамических сосудов кластеру 1ВВ, однако в данном случае различия можно интерпретировать, например, спецификой пространственного распределения материала (большая плотность — более вероятная концентрация следов человеческой активности на полу жилища) или же тем, что обитатели жилищ кластера 1ВА несколько менее других групп были вовлечены в процесс производства пищи и ремесленную деятельность. Учитывая достаточно сильную дифференциацию захоронений жителей городища (4–5 рангов), последнее предположение не представляется столь уж невероятным.

На основе анализа письменных сочинений древнекитайских летописцев известно, что социальная структура Хуннской империи имела сложный, многоярусный характер. На высшем уровне общественной пирамиды находились шаньюй и его родственники (клан Люаньди), на следующей ступени — представители других знатных кланов, племенные вожди, служилая знать. Далее располагалась самая массовая социальная группа общества — простые, экономически независимые кочевники-скотоводы. Внизу социальной лестницы находились различные неполноправные категории: обедневшие номады, полуассальное оседлое население (*цинъцы*), военнопленные, данники, занимавшиеся земледелием и ремеслом, а также, возможно, рабы (Крадин, 1996: 69–99).

Изучение погребальных памятников хунну Забайкалья подтверждает тезис о многоуровневой социальной иерархии в империи хунну, прослеживаемой в различных половозрастных и этнокультурных группах общества. На одном полюсе — богатые усыпальницы представителей хуннской элиты в курганах, на другом — бедные и безынвентарные захоронения низших групп (Крадин, 1999; Крадин и др., 2004).

Особое место в структуре хуннского общества занимало оседлое население и в частности — жители Иволгинского городища. Представляется очевидным, что номады имели в целом более высокий общественный статус в Хуннской империи. Это прослеживается

хотя бы по разнице в количестве и разнообразии инвентаря, а также в сложности погребальных конструкций в захоронениях Иволгинского могильника, например, хуннских могильников Дэрестуйский Култук или Черемуховая падь. Данный факт предполагает возможность существования определенной эксплуатации жителей поселений и городищ (для межэтнической эксплуатации кочевниками земледельческих поселений совсем необязательно создание государства). В то же время нельзя забывать, что в среде низших социальных групп Ханьской империи бытовало мнение о привольном образе жизни иммигрантов в среде кочевников. Единственная проблема — это опасность быть пойманным китайскими пограничниками во время побега (Лидай, 1958: 230; Материалы, 1973: 41).

Изучение совокупности мужских погребений Иволгинского могильника показывает, что в данном случае условно можно выделить четыре общественных ранга. Несколько более сложная иерархия прослеживается в женских захоронениях — здесь выявлено пять рангов. Совокупность детских погребений распределяется на три группы. Отдельно следует рассматривать погребения в сосуде кластера 1, которые условно обозначены как “младенческие”. Изучение жилищ Иволгинского городища подтверждает наличие многоуровневой социальной дифференциации. Выделяются пять самостоятельных рангов. Лица низшего ранга селились в наиболее мелких и некомфортных жилищах кластера 1АВ. Следующие по иерархии группы занимали жилища кластеров 1АА, 1ВВ и 1ВА. В отдельный кластер 2 выделяется самое большое жилище № 9, возможно, резиденция местного администратора.

В целом, анализируя жилищные конструкции Иволгинского городища, а также мужские, женские и детские захоронения его могильника, можно выделить 4–5 уровней социальной дифференциации. С одной стороны, выделяются безынвентарные захоронения низших групп общества, имевших низкий имущественный и социальный статус. На другом полюсе общества — обеспеченные жители городища. Их погребения сопровождаются разнообразным инвентарем, оружием, обильной заупокойной пищей. Нельзя исключать, что они принадлежали лицам, связанным с кочевым образом жизни. Между этими крайними полюсами фиксируется достаточно широкое количество дополнительных прослоек (в мужских захоронениях — до трех, в женских — от двух до четырех,

в детских — одна). Все они — представители оседло-земледельческой части хуннского общества. Их социальное положение было ниже статуса кочевников-скотоводов. Однако это не означает, что эти люди не играли определенную, возможно, немаловажную роль в экономической структуре степной империи.

Таблица 5

Факторные нагрузки признаков сопроводительного инвентаря мужских погребений Иволгинского могильника после применения метода главных компонент

Мужчины, 20 погребений	Factor 1
Нож	0,712202
Шилья	0,976371
Пуговицы	0,976371
Стрелы металлические	0,976371
Стрелы костяные	0,976371
Лук	0,976371
Кинжал	0,976371
Керамика	0,684048
Посуда лаковая	0,976371
Пояс	0,976371
Бляхи ажурные	0,976371
Сбруя	0,976371
Бусы	0,976371
Кольца	0,976371
Баран	0,976371
Корова	0,976371
Рыба	0,976371
Злаки	0,976371
Expl. var	17,18126
Prp. totl	0,904277

Таблица 6

Факторные нагрузки признаков сопроводительного инвентаря женских погребений Иволгинского могильника после применения метода главных компонент

Женщины, 28 погребений	Factor 1
Нож	0,629442
Котел	0,976554
Шилья	0,976554
Пуговицы	0,976554
Другие предметы	0,976554
Стрелы металлические	0,976554
Стрелы костяные	0,976554
Лук	0,976554
Керамика	0,737401
Пояс	0,976554
Ажурные бляхи	0,976554
Сбруя	0,976554
Бусы	0,976554
Бисер	0,976554
Подвески	0,976554
Кольца	0,976554
Раковины	0,976554
Монеты	0,976554
Баран	0,976554
Корова	0,976554
Свинья	0,976554
Неопред. кости	0,976554
Рыба	0,976554
Злаки	0,976554
Expl. var	21,92043
Prp. totl	0,913351

Таблица 7

Факторные нагрузки признаков сопроводительного инвентаря детских погребений Иволгинского могильника после применения метода главных компонент

Дети, 24 погребения	Factor 1
Нож	0,976961
Пуговицы	0,976961
Другие предметы	0,976961
Стрелы костяные	0,976961
Посуда бронзовая	0,976961
Керамика	0,730796
Сосуды ритуальные	0,976961
Пояс	0,976961
Ажурные бляхи	0,976961
Сбруя	0,976961
Бусы	0,976961
Бисер	0,976961
Подвески	0,976961
Кольца	0,976961
Раковины	0,976961
Expl. var	13,89639
Ргр. totl	0,926426

Таблица 8

Факторные нагрузки признаков мужских погребений Иволгинского могильника после применения метода главных компонент и вращения факторов методом варимакс

Мужчины, 20 погребений	Factor 1	Factor 2
Шилья	0,959878	0,178825
Палочки	0,959878	0,178825
Ложки	0,959878	0,178825
Меха	0,959878	0,178825

Продолжение

Пуговицы	0,959878	0,178825
Другие предметы	0,959878	0,178825
Стрелы металлические	0,959878	0,178825
Стрелы костяные	0,959878	0,178825
Лук	0,959878	0,178825
Поножи	0,959878	0,178825
Панцирь	0,959878	0,178825
Керамика	0,352549	0,78529
Посуда лаковая	0,959878	0,178825
Сосуды ритуальные	0,257643	0,746943
Пояс	0,959878	0,178825
Сбруя	0,959878	0,178825
Бусы	0,959878	0,178825
Подвески	0,959878	0,178825
Зеркала	0,959878	0,178825
Золото	0,959878	0,178825
Кости	0,959878	0,178825
Баран	0,565468	-0,45685
Корова	0,584261	-0,29897
Коза	0,959878	0,178825
Собака	0,959878	0,178825
Кости диких животных	0,959878	0,178825
Expl. var	21,12184	2,176224
Ргр. totl	0,812378	0,083701

Таблица 9

Факторные нагрузки признаков женских погребений Иволгинского могильника после применения метода главных компонент и вращения факторов методом варимакс

Женщины, 28 погребений	Factor 1	Factor 2
Палочки	0,924831	0,314498
Меха	0,924831	0,314498
Другие предметы	0,924831	0,314498
Стрелы костяные	0,924831	0,314498

Продолжение

Лук	0,924831	0,314498
Керамика	0,924831	0,314498
Посуда лаковая	0,924831	0,314498
Пояс	0,924831	0,314498
Сбруя	0,924831	0,314498
Кости	0,924831	0,314498
Баран	0,571282	0,051023
Корова	0,27395	0,891881
Коза	0,260492	0,903828
Кости диких животных	0,924831	0,314498
Expl. var	9,877708	2,702956
Prp. totl	0,705551	0,193068

Таблица 10

Факторные нагрузки признаков детских погребений Иволгинского могильника после применения метода главных компонент и вращения факторов методом варимакс

Дети, 24 погребения	Factor 1
Нож	0,977238
Меха	0,977238
Другие предметы	0,977238
Керамика	0,534497
Сосуды ритуальные	0,977238
Пояс	0,977238
Золото	0,977238
Кости	0,977238
Кости диких животных	0,977238
Expl. var	7,925643
Prp. totl	0,880627

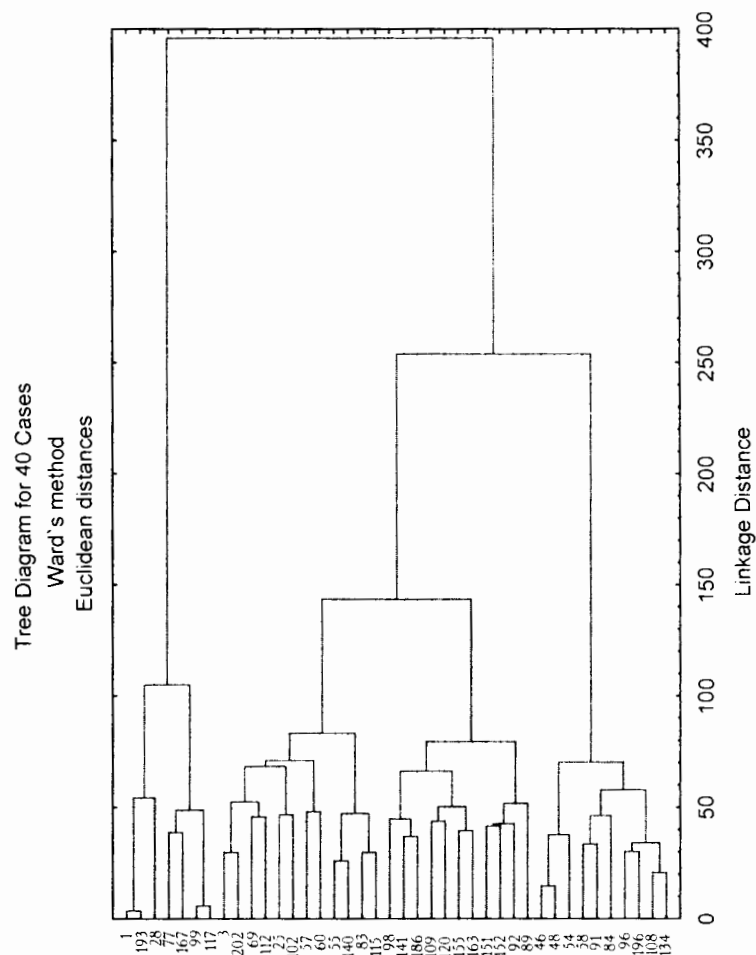
Таблица 11
Дендрограмма кластерного анализа мужских погребений Иволгинского могильника

Таблица 12
 Дендрограмма кластерного анализа женских погребений Иволгинского могильника

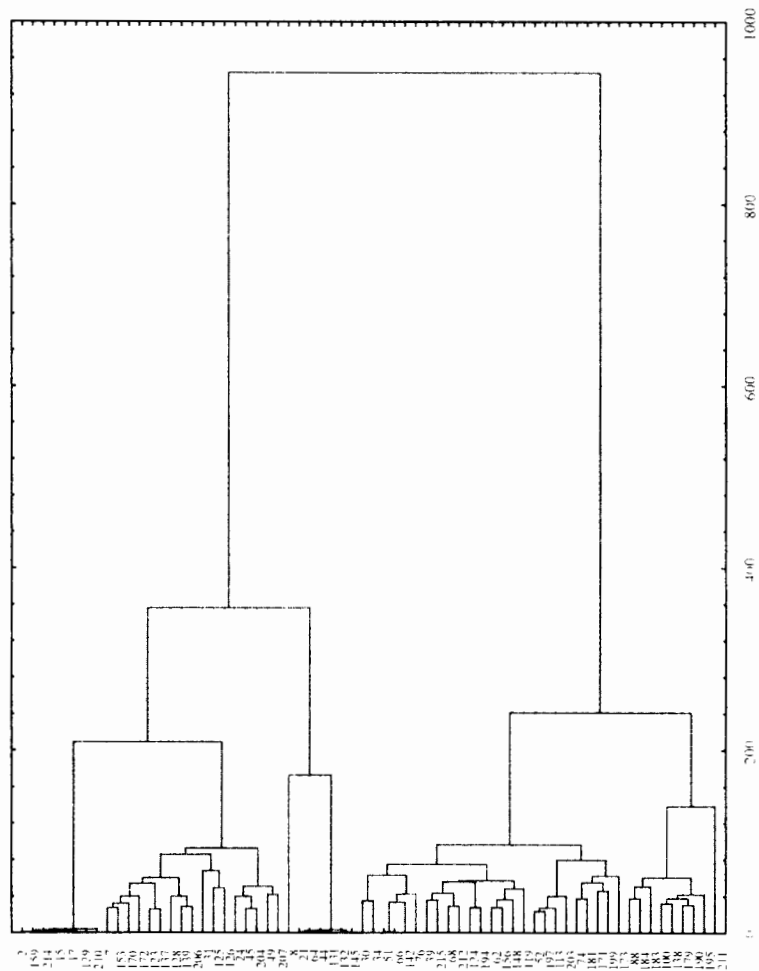
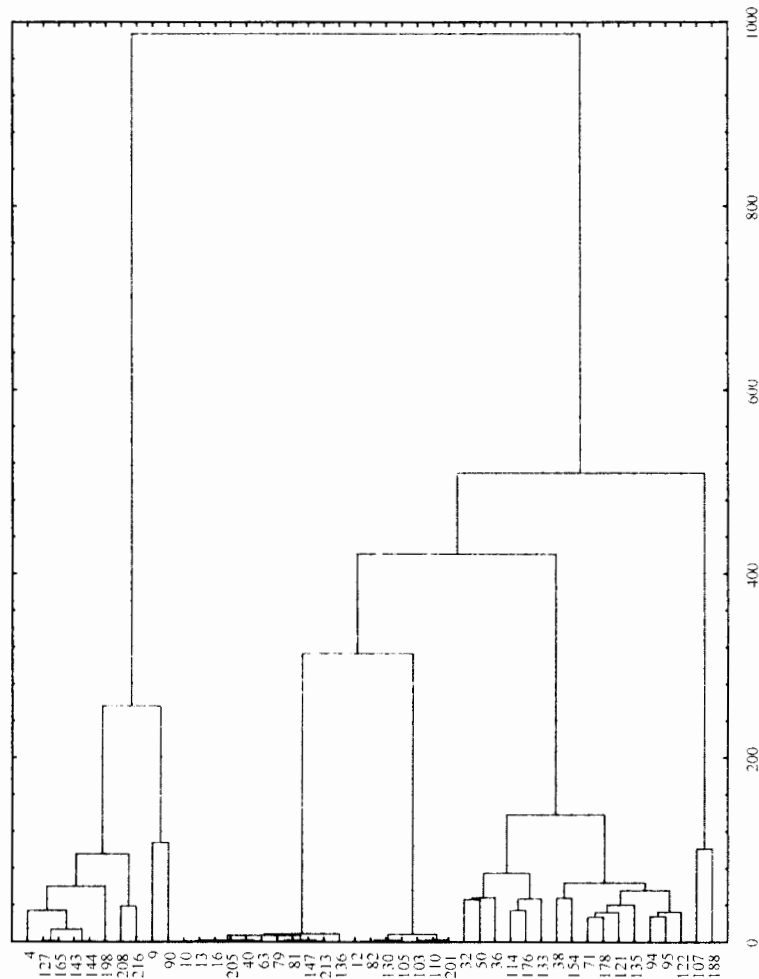


Таблица 13
 Дендрограмма кластерного анализа детских погребений Иволгинского могильника



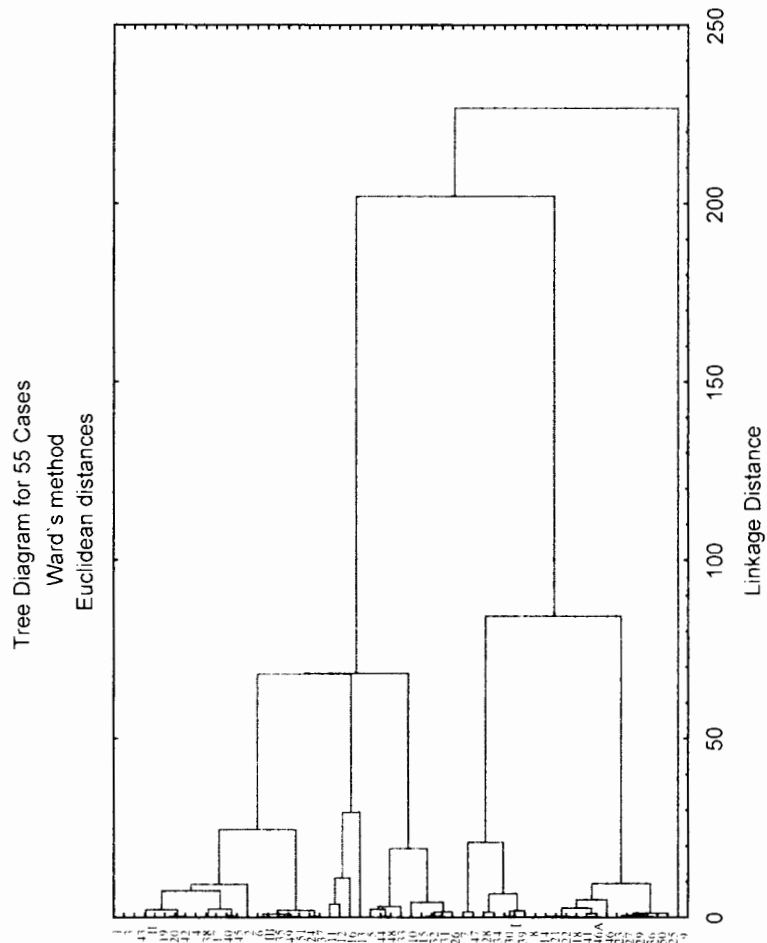


Таблица 15

Факторные нагрузки признаков категорий инвентаря в жилищах кластера 1АА после применения метода главных компонент и вращения факторов методом варимакс

	Factor 1	Factor 2
Земледелие	0,026632	0,027863
Латы	0,953399	0,061295
Лук и стрелы	0,148192	0,479363
Пояс	0,953399	0,061295
Охота	0,086866	0,269880
Рыболовство	0,078152	0,478890
Ремесло	0,133772	0,521765
Предметы быта	0,264071	0,749688
Сосуды	0,086866	0,269880
Керамика	0,150101	0,379791
Альчик	0,084365	0,458916
Бусы	0,137422	0,363575
Зеркало	0,816516	0,162088
Другие украшения	0,057661	0,809874
Expl. var	2,667995	2,616557
R _{гр. totl}	0,190571	0,186897

Таблица 16

Факторные нагрузки признаков категорий инвентаря в жилищах кластера 1АВ после применения метода главных компонент и вращения факторов методом варимакс

	Factor 1	Factor 2
Земледелие	0,264215	0,435523
Лук и стрелы	0,334712	0,837670
Пояс	0,799402	0,219111
Кости	0,79940	0,219111
Рыболовство	0,141937	0,654034
Ремесло	0,450341	0,811144

Продолжение

Предметы быта	0,816894	0,295752
Керамика	0,670674	0,329050
Украшения	0,690133	0,180121
Expl. var	3,289954	2,301292
Ргр. totl	0,365550	0,255699

Таблица 17

Факторные нагрузки признаков категорий инвентаря в жилищах кластера 2ВА после применения метода главных компонент и вращения факторов методом варимакс

	Factor 1	Factor 2
Земледелие	0,377245	0,669275
Латы	0,501107	0,118695
Лук и стрелы	0,615784	0,206716
Пояс	0,178924	0,770342
Кости	0,533758	0,046037
Рыболовство	0,300489	0,027310
Ремесло	0,481109	0,189496
Предметы быта	0,745127	0,389063
Сосуды	0,169347	0,824135
Керамика	0,014965	0,003809
Гадательные кости	0,675213	0,017450
Бусы	0,730675	0,281353
Альчик	0,039419	0,271808
Зеркало	0,198073	0,283144
Другие украшения	0,233338	0,639740
Expl. var	3,080431	2,610313
Ргр. totl	0,205362	0,174021

Таблица 18

Факторные нагрузки признаков категорий инвентаря в жилищах кластера 2ВВ после применения метода главных компонент и вращения факторов методом варимакс

	Factor 1	Factor 2
Земледелие	0,684034	0,017698
Латы	0,549054	0,107858
Лук и стрелы	0,434790	0,361575
Кости	0,268654	0,731584
Рыболовство	0,248109	0,021431
Ремесло	0,721971	0,205322
Предметы быта	0,459200	0,598625
Сосуды	0,620508	0,023923
Керамика	0,104282	0,691646
Гадательные кости	0,522047	0,302042
Бусы	0,635874	0,416824
Альчик	0,226651	0,395821
Зеркало	0,123660	0,468270
Другие украшения	0,624467	0,576293
Expl. var	3,353640	2,530850
Ргр. totl	0,239546	0,180775

ГЛАВА 12

СТЕПНАЯ БУРЯТИЯ
В СОСТАВЕ ХУННСКОЙ ИМПЕРИИ*

Большинство хуннских археологических памятников, находящихся на территории Российской Федерации, расположены в пределах современной Бурятии. Здесь на сегодняшний день обнаружено более 90 археологических памятников, из них 3 городища, 5 поселений, 3 “царских” и 30 “простых” могильников, около 50 местонахождений хунну. Ограничение территориальных рамок использованных данных обусловлено несколькими важными обстоятельствами.

Во-первых, основной массив информации по археологии хунну сосредоточен на территории Бурятии (около 70% раскопанных погребений; на территории Монголии нет ни одного памятника хуннской эпохи, сопоставимого по раскопанной площади с Иволгинским городищем). Было бы нелогично экстраполировать информацию, полученную в результате анализа только северной периферии, на всю империю хунну.

Во-вторых, многие источники, расположенные на территории Китая и особенно Монголии, недоступны для исследователей, так как не опубликованы и информация о них хранится в архивных учреждениях, а опубликованные данные выборочны. Напротив, источники из памятников Бурятии представительны для статистической обработки и доступны для исследователей. Основной их массив представлен в работах (Коновалова, 1976; Давыдовой, 1995; 1996; Миняева, 1998; Талько-Грынцевича, 1999).

* Степная Бурятия в составе Хуннской империи // Центральная Азия и Прибайкалье в древности. Улан-Удэ -- Чита: Изд-во БГУ, 2002. С. 132–138.

В-третьих, хуннские памятники на территории Бурятии расположены внутри большого степного массива, связанного с долиной Селенги и вклинивающегося в лесостепные и таежные зоны Байкальской Сибири. С экологической точки зрения это достаточно обособленный район. Можно предполагать, что данная территория не только имела важное экономическое значение как зона потенциального земледелия и торговых контактов с культурами охотников забайкальской тайги и рыболовов Байкала, но и представляла собой самостоятельное административно-политическое подразделение в структуре Хуннской империи. Данное допущение делает актуальным рассмотрение хуннских археологических памятников Юго-Западного Забайкалья как единой целостной системы и предполагает возможность использования для исследования данной территории пространственных археологических моделей.

По природному районированию Бурятия делится на северную зону, преимущественно занятую тайгой, и южную (ниже 52–53° с. ш.) зону забайкальских лесостепей и степей. Степи Западного Забайкалья приурочены к склонам гор и межгорным котловинам. Им присущи многие признаки поясов горных степей и лесов Монголии. Климат здесь резко континентальный, суровый. Средняя температура июля равна примерно +20°C, а средняя температура января опускается до отметки – 28°C. В Западном Забайкалье выпадает от 250 до 390 мм осадков.

Исследования специалистов показывают, что сложившиеся на стадии субатлантического периода ландшафты Забайкалья на протяжении последних тысячелетий остались практически неизменными. В хуннскую эпоху на данной территории были распространены карагана золотистая, ковыли, мятлик, житняк, вострец ложнопырейный (Иметхенов, 1993; 1997).

Согласно современным палеогеографическим исследованиям, время существования хуннского этноса приходится на завершающий этап позднего субатлантического увлажнения в степях Монголии и Забайкалья, который постепенно сменяется на рубеже прошлой и новой эр началом периода аридизации. Этот процесс привел к регрессии Каспийского моря и Арала (Оксийское болото), стимулировал массовые подвижки народов степной Евразии,

т. е. обусловил “великое переселение народов” (Иванов, Васильев, 1995: 166–167, табл. 25).

Палеозоологические и палеогеографические исследования на территории Монголии и Забайкалья показывают, что фауна хуннского периода была аналогична современной (за исключением исчезновения ряда редких ныне видов, уничтоженных человеком). Из хищников и копытных здесь обитали кулан, косуля, лось, олень, дикая лошадь, дикий козел, горный баран, газель, кабан, антилопа-дзерен, волк, лисица, из травоядных и грызунов — заяц, пищуха, гоби-алтайская полевка, тушканчик, тарбаган, из птиц — гриф, орел, коршун, сокол, утка, гусь, журавль, жаворонок, перепел, дрофа (Динесман, Князев, Болд, 1986; Динесман, Киселева, Князев, 1989; Иметхенов, 1993; 1997 и др.). Эти выводы подтверждаются данными археологических исследований и отчасти письменными источниками (Крадин, 1999).

Необходимо также добавить, что, судя по всему, диких животных в хуннскую эпоху было гораздо больше, чем сейчас. Это предполагало различные формы охоты (в том числе и облавную) на копытных и грызунов. Такой вывод делает возможным привлечение материалов экологического и этнографического характера для реконструкции системы экономической жизнедеятельности хунну Забайкалья.

Согласно письменным и археологическим источникам основным занятием хуннского населения Забайкалья было кочевое скотоводство. Как и номады более позднего времени, хунну разводили типичных для кочевников Евразии животных: овец, крупный рогатый скот, лошадей, реже коз и верблюдов. Кроме этого у них имелись в небольшом количестве и другие виды домашних животных (Гаррут, Юрьев, 1959; Таскин, 1968; Данилов, 1990 и др.).

Общее количество кочевников, обитавших на территории современной степной Бурятии, можно рассчитать на основе специальных методик, основанных на определении продуктивности пастбищных ресурсов (Железчиков, 1984; Тортика, Михеев, Кортиев, 1994; Гаврилук, 1999 и др.). В общей сложности здесь примерно проживало от 12 до 26 тыс. номадов. В военном отношении это от 2–3 до 5 тыс. лучников. Можно предположить, что в совокупности с земледельческим населением лучники представляли само-

стоятельное воинское подразделение с военачальником в ранге так называемого “слабого” *ваньци* (темника), имевшего в подчинении около 5–7 тыс. воинов (Крадин, 1999: 373–386).

Кроме кочевников в подчинении правителя находилось и земледельческое население. Для занятия земледелием благоприятными были земли Северной Монголии и Южной Бурятии. Среднегодовые осадки в этой физико-географической зоне в лучшие годы могут достигать 400 мм, что в совокупности с наличием сети рек является важнейшей предпосылкой для развития в регионе земледелия. Не случайно именно здесь находятся все (известные на настоящий момент) городища и поселения хуннского времени, которые расположены на берегах Селенги и ее притоков: Джиды, Чикоя, Хилка.

Функциональный статус хуннских городищ на территории Забайкалья еще предстоит выяснить. Надо отметить, что хуннские городища Забайкалья не могли выполнять важную оборонительную роль. Их размеры были невелики, и они не были способны остановить большие армии. Кроме этого сами хунну скептически относились к возможности пассивной обороны в осаде. Номады делали основной акцент на подвижности своих армейских подразделений и кочевий и видели в этом одну из главнейших причин своей военной неуязвимости. На хуннских городищах в Бурятии (Давыдова, 1995; Данилов, 1998) в отличие от городищ на территории Монголии (Киселев, 1957; Пэрлээ, 1957) не обнаружено черепицы, которая является индикатором строительства зданий с административными или культовыми функциями.

По всей видимости, жители оседлых поселений не были этническими хуннами, а представляли иные национальные группы, чей быт и хозяйство традиционно связаны с оседлым образом жизни. На это указывают: 1) преобладание в материалах из раскопок Иволгинского городища костей таких животных, как собака и свинья, 2) занятие рыболовством, 3) строительство канов, 4) типично ханьские земледельческие орудия, 5) ряд типов сосудов, 6) китайские надписи на керамике, 7) антропологическое изучение захороненных (Гохман, 1960) в Иволгинском могильнике.

Оседлые жители занимались земледелием и ремеслом, обеспечивая кочевников-скотоводов необходимой продукцией. На при-

мере Иволгинского городища можно реконструировать характер их хозяйственных занятий (Крадин, 1999: 378–408). Исходя из минимальных норм плотности (1,8–3,6 м² на человека) и гипотетического количества жилищ, можно вычислить, что максимальная численность одновременно живущих насельников Иволгинского городища составляла примерно 2,5–3 тыс. человек. Взрослые жители за 40 рабочих дней могли собрать около 1,3 тыс. тонн зерна. По всей видимости, это был минимум, необходимый для воспроизводства: 1,3 тыс. тонн зерна минус 900 тонн на питание жителей городища и примерно 300 тонн (1/4 часть) на посевной запас. Оставшиеся около 100 тонн могли использоваться на подкормку крупного рогатого скота в периоды лактации и посевной, прикорм молодняка и свиней, которых активно разводило население городища, и т. д. Кроме производящего хозяйства для пополнения рациона белковой пищей иволгинцы занимались в зимнее время охотой и рыболовством (с мая по конец лета).

Снабжение продуктами земледелия кочевников требовало дополнительных трудовых затрат. Можно подсчитать, что за 77 рабочих дней с территории активного хозяйственного использования (на расстоянии одного часа пути пешком от городища, равного 5 км) можно было сжать еще 1 тыс. тонн зерна. При условии использования собранного зерна в качестве пищевой добавки (скажем, в течение зимы) им можно было снабдить более 13 тыс. номадов. Если же допустить, что население городища приспособило под поля территорию, удаленную от жилья более чем на 5 км или имело заимки, а совокупное число рабочих дней было доведено до 100 в году, то общее количество прибавочного продукта было еще больше.

Как оценивать отношения между номадами и жителями оседлых поселений и городищ — как сложившуюся систему доминирования кочевников и эксплуатацию ими земледельцев или же как партнерские торгово-обменные связи между двумя хозяйственно-культурными группами общества? Очевидно, что номады имели в целом более высокий общественный статус в Хуннской кочевой империи. Это прослеживается даже визуально — захоронения номадов из Дэрестуйского Култука или Черемуховой пади богаче и масштабнее, чем погребения Ивол-

гинского могильника. Данный факт предполагает возможность существования определенной эксплуатации жителей поселений и городищ (для межэтнической эксплуатации кочевниками земледельческих поселений совсем необязательно создание государства). В то же время нельзя забывать, что в среде низших социальных групп Ханьской империи бытовало мнение о привольном образе жизни иммигрантов в среде кочевников. Единственная проблема заключалась в опасности быть пойманным китайскими пограничниками во время побега.

Скорее всего в Хуннской державе существовал достаточно широкий спектр отношений между кочевниками и земледельцами. Это могли быть как поселения пленников-рабов, так и населенные пункты, жители которых имели статус полуассалльных данников, обязанных поставлять номадам определенное количество земледельческой и ремесленной продукции, или даже общины земледельцев, поддерживавшие дружеские экономические и торговые связи с кочевой частью населения степной империи при условии общего военного и политического доминирования кочевников. Однако в том и ином случаях оседлые земледельческие поселения и городища играли важную роль в экономической структуре Хуннской кочевой империи.

Более полную информацию о соотношении номадных и земледельческих групп в хуннском обществе можно получить на основе анализа погребальных памятников. В качестве методологии для изучения общественной дифференциации по археологическим источникам принята идея о возможности рассмотрения власти как формы социальной энергии (Adams, 1975). С этой точки зрения величина власти связана с масштабом контроля над источниками энергии (продуктивные ресурсы, военная добыча, товарооборот и др.), накопителями энергии (склады, у номадов — стада, сокровищницы и пр.) и контролем над перераспределением энергетических потоков. Исходя из этого можно заключить: чем выше был статус индивида при жизни, тем богаче был опущенный с ним в могилу инвентарь (одежда, украшения, оружие, предметы быта, пища, символы власти, импортные товары). Однако, поскольку многие элитные погребения древности ограблены, надо согласиться и с теми исследователями, которые полагают, что такой критерий,

как количество энергии, затраченной при возведении погребальных сооружений, как правило, коррелируется с рангом умершего, объемом его власти при жизни (Binford, 1971; Массон, 1976; Добролюбский, 1978 и др.).

Таким образом, погребальный обряд может служить достаточно надежным источником для получения информации о социальной дифференциации в исследуемом обществе. Однако процедуре выделения социальных рангов должен предшествовать половозрастной анализ погребений и останков захороненных. Это обусловлено неравным статусом мужчин и женщин (что должно отражаться и в погребальной обрядности), а также существованием в архаическом обществе процедур специфических инициаций, без прохождения которых переход в иной, более значимый социальный статус не представлялся возможным (Бунятян, 1985; Афанасьев, 1993 и др.).

Методика исследования предполагает необходимость проведения ряда последовательных операций.

1. Выделение особенностей погребального обряда, составление списка признаков, ввод информации в компьютерную базу данных (для этих целей была использована специализированная программа STATISTICA 5.0 for WINDOWS).

2. Выявление факторов, значимых для возрастного деления совокупности.

3. Разделение совокупности на взрослые и детские погребения.

4. Выявление факторов, значимых для полового деления массива взрослых погребений.

5. Разделение совокупности на мужские и женские захоронения.

6. Изучение отличий в погребальном отряде в пределах однородных половозрастных групп и интерпретация неопределенных погребений.

7. Выявление существенных факторов, связывающих те или иные внутригрупповые кластеры с различными категориями сопроводительного инвентаря.

8. Интерпретация полученных результатов.

Для выявления признаков, значимых для тех или иных поло-

возрастных и общественных групп, использовался факторный анализ. Данный метод позволяет обнаруживать скрытые факторы, объясняющие связи между выбранными признаками. Для выделения социальных групп внутри однородных половозрастных совокупностей применялся кластерный анализ. Этот метод предназначен для разбиения какого-либо множества на заданное или неизвестное число классов на основании некоторых критериев сходства — различия.

Для анализа нами были отобраны материалы по четырем наиболее изученным могильникам: Ильмовая падь, Черемуховая падь, Дэрестуйский Култук, Иволгинский могильник (всего было учтено 342 погребения). Изучение погребальных памятников хунну Забайкалья выявило сложную социальную структуру, наличие иерархической системы рангов, прослеживаемой в различных половозрастных и этнокультурных группах общества (подробнее см.: Крадин, 1999: 409—475).

Мужские погребения разбиваются на значительно отличающиеся между собой ранги. Элитные курганы резко противопоставлены захоронениям номадов, имевших более низкий статус. Это три кургана (№ 10, 40, 54), выделившиеся в отдельный кластер 2 комплекса Ильмовая падь. Данные курганы, как и другие подобные нераскопанные комплексы из могильников Ильмовая падь, Оргойтон, Царам, Хухундэр, были возведены в память высших региональных вождей (темников) и их ближайших родственников. Кто они были — наместники из “золотого рода” Люаньди или же представители других знатных кланов — на этот вопрос едва ли можно будет получить точный ответ. Нельзя отрицать и вероятности, что часть из этих могильников могла принадлежать каким-либо группам элиты, боровшейся за власть в период гражданской войны 60—36 гг. до н. э., или же была оставлена правителями какой-то из групп северных хунну уже после гибели степной империи. Очевидно одно — власть на протяжении двух с лишним столетий переходила из рук в руки, что и отражает наличие на данной территории нескольких разных родовых (клановых) могильников с элитными захоронениями.

Рассматривая дифференциацию внутри неэлитных мужских захоронений, можно говорить как об отличиях в погребальном обряде и разнообразии сопроводительного инвентаря между

могильниками в целом, так и об отличиях между отдельными общественными группами (субкластерами погребений). Разница между отдельными курганными могильниками могла быть обусловлена определенным статусом племенных и родовых коллективов, воздвигнувших эти погребальные комплексы, внутриэтнической (межплеменной) спецификой и хронологическими отличиями разных этапов истории хунну.

В Ильмовой пади помимо элитных курганов выделены еще две группы (субкластеры 1А и 1В), первая из которых более богата. В могильниках Черемуховая падь и Дэрестуйский Култук выделяются несколько групп, примерно сопоставимых по статусу. Возможно, отличия между данными группами отражают характер деятельности захороненных, которой они занимались при жизни. Кроме этого в Дэрестуйском Култуке не удалось интерпретировать пол и возраст захороненных в ряде безынварных (потенциально низкоранговых) могил. В Иволгинском грунтовом могильнике выделено четыре общественных ранга. Самый низший — безынварные погребения кластера 1. Другие три группы сопровождаются различными категориями инвентаря. Вторая подгруппа (субкластер 2АВ) отличается от первой (субкластер 2АА) наличием пояса, а третья (субкластер 2В) от второй — наличием сбруи.

Количество труда, вложенного в захоронения курганных могильников Ильмовая и Черемуховая пади, Дэрестуйский Култук, в целом больше, чем затраты на погребения грунтового Иволгинского могильника. Это дает основание предположить, что статус кочевников-скотоводов был выше статуса жителей оседлых земледельческих поселений. Но, вероятно, в Хуннской империи между кочевниками и земледельцами не исключались взаимовыгодные торговые и экономические связи, о чем мы говорили раньше.

Исследование совокупности женских захоронений показывает наличие определенной иерархии у представительниц слабого пола. Интересно, что в 7 из 12 выделенных кластеров (субкластеров) женских захоронений встречаются предметы вооружения. Это подтверждает хорошо известный по письменным и археологическим источникам факт об активном участии женщин в военной жизни кочевников. В захоронениях наиболее знатного могильника Ильмовая падь выделяются три социальных ранга: самые “богатые” погребения

относятся к субкластеру 1А, более бедные — к кластеру 2. Погребения женщин с самым низким статусом относятся к субкластеру 1В. В женских захоронениях Черемуховой пади (в отличие от мужских) выделено два общественных слоя. Анализ погребений могильника Дэрестуйский Култук не выявил социальной дифференциации. Скорее всего здесь, как и в случае с мужскими погребениями, лиц более низкого статуса хоронили в безынварных могилах; пол погребенных определить не удалось.

Гораздо более сложная иерархия прослеживается в женских захоронениях Иволгинского могильника. В них выявлено пять рангов. Первая группа (1В) безынварная, во второй (1АА) встречается только керамика, в третьей (1АВ) появляется сопроводительный инвентарь, в четвертой (2А) инвентарь становится разнообразнее (в том числе фиксируются пояс, монеты, украшения), в пятой (2В) данные признаки носят массовый характер, а заупокойная тризна более богата.

Как и в погребениях взрослых, в детских также фиксируется отчетливая разница между курганными (Ильмовая падь, Дэрестуйский Култук) и грунтовыми (Иволгинский могильник) погребальными комплексами. Лучше всего социальная дифференциация прослеживается в Иволгинском могильнике, где совокупность детских погребений распределяется на три группы: безынварные погребения (субкластер 2ААВ), погребения с керамикой (субкластер 2ААА), погребения с разнообразным сопроводительным инвентарем (субкластер 2АВ). Отдельно следует рассматривать погребения в сосуде кластера 1, которые условно обозначены как “младенческие”.

При сопоставлении различных кластеров погребений детей разных могильников выясняется, что по разнообразию сопроводительного инвентаря они могут быть объединены в две группы: 1) безынварные и “бедные” погребения Иволгинского могильника (кластер 1, субкластеры 2ААА, 2ААВ, 2В); 2) погребения Дэрестуйского Култука и Ильмовой пади, к которым примыкает субкластер 2АВ Иволгинского могильника. В целом это дает основание проследить определенную дифференциацию среди захороненных детей, выделить “богатые” и “бедные” погребения. Однако необходимо иметь в виду, что в данном случае разнообразие погребального инвентаря далеко не всегда является отражением стату-

са, поскольку ряд погребений детей, возможно, следует связывать с жертвоприношениями (Миняев, 1989 и др.). В последнем случае богатство инвентаря скорее свидетельство высокого социального статуса погребенных мужчин.

Подводя итоги вышеизложенному, можно констатировать, что территория степной Бурятии представляла собой отдельную провинцию Хуннской империи. В период расцвета державы здесь кочевала административно-территориальная единица в ранге "тумы". Кроме кочевников на данной территории проживало оседлое население, снабжавшее кочевников продукцией земледелия и ремесла. Анализ погребальных памятников выявил наличие социальной дифференциации среди различных половозрастных групп в разных могильниках на территории Бурятии. Самые богатые захоронения сконцентрированы в могильнике Ильмовая падь. Здесь выделяются три ранга в погребениях мужчин и женщин. Мужские захоронения Черемуховой пади и Дэрестуйского Култука объединяются в несколько разных групп, которые, возможно, отражают характер их деятельности при жизни. В женских погребениях Черемуховой пади выделены две группы. Среди женских могил Дэрестуйского Култука дифференциации не выявлено. В Иволгинском могильнике выявлено четыре иерархических ранга у мужчин и пять у женщин. Среди детских захоронений можно проследить определенную дифференциацию на "богатые" и "бедные" (наиболее отчетливые отличия в Иволгинском могильнике, где выделяется 3–4 группы). Однако необходимо иметь в виду, что часть детских погребений, в том числе и не самых бедных, возможно, была связана с жертвоприношениями.

Часть V

АНТРОПОЛОГИЯ ВЛАСТИ ЧИНГИЗ-ХАНА

ВЛАСТЬ В ИМПЕРИИ ЧИНГИЗ-ХАНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРЕСТИЖНОЙ ЭКОНОМИКИ*

Традиционно основания власти в Монгольской империи в эпоху Чингиз-хана принято описывать либо исключительно с прагматической точки зрения (марксистские интерпретации, личная жестокость и коварство и т. д.), либо на основе различных метафизических истолкований (гениальные способности и др.). Между тем в рамках современной антропологической науки (иначе: этнологии, этнографии) существует мощный теоретико-методологический фундамент, позволяющий по-новому ответить на многие ключевые вопросы монгольской истории. Так, согласно одному из наиболее известных теоретиков в области истории власти, Т. Манну, главными силами, ведущими личность к власти являются экономика, политика, война и идеология (Mann, 1987). Другой авторитетный исследователь в этой области, антрополог Т. Ёрл, выделяет три главных источника ее достижения — экономический базис, военную мощь и идеологию (Earle, 1997). Еще одна важная модель политогенеза — “торговая” (Webb, 1975; Ekholm, Friedman, 1979 etc.). Ее основная посылка заключается в том, что внешнеторговый обмен с последующей редистрибуцией редких и престижных товаров среди подданных является важным компонентом власти вождей и правителей ранних государств.

* Власть в империи Чингиз-хана с точки зрения престижной экономики // Чингиз-хан и судьбы народов Евразии. Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2003. С. 36—42.

В целом имеются несколько факторов разной степени важности. В их число можно включить управленческие и редистрибутивные обязанности правителей, контроль над продуктивными ресурсами, внутренним и внешним обменом или торговлей, контроль над ремесленным производством, идеологию, военные функции вождей и т. д. (Крадин, 2004). Во всех перечисленных случаях речь идет о разных сторонах единого процесса монополизации различных общественно-полезных функций. В силу занимаемого места в системе управления обществом, владея информацией и ключевыми рычагами в распределении ресурсов, внешних доходов и произведенного прибавочного продукта, правитель и его окружение постепенно начинают использовать свои возможности и статус в соответствии не только с нуждами общества, но и с собственными потребностями и интересами.

Рассматривая отношения власти в кочевых империях, обязательно необходимо учитывать особенности эволюции кочевых обществ в сравнении с их оседлыми соседями. Если в сельскохозяйственно-городском обществе основы власти покоились на управлении народом, контроле и перераспределении прибавочного продукта, то в степном обществе данные факторы не могли обеспечить устойчивый фундамент власти. Прибавочный продукт кочевничества (скот) нельзя было эффективно концентрировать и накапливать. Максимальное количество животных детерминировалось продуктивностью степного ландшафта независимо от знатности скотовладельца — все его стада могли быть уничтожены джумом, засухой или эпизоотией.

В целом роль правителей кочевых обществ во внутренней экономической жизни была невелика и не могла идти ни в какое сравнение с многочисленными обязанностями правителей оседло-земледельческих обществ. Вся производственная деятельность кочевников осуществлялась внутри семейно-родственных и линиджных групп лишь при эпизодической необходимости трудовой кооперации сегментов подплеменного и племенного уровня (Толыбеков, 1971; Марков, 1976; Khazanov, 1984; Масанов, 1995 и др.). В силу этого власть предводителей степных обществ не могла развиться до формализованного уровня на основе регулярного налогообложения скотоводов. Большинство из них были хозяйственно

самостоятельными и лично независимыми. Степень влияния на них племенных предводителей и правителей вождеств была невысока. В кочевых обществах, не имевших в своем подчинении земледельческих территорий, обычным скотоводам приходилось компенсировать затраты вождей за отправление последними тех или иных общественных функций (рациональное перераспределение пастбищ и водных ресурсов, координация перекочевков, охрана кочевий от врагов, диких зверей и антиобщественных элементов, политические и торговые связи с иноэтничными группами и народами). Очевидно, что при этом верхушка степного общества имела более высокий статус и пользовалась некоторыми привилегиями, получала подношения, использовала коллективные запасы — запретные пастбища, общественные стада и т. д. (Хазанов, 1975; 2000; Марков, 1976; Irons, 1979; Khazanov, 1984; Fletcher, 1986; Barfield, 1992; Golden, 1992; Крадин, 1992; Голден, 1993; Масанов, 1995 и др.).

Стабильная структура власти в кочевых обществах появлялась только в процессе создания и последующего существования кочевых империй или подобных им ксенократических политий несколько меньшего масштаба (Крадин, 1992; 1996; 2001 и др.). Власть в этих обществах основывалась главным образом на внешних источниках господства (Barfield, 1981; 1992; Khazanov, 1984; Fletcher, 1986; Golden, 1992; Крадин, 1992; 1996; Голден, 1993 и др.). Правители являлись верховными военачальниками и обладали монополией на представление степной мультиполитии во внешнеполитических связях с другими странами и народами. Это посредничество накладывало на них обязательство перераспределять “подарки”, дань и полученную во время набегов добычу. В делах же внутренних шаньюи, каганы и ханы обладали гораздо меньшими полномочиями. Большинство политических решений принималось племенными вождями. Такая же двойственность обнаруживается в экономике любой кочевой империи: “Имперский уровень правительства финансировался ресурсами, получаемыми из-за пределов степи, без обложения налогами скотоводов в империи. Получение этой “иностранной помощи” силой или мирными средствами было первоочередной обязанностью имперского правительства” (Barfield, 1981: 58).

Барфилд весьма точно подметил двойственный характер природы власти правителя степной державы. Рассмотрев на примере

Хуннской империи структуру власти шаньюя, он отметил, что в военное время могущество правителя Хунну держалось на необходимости руководства военными действиями, в мирное же время его положение определялось личными способностями перераспределять китайские подарки и товары. Американский политантрополог подробно проанализировал механизм хуннской имперальной машины (*Barfield, 1981: 52–57*), который функционировал примерно следующим образом: шаньюй предпринимал набеги для получения политической поддержки со стороны племен — членов “имперской конфедерации”; далее, используя угрозы набегов, он вымогал от Хань “подарки” (для раздачи родственникам, вождям племени и дружине) и право на ведение приграничной торговли (для всех подданных).

Из ханьских “подарков” самую большую ценность представлял шелк. Шелк был включен в число “стратегических” товаров, которые не могли обмениваться на торговых рынках. Шелк можно было получить только в качестве “подарков” от китайской администрации в обмен на так называемую “дань”, преподносимую императору Поднебесной. В литературе такого рода отношения, сложившиеся между Китаем и соседними народами, в основном интерпретируют как особую форму международной торговли, хотя для обозначения данных отношений используется традиционная тенденциозная терминология древнекитайских источников (“дань”, “данническая торговля” и пр.). Однако, поскольку речь идет о доиндустриальных обществах, в которых отношения между людьми выступают в форме не товарно-денежных, а личных связей, более правомерно было бы говорить о реципроктных дарообменных отношениях (подробнее см.: *Мосс, 1996; Polanyi, 1968; Dalton, 1971. Салинз, 2000* и др.). С точки зрения рациональных экономических отношений обмен “данью” и “подарками” был совершенно абсурдным, потому что ответные дары многократно превышали первоначальные подношения (*Крадин, 1996; 1999*).

Механизмом, соединявшим “правительство” степной империи и племенных вождей, были институты престижной экономики. Манипулируя подарками и одаривая ими соратников и вождей племен по мере необходимости, шаньюй, хан или каган увеличивали свое политическое влияние и престиж “щедрых правителей” и

одновременно как бы связывали получивших дар “обязательством” отдаривания. Племенные вожди, получая подарки, с одной стороны, могли удовлетворять личные интересы, а с другой — повышать свой внутрплеменной статус путем раздач даров соплеменникам или посредством организации церемониальных праздников. Кроме того, получая от правителя степной империи дар, реципиент как бы приобретал от него часть сверхъестественной благодати, чем дополнительно способствовал увеличению своего собственного престижа.

Раздачи подарков хорошо отражены в письменных источниках. Китайские источники эпохи династии Тан упоминали, что тюркские и уйгурские каганы раздавали подарки китайских императоров вождям племен, а военные трофеи — своему войску (*Бичурин, 1956: 298, 299, 314, 330*). Рашид ад-Дин описывал молодого Чингиз-хана как типичного редистрибутора. “Этот царевич Тэмуджин снимает одетую [на себя] одежду и отдает ее, слезая с лошади, на которой он сидит, и отдает [ее]. Он тот человек, который мог бы заботиться об области, печься о войске и хорошо содержать улус” (*Рашид ад-Дин, 1952, кн. 2: 90*). Однако массовыми раздачами занимался не только Чингиз-хан (там же, 233), но и его ближайшие потомки, правившие империей до ее распада на независимые улусы: Угэдей (*он же, 1960: 19, 41*), Гуюк (там же, 119, 121; *Плано Карпини, 1957: 77*), Мункэ (*Рубрук, 1957: 146; Рашид ад-Дин, 1960: 142*), Хулагуиды (*он же, 1946: 67, 100, 190, 215–217*), а также вожди и предводители многих кочевых обществ позднего средневековья и нового времени (*Толыбеков, 1971: 121; Жуковская, 1988: 106; Першиц, 1994: 146; Хафизова, 1995: 201–202* и др.).

Можно предположить, что интеграция племен в имперскую конфедерацию осуществлялась не только посредством символического обмена, даров между вождями различных рангов и ханом. Кроме того, она обуславливалась включением в генеалогическое родство различных скотоводческих групп, разнообразными коллективными мероприятиями и церемониями (сезонные съезды вождей и праздники, облавные охоты, возведение монументальных погребальных сооружений и т. д.).

Определенную роль в институционализации власти правителей кочевых обществ играли выполняемые ими функции священников

посредников между социумом и Небом (Тэнгри), которые как бы обеспечивали покровительство и благоприятствование со стороны потусторонних сил. Согласно религиозным представлениям кочевников, правитель степного общества (шаньюй, каган, хан) олицетворял собой центр социума и в силу своих божественных способностей проводил обряды, которые должны были принести обществу процветание и стабильность. Эти функции имели для последнего громадное значение, поскольку одним из основных элементов идеологической системы архаических и традиционных обществ была вера в магические свойства сакрального правителя (Фрезер, 1986; Куббель, 1988; Скрынникова, 1997 и многие др.). Подобный набор идеологических обязанностей был достаточно типичен для правителя традиционного общества. Сравнительно-историческое исследование 21-го раннего государства, проделанное Х. Дж. М. Классеном, показывает, что в 18 из 19 случаев правитель обладал сверхъестественным статусом; в 17 из 19 случаев он генеалогически был связан с богами; в 14 из 16 выступал посредником между миром людей и миром богов; в 5 из 18 правитель раннего государства имел статус верховного жреца (Claessen, Skalnik, 1978: 556).

Согласно данным представлениям считалось, что процветание социума зависит от личных качеств правителя, его харизмы, умения обеспечить благорасположение со стороны Неба и других сверхъестественных сил. Это можно проиллюстрировать примерами из истории кочевных политий разных эпох, в частности, цитатой из "Алтан тобчи": "Когда он (хаган. — Н. К.) там жил, то среди народа не было болезней, не было ни падежа скота, ни гололедицы, ни голода" (Лубсан Данзан, 1973: 271). В случае невыполнения правителем своих сакральных функций, если вдруг случался массовый джут, эпизоотия и гибель скота от болезни, то такого неудачливого предводителя степной политики могли заменить или даже убить. Однажды на шатер монгольского хана Ариг-буги — брата и противника Хубилая в борьбе за монгольский трон в XIII в. — налетел свирепый смерч. Шатер рухнул и поранил большое количество человек. Многие кочевники считали это событие божественным предзнаменованием и откочевали от Ариг-буги (Рашид ад-Дин, 1960: 165).

Последний сюжет является классическим примером концепции традиционного господства М. Вебера, основанном на убеждении в священном, непререкаемом характере традиций, нарушение которых ведет к тяжелым магико-религиозным последствиям. Вся человеческая деятельность в таком социуме нацелена на воспроизводство общности и обеспечение порядка, устраняющего хаос и нестабильность. Легитимность традиционного господства базируется на вере в наследственные способности правителей и жрецов взаимодействовать с потусторонними силами, в их возможность обрести покровительство Неба для своего народа (Weber, 1922: 130–140).

Тем не менее у кочевников идеология никогда не являлась доминирующей переменной в балансе различных факторов власти. Жизнь степного общества всегда была наполнена реальными тревогами и опасностями, которые требовали от лидера активного участия в их преодолении. Правитель кочевой империи не мог быть только "Сыном Бога", издали взирающим на копошащихся у его ног подданных, подобно египетским фараонам или китайским императорам. Для сохранения единства степной империи одного божественного статуса было мало. Правитель кочевнического общества обязательно должен был обладать реальными талантами военного предводителя или же организатора (отыскав способных полководцев), чтобы повести за собой кочевников к успеху на поле брани и обеспечить затем своих соратников богатствами оседлых народов.

Судя по данным источников, простые кочевники получали в целом немалую долю добычи (в войске Бату-хана, например, 40% от всех доходов (Тизенгаузен, 1884: 188)). Разумеется, все награбленное увезти с собой было нельзя. Источники, в частности, свидетельствуют, что у воинов Тимура, "которые с трудом находили необходимое пропитание", после походов в половецкую степь "скопилось столько лошадей и баранов, что во время возвращения, идя назад, они не были в силах гнать их, а поэтому некоторых погнали, а некоторых оставляли" (там же, 172). Часто пленники и рабы гибли от тяжелых условий перехода, повозки с награбленным имуществом приходилось бросать, спасаясь от погони. Однако нет оснований сомневаться, что в случае успешных походов результаты намного превосходили предполагаемые ожидания. "[Обилие до-

бычи и скота] доходило до того, что пешие нукеры возвращались обратно с 10 и 20 головами лошадей, а одноконные — со 100 лошадьми и больше” (Тизенгаузен, 1941: 118).

В большинстве кочевых структур правитель был вынужден балансировать между аристократией и простыми кочевниками, и было бы ошибочным рассматривать его как самодержца, единолично принимавшего все ответственные решения. Власть лидера держится до тех пор, пока различные внутренние партии и большие социальные группы видят в ней для себя выгоду. В. В. Радлов писал о кочевом хане, что “чем больше выгод доставляет он своим подданным, тем самостоятельнее становится и его власть и тем значительнее собирается вокруг него государство” (1893: 65). Стоило перегнуть палку, как срабатывали механизмы обратной связи. “Покорность в степи, — как отмечал Л. Н. Гумилев, — понятие взаимообязывающее. Иметь в подданстве 50 тыс. кибиток можно лишь тогда, когда делаешь то, что хотят их обитатели; в противном случае лишишься и подданных, и головы” (1967: 27–28).

Как конфуцианские бюрократы, так и средневековые европейские дипломаты плохо разобрались с сутью дарообменных отношений в обществах кочевников. Первые советовали своим императорам воспользоваться специальной политикой “пяти искушений” (Barfield, 1981; Крадин, 1996), чтобы развратить нравы “варваров”. Вторые обвиняли номадов в алчности. “Как князья, так и другие лица, как знатные, так и незнатные, выпрашивают у них много подарков, а если они не получают, то низко ценят послов, мало того, считают их как бы ни во что, а если послы отправлены великими людьми, то они не желают брать от них скромный подарок, а говорят: “Вы приходите от великого человека, а даете так мало?” (Плано Карпини, 1957: 45). Подобная оценка кочевников может быть объяснена только предвзятым отношением папского посланника к монголам. Она тем более удивительна, что монгольские ханы неоднократно демонстрировали подданным свою щедрость и презрительное отношение к богатству. Достаточно сослаться на хрестоматийный пример, приведенный еще Рашид ад-Дином, когда в 1258 г. Хулагу пытался заставить плененного халифа есть золото из сокровищниц Багдада. На возражение последнего, что золото

несъедобно, хан в гневе воскликнул: “Почему ты тогда это копил, вместо того чтобы отдать своим воинам!” (Нагель, 1997: 17).

Исследования антропологов, начиная с М. Мосса (1996; Polanyi, 1968; Dalton, 1971; Салинз, 2000 и др.), показали, что в доиндустриальных обществах дарообмен был универсальным средством установления отношений между индивидами. Причиной этого, согласно Моссу, является антропоморфизм — субъективизация внешнего мира, присущая сознанию первобытного человека. Он видел в подарке магическую силу, которая, с одной стороны, передавала с вещью частицу души дарителя (его “везение”, магические способности и пр.) и, с другой стороны, в случае некомпенсации дара могла навредить обладателю первоначального дара. Символический обмен подарками (как на горизонтальном уровне между равными, так и на вертикальном между сеньором и вассалами) позволял преобразовывать материальные ресурсы в отношения психологической зависимости и престиж, что, в свою очередь, давало возможность получать новые ресурсы и, раздаривая их, увеличивать престиж еще больше.

Таким образом, повышение общественного статуса осуществлялось механизмами престижной экономики: с одной стороны, через организацию массовых праздников, на которых накопленные богатства демонстративно раздаривались или уничтожались, а с другой — через развитие обменных связей и формирование сети зависимых лиц и должников, которые не могли сделать ответный подарок. Без уяснения сущности данных механизмов трудно правильно интерпретировать специфику отношения власти у средневековых монголов, а также понять причины возникновения и расцвета Монгольской империи.

МОНГОЛЬСКАЯ ИМПЕРИЯ И ДИСКУССИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У КОЧЕВНИКОВ*

Проблема монгольского политогенеза в эпоху Чингиз-хана является одним из наиболее дискуссионных вопросов как в монголоведении, так и в кочевниковедении в целом. В настоящее время существуют две основные противоположные точки зрения на уровень сложности общества средневековых монголов. Одни авторы полагают, что империя Чингиз-хана не может считаться государством. Другие исследователи выдвигают гипотезу, что именно Чингиз-хан создал монгольскую государственность (по мнению некоторых ученых, государство возникло еще во времена Хамаг Монгол Улуса). Часть сторонников второй точки зрения определяет это государство как феодальное, часть пишет о раннем или архаическом государстве, третьи переносят вопрос в иную плоскость — они вместо государства и феодализма говорят о цивилизации. Неоднозначность в оценке рассматриваемых вопросов свидетельствует о том, что глубокое осмысление средневекового монгольского общества зависит от более широкого контекста — дискуссии о природе кочевых обществ, а также теории происхождения вождества и государства.

Прежде всего необходимо отметить, что характеристика монгольского общества начала XIII в. во многом зависит от того, ка-

кой группой источников предпочитает пользоваться исследователь. Если опираться в основном на династическую хронику “Юань ши”, написанную китайскими историками, то едва ли можно усомниться в существовании институтов государственного общества в эпоху Чингиз-хана. Конфуцианские летописцы видели мир степных кочевников глазами цивилизованных книжников и интерпретировали его в понятиях бюрократического общества. Поэтому их тесты перестраивают информацией о чиновниках, титулах, налогах и т. д. Похожим образом описали монгольское общество и европейские путешественники в XIII в. Их путевые записки полны сообщений о королях, феодализме, сеньорах и вассалах. Действительно, извне империя Чингиз-хана выглядела как мощное милитаристическое государство с сильной автократической властью. Однако это только внешний, сторонний взгляд. Совсем другим предстает монгольское общество, если реконструировать его на основе “Сокровенного сказания” — источника, созданного в степной среде. Здесь речь идет о племенном обществе с присущими ему институтами групповой солидарности и престижной экономики, неустойчивыми коалициями, возглавляемыми политическими лидерами традиционалистского и харизматического толка. Мы полагаем, что в “Сокровенном сказании” кочевой мир освещен как бы изнутри, и, соответственно, более адекватно передает реалии того времени.

Другая причина незавершенности данной дискуссии заключается в том, что исследователи пытаются общаться на разных методологических языках и неодинаково понимают термин *государство*. В такой ситуации научная дискуссия перестает быть научной. Она превращается в спор о словах, поскольку вместо обсуждения проблемы в рамках общей системы дефиниций каждый говорит о своем. Это похоже на диагнозы двух врачей, когда доктор Цельсий считает, что если у больного будет температура 42 градуса — он умрет, а доктор Фаренгейт утверждает, что он замерзнет при 40 градусах.

В нашем случае проблема находится в разном понимании термина *государство*. В политической и юридической науках классическими признаками государства считаются территория, население, правительство, суверенитет (*Best, Rai, Walsh, 1986: 121–123*). Многие монголоеды полагают, что все эти признаки есть в Монгольской империи Чингиз-хана. Так, например, монгольский ученый

* Доклад на симпозиуме “Новые перспективы в изучении Монгольской империи” в рамках 51-й международной конференции востоковедов Японии (Токио, 2006 г.).

Ш. Бира пишет, что монгольское общество 1206 г. соответствует всем признакам государства, т. е. в нем есть население, территория, правительство и суверенитет (Bira, 2001: 358). С таким мнением трудно не согласиться. Действительно, все эти признаки можно найти у средневековых монголов, и, если использовать подобный подход, Монгольскую империю следует признать государством. Однако в распоряжение современных историков представлены исследования политических и юридических наук, изучающих институты государственности. Ранние системы власти являются также предметом исследования историков, археологов и антропологов. Более того, имеется специальная дисциплина — политическая антропология, которая изучает проблемы происхождения государства и власти в архаических обществах.

С точки зрения политической антропологии три из четырех вышеперечисленных признаков неприменимы к архаическим государствам. Традиция их выделения происходит из концепции суверенитета, которая появилась в Европе в новое время (Modernity). Однако если посмотреть вглубь времен, то все вышеперечисленные признаки — население, территория и независимость — присущи любому самостоятельному коллективу, в том числе и первобытному. Любая группа охотников-собирателей представляет собой *население*. Любая община проживает на некоторой *территории*, контролирует ее и защищает от непрошенных чужаков. Любое вождество рассматривается в качестве предмета исследования только как *независимая* политическая единица (в противном случае это уже не вождество, а дистрикт сложного вождества).

Из вышеперечисленных черт только один признак может служить настоящим признаком государства, т. е. наличие институтов управления. Британская энциклопедия (Vol. 9, 1976: 533) определяет государство как «политическую организацию общества, или тело политики: более узко термин относится к институтам правительства. Этот термин стал известен в XVI в. в значительной степени благодаря использованию его в труде Николо Макиавелли «Государь». Однако необходимо отметить, что лица, выполняющие управленческие обязанности, имеются не только в государстве, но и в любом обществе — племени ирокезов, греческом полисе, африканском вождестве. Поэтому тех, кто занят управлением, не-

обходимо делить на: 1) общих функционеров, деятельность которых может быть нескольких видов; 2) специальных функционеров, выполняющих обязанности только в какой-то одной области управления; 3) неформальных лиц, чья профессия напрямую не связана с управлением, однако они в силу своего статуса или иных причин могут оказывать влияние на принятие решений (родственники, придворные, священники и т. д.) (Claessen, Skalnik, 1978: 576). Поскольку общие функционеры и неформальные лица существовали не только в ранних государствах, но, например, и в вождествах, именно категория **специальных функционеров** может служить критерием государственности. Возможно, это и есть единственный универсальный критерий государственного общества. С предельной лаконичностью суть этого выразил Karl Wittfogel: государство — это управление профессионалов (Wittfogel, 1957: 239).

Кроме того, мы можем назвать организацию управления государством только в том случае, если она состоит из **большого количества** людей. Государство — это не отдельные лица, занимающиеся управленческой деятельностью, а аппарат управления, т. е. совокупность определенных организаций и учреждений. Данные учреждения имеют внутреннюю структуру и состоят из конкретного количества сотрудников, получающих вознаграждение за выполнение специальных обязанностей. Структура может включать специализированные подразделения или ведомства (министерства, канцелярии и т. д.) либо, в принципе, не быть институализирована и находиться при дворе, ставке («штабе» — в концепции М. Вебера) правителя. Необходимо также учитывать, что органы управления гетерархическими обществами отличались от территориальных государств, которые должны были развивать многоуровневые бюрократические иерархии (Trigger, 2003: 219–220).

Были ли помощники у Чингиз-хана? Конечно, были. В некоторой степени управленческие функции он возлагал на телохранителей — *кешиктенов*, которые являлись одновременно и дружиной, и слугами, и гонцами. Кроме того, они проходили подготовку в своеобразной кузнице кадров для имперской администрации. Не случайно после первой инаугурации в списке удостоенных титула тысячников в 1206 г. названы 28 имен тех, кто являлся нукерами, кешиктенами или их родственниками (Hsiao Ch'i-ch'ing 1978:

35–36). Еще при Чингиз-хане упоминается категория лиц (*jarčūci*), которые являлись общими функционерами — наместниками в завоеванных территориях, судили, собирали налоги. Дословно этот термин обозначает человека, который ставит печать от имени кагана (*daru* — монг. *давить*; баскак от тюрк. *bas* — *давить*) (Allsen, 1987: 46). Кроме них в ставке стали появляться грамотные люди, которые ведали бумагами, канцелярией (*bič'eči*), хотя многие распоряжения первых императоров были только устными.

Однако наличие подданных, отвечающих за те или иные хозяйственные функции при дворе правителя, и существование высшего чиновничьего сословия — это далеко не одно и то же. Для сравнения можно отметить, что при дворе французских королей XI–XII вв. также были придворные и служащие, отвечавшие за кухню, винные поставки, повозки, лошадей и развлечения. Однако государственный характер двору придавало наличие канцелярии, камерариев — лиц, ответственных за казну и инсигнии королевской власти (Стукалова, 2001: 71–74). За столетия средневековья и эпохи Возрождения к новому времени численность чиновников в странах Европы возросла еще больше. Так, в начале XVIII в. в Англии было уже около 10 тыс. чиновников, а во Франции 4 тысячи (Волков, 1999: 149, 276).

Однако в государствах Востока чиновников было гораздо больше. По всей видимости, самый многочисленный чиновничий штат был в Китае. Уже в ханьское время в стране было 120 тыс. чиновников, а ко времени династии Тан бюрократический аппарат увеличился до 370 тыс. человек. Штат чиновников различных ведомств насчитывал, например, от 64 единиц в ведомстве общественных работ, до 319 человек в ведомстве чинов (Бокшанин, 1993: 282, 296, 304). В Японии, согласно кодексу “Тайхорё”, было около 900 столичных чиновников и около 4,5 тыс. канцеляристов и обслуживающего персонала. В провинции общее число чиновников составляло 3,7–3,9 тыс. (Волков, 1999: 147, 235). В центральном аппарате корейского государства Силла было примерно 1300 гражданских и 3700 военных чиновников. В корейское время число военных чиновников возросло на несколько сот человек, количество же гражданских бюрократов увеличилось почти

в два раза (Волков, 1987: 55, 107). Только к середине XIX в., когда Запад окончательно превзошел по внутреннему валовому продукту (ВВП) и военно-техническим показателям цивилизации Востока, численность чиновников в государствах ядра капиталистической мир-системы стала измеряться сотнями тысяч и даже превышать в некоторых странах миллион человек (Волков, 1999: 149, 276).

Исходя из подобных цифр, следует признать, что применительно к Монгольской империи периода правления Чингиз-хана нельзя говорить о наличии больших групп специализированных управленцев. В одном из разделов “Юань ши”, посвященном описанию чиновников (*шэньши*), было сказано: “Юаньский Тай-цзу возвысился из северных земель, он объединил [под своей властью] свой народ. Племена пребывали в дикости, не было системы городов и предместий. Обычай страны были безыскусственны и великодушны, не было запутанности многочисленных служебных дел, только с помощью темников управляли войсками, с помощью определявших наказание по делам чиновников управляли административными делами и наказаниями. Используемых на этих должностях было не более 1–2 родственников императора и наиболее влиятельных подданных. Когда же обрели Великую китайскую равнину, Тай-цзун впервые учредил десять лу (“дорог” [подробнее об этом термине см.: Schurmann, 1956: 57–58 (note 7) и податное ведомство, отобрал конфуцианских сановников для использования их [в этом ведомстве]. Приходивших в подчинение цзиньцев жаловали в соответствии с их прежними должностями: если они были *синшэн*, или *юаньшуай*, то и жаловали их должностями *синшэна*, или *юаньшуая*. Когда только закладывалось начало, ещё не было времени для установления долговременных законов” (ЮШ, цз. 85). Из данной пространной цитаты следует, что в период правления Чингиз-хана не существовало сложившегося аппарата управления. Такой аппарат начинает складываться только в период правления Угедея.

Формирование бюрократического аппарата в Монгольском улусе связано с личностью Елюя Чуцая. В 1231 г. Угедей был восхищен умением Чуцая переписывать добычу и хранить ее. Убедившись в его способностях, он назначил Елюя Чуцая председате-

лем государственного секретариата. Этот орган не имел до Хубилая четкой организационной структуры. Но это был настоящий институт, где готовились наиболее важные решения и указы для распространения их на места, выдавались пайцзы, печати и другие атрибуты имперской власти. По совету Чуцая была сформирована система налогообложения завоеванных территорий Китая, заменившая институт “кормлений” монгольских вождей с выделенной им территории. Чуцай на территории Китая начал активно формировать государственный аппарат из числа бывших конфуцианских бюрократов.

Завершение формирования бюрократического аппарата приходится на годы правления пятого монгольского хагана — Хубилая. Согласно произведенным подсчетам, в юаньское время в Китае общее количество ранговых чиновников составляло 22 490 человек, в том числе столичных — 506, дворцовых — 2089, провинциальных — 19 895. Из этого числа 6791 были сэму и 15 738 — китайцы. С учетом того что монголов должно было быть не менее, чем сэму, общее количество чиновников в юаньское время должно было быть не менее 33–34 тыс. человек (Боровкова, 1971: 8).

Таким образом, можно говорить, что развитая форма государства у монголов появляется только при Хубилае, когда Монгольская империя трансформируется в династию Юань. Такое государство Классен называет зрелым (*mature*). Это примерно соответствует тому, что другие исследователи называют “традиционным” или “аграрным государством”.

Подобный подход к термину *государство* предполагает, что развитая форма государственности возникла несколько позже, чем это традиционно принято считать. На рубеже 1980–1990-х гг. сразу несколько исследователей независимо друг от друга пришли к схожим точкам зрения. Используя идеи политантропологов. Е. М. Штаерман (1989) пришла к логичному выводу, что древний римский полис был безгосударственным. В классическом полисе аппарат исполнительной власти отличался крайней малочисленностью. Не было прокуратуры и полиции, налогов и аппарата для их сбора. Только при Августе был завершён процесс создания государства (административный аппарат, преторианская гвардия, когорты стражи, профессиональная армия). Похожие выводы несколько позднее, под влиянием Э. Геллнера, сделал Моше Б-

рент о греческом полисе (Berent, 1994; 2000; 2006). Впоследствии аналогичные мысли привели целый ряд исследователей к выводу о билинейности социальной эволюции (Berezkin, 1995; Ehrenreich, Crumley, Levy, 1995; Blanton et al., 1996; Marcus, Feinman, 1998; Bondarenko, Korotayev, 2000; Haas, 2001 etc.).

Еще одной альтернативой государству является социальная эволюция сложных обществ кочевников-скотоводов. Кросс-культурные исследования скотоводческих народов показывают, что экстенсивная пастушеская экономика, низкая плотность населения, отсутствие оседлости не предполагают институализированной иерархии. Из стандартной выборки 186 обществ (Murdock, Provost, 1973) все развитые классовые общества обязательно имеют постоянную оседлость. Чисто кочевые общества не могут сформировать развитую трехуровневую классовую структуру. Для создания развитого классового общества необходимо земледельческое хозяйство, которое будет служить основой экономики. И это хозяйство, как правило, должно являться интенсивным земледелием. Корреляция между развитой политической иерархией и земледелием также достаточно высока. Из 58 сложных вожеств и государств только два имели слабое развитие земледелия (менее 10%) — халха-монголы и казахи (Крадин, 2006: 202–205).

Эти примеры подтверждают, что кочевые общества могут создавать высокую развитую политическую иерархию без развития земледелия. Это предопределило двойственную природу “степных империй”. Снаружи они выглядели как деспотические завоевательные государства, так как были созданы для получения внешних ресурсов. Но изнутри империи кочевников оставались основанными на племенных связях без установления налогообложения и эксплуатации скотоводов. Сила власти правителя степного общества определялась его умением организовывать военные походы и перераспределять доходы от торговли, дани и набегов на соседние страны.

Однако если империя Чингиз-хана не была “развитым” доиндустриальным образованием, можно ли ее считать ранним или архаическим государством? Теория “раннего государства” была разработана в середине 1970-х гг. и явилась своего рода ответом на догматические марксистские интерпретации докапиталистичес-

ких обществ. Эта достаточно влиятельная теория оказала большое влияние на отечественную политантропологию. В ней есть немало общего с концепцией “дофеодального общества” советского медиэвиста А. И. Неусыхина, считавшего, что еще до возникновения феодализма в Европе существовали иерархические политические структуры, которые не являлись феодальными. Несколько позже к таким же выводам пришел П. Скальник (возможно, не без влияния работ Неусыхина), предположив, что многие политические структуры доколониальной Африки не были феодальными, и правильнее их было бы обозначить термином *раннее государство*. Впоследствии эти идеи были развернуты в кандидатской диссертации, не защищенной по той причине, что автор был вынужден на длительный период времени уехать из своей страны.

Именно в годы эмиграции у Скальника сформировался творческий союз с Х. Дж. М. Классеном, и вышли первые два тома о раннем государстве (*Claessen, Skalnik, 1978; 1981*). В этих книгах, особенно в первой, авторы определяют раннее государство как “централизованную социополитическую организацию для регулирования социальных отношений в сложном стратифицированном обществе, разделенном по крайней мере на два основных страта или возникающих социальных класса — на управителей и управляемых, отношения между которыми характеризуются политическим господством первых и данническими обязанностями вторых законность этих отношений освещена единой идеологией, а основной принцип составляет взаимный обмен услугами” (*Claessen, Skalnik, 1978: 640*). Авторы выделили по степени зрелости три типа ранних государств — *зачаточные (inchoate), типичные (typical) и переходные (transitional)* (*Claessen, Skalnik, 1978: 22, 641*). Ранние государственные образования должны трансформироваться в *зрелые* государства (*mature state*) с развитым бюрократическим аппаратом и частной собственностью.

Интересно, что многие из обществ, которые в работах Классена и Скальника описаны как зачаточные ранние государства (*Claessen, Skalnik, 1978: 593*), в книге о происхождении государства Э. Сервиса интерпретированы только как вождества (*Service, 1975: 150 ff.*; см. также: *Earle, 1997*). Это было обусловлено тем

что представления о вождествах в первой книге о раннем государстве были даны как о очень непрочных и стремящихся к разложению структурах (можно даже сказать, что это скорее племена, чем вождества). Согласно нынешним взглядам П. Скальника (*Skalnik, 2004: 79*), теория раннего государства явилась продуктом соединения ряда идей структурного функционализма, неэволюционизма и марксистских концепций азиатского способа производства и раннеклассового общества. Сами создатели теории тогда почти ничего не знали о концепции вождества и в первой книге обошли ее вниманием. Только во втором издании был затронут вопрос о различиях между вождеством и ранним государством (*Claessen, Skalnik, 1981: 491*). Тем не менее и в этой работе представления о вождествах в концепции “раннего государства” были даны как об очень нестабильных и подверженных распаду политических системах (это больше племена, чем вождества), хотя на самом деле хорошо известно, что вождества могли являться очень крупными и устойчивыми к распаду. Иными словами, там, где другие исследователи находили вождества, Х. Классен и его последователи видели уже ранние формы государства.

Чтобы убедиться в этом, достаточно рассмотреть признаки *зачаточного (inchoate)* раннего государства: 1) доминирование клановых связей; 2) должностные лица существовали за счет доли собираемой ими редиистрибуции; 3) нет легитимной правовой кодификации; 4) нет специальных судебных органов; 5) редиистрибуция, дань и поборы не были строго определены; 6) слабое развитие аппарата управления (*Claessen, Skalnik, 1978: 22, 641*). Кросс-культурный анализ показывает, что только в так называемом *типичном* раннем государстве появляются признаки государственной организации — специальные чиновники, аппарат судей, письменный свод законов и др. (*Bondarenko, Korotayev, 2003*). Какое это государство, если в нем отсутствует главный критерий государственности — специализированный аппарат управления? Следовательно, концепция раннего государства частично подменяет концепцию вождества и ряд обществ, которые относятся к зачаточным ранним государствам и вполне могут быть охарактеризованы как вождества.

Кроме того, если проанализировать признаки *переходного* раннего государства, то можно увидеть, что это уже сложившееся аграрное или традиционное государство. Здесь родственные связи имеют значение только на самых высших уровнях иерархии. Чиновники получают жалованье, есть судебный аппарат, письменное право, налоги, многочисленный штат служащих (Claessen, Skalnik, 1978: 22, 641). Исходя из этого, я предлагаю исключить из типологии ранних государств определения *зачаточное* и *переходное* государства. По сути, следует признать, что *зачаточные* ранние государства правильнее называть *вождествами*.

Можно ли считать империю Чингиз-хана типичным ранним государством? Для *типичного* раннего государства характерно сохранение кланово-линиджных связей, но при некотором развитии внеклановых отношений среди управителей (Claessen, Skalnik, 1978: 22, 641). В этом отношении необходимо отметить, что в отличие от большинства империй кочевников территориальное деление наиболее ярко может быть прослежено у монголов в период создания державы Чингиз-хана в 1206 г. В параграфе 202-м “Тайной истории монголов” дается подробный список 95 нойонов, которые были пожалованы в тысячники. Среди них нет близких родственников Чингиз-хана. В основном это его соратники по боевым победам, связанные с ним лично. Однако с течением времени, после смерти основателя державы, на высших уровнях управления возобладали старые клановые отношения. Это может быть прослежено на основе изучения длинных генеалогических списков, приведенных в “Сборнике” у Рашид ад-Дина. В то же время в управленческом аппарате остались лица, которые еще при жизни правителя занимали высокое положение.

Другой признак раннего государства касается способа получения дохода управленческой элиты. Здесь источником существования должностных лиц являются как “кормления” за счет контролируемого населения, так и жалованье из центра (Claessen, Skalnik, 1978: 22, 641). По этому пункту необходимо заметить, что нет данных о наличии при жизни Чингиз-хана регулярных выплат функционерам. Позднее, в годы царствования Угедея, на территории Северного Китая чиновники также не получали платы. Они жили

за счет подчиненного им населения. Жалованье, хоть и небольшое, было введено только при Хубилае, чтобы чиновники прекратили обирать народ и вымогать взятки (Мункуев, 1965: 117).

Один из важнейших признаков раннего государства — появление письменного свода законов (Claessen, Skalnik, 1978: 22, 641). Подлинником *Ясы* ученые не располагают. Имеются только различные пересказы историков. Эти сведения были подвергнуты убедительной критике (Ayalon, 1971). П. Рачневски считает, что при Чингиз-хане так называемая *Яса* представляла собой совокупность записей различных изречений и распоряжений хана по разным поводам. Эти изречения нельзя считать юридическим документом систематического характера (Ratchnevsky, 1983: 164–165). И. де Рахевилц полагает, что *Яса* существовала как устный, а позднее записанный свод запретов и правил, в который не дозволялось вносить изменения. Вследствие этого *Яса* могла стать основой юридического кодекса (букв. “телом фундаментальных законов” — “body of fundamental law”). Однако *Яса* не была четко разработанным юридическим кодексом. После разделения Монгольской империи значение *Ясы* утратило былую силу (Rachewiltz, 1993: 102–104). Самое удивительное заключается в том, что текст *Ясы* был запретным для большинства людей. Доступ к ней имели только некоторые потомки Чингиз-хана. В данном случае можно говорить об эмбриональных формах права. *Ясу* нельзя считать целостным сводом законов, подобно различным раннесредневековым *Правдам* — *Вестготской*, *Салической*, *Русской* и т. д.

Следующий признак раннего государства — наличие специального аппарата судей, разбирающих большинство юридических вопросов (Claessen, Skalnik, 1978: 22, 641), споров и конфликтов. Известно, что такого рода орган функционировал ранее 1206 г., например, судебные полномочия были вменены Бельгутаю (Козин, 1941: § 154; Rachewiltz, 2004: 771). В 203-м параграфе “Тайной истории монголов” говорится о том, что Чингиз-хан поручил в 1206 г. Шиги-хутуху заниматься судебными разбирательствами (Rachewiltz, 2004: 135–135, § 203). В помощь ему были даны дружинники (Козин, 1941: § 234). И хотя подобные лица (*jarγuči*), похоже, имели гораздо более широкой круг обязанностей, все-таки

факт начального формирования аппарата судей свидетельствует в пользу признания империи Чингиз-хана ранним государством.

Еще один признак раннего государства — налоги (*Claessen, Skalnik, 1978: 22, 641*). Во времена Чингиз-хана с кочевников налоги не взимались. В “Гайной истории” глагол *qubciri* — “собирать” и производные от него использовались для обозначения реципрокации и редистрибуции. Только в 279-м параграфе этот термин применен в другом смысле, т. е. как налог. Это были слова Угедея, вероятно, сказанные на курултае 1229 г., о необходимости взимания одной овцы со ста голов животных. С этого времени можно вести отсчет о взимании налогов с кочевников. С земледельцев при жизни Чингиз-хана монголы налогов не собирали. Основной формой их дохода была военная добыча. Только после смерти Чингиз-хана, по мере завоевания территории Цзинь, по предложению Елюя Чуца в 1231 г. были установлены налоги.

Самая большая сложность, возникающая у исследователей, найти определение — сколько людей могут составить государство и, соответственно, сколько не могут. Согласно уточнению Классена в личном письме к автору, это могли быть даже несколько человек (“this apparatus can be limited to a few functionaries only”). Трудно согласиться с данной точкой зрения, ведь в таком случае стирается грань между вожжеством и ранним государством. Я не могу в настоящий момент предложить решение этой проблемы. Однако хочется напомнить заключительные строки самого первого цзюаня летописи, в которых высказывается сожаление, что в период правления Чингиз-хана не существовало специальных чиновников, которые бы могли подробно записать все его деяния, и поэтому многое кануло в Лету. Китайские средневековые летописцы интуитивно понимали, что в империи Чингиз-хана нет развитой бюрократии. Еще более откровенно звучат упомянутые выше первые строки 85-й главы этого исторического произведения, посвященной описанию чиновничества. Там сказано, что при Чингиз-хане нравы были просты и сердечны, не имелось запутанных дел и служб, вся администрация сводилась лишь к военачальникам и судьям. Всего подобных лиц из числа ханских родственников, ближайших друзей и нойонов были считанные единицы.

Таким образом, из шести признаков раннего государства в империи Чингиз-хана можно уверенно найти только два (внеклановая администрация, судьи). В этом обществе отсутствуют главные признаки раннего государственного общества — налоги, письменное право, бюрократический аппарат. Как правильнее назвать такое общество? В имперских конфедерациях кочевников была многоуровневая иерархия, даже две параллельные формы иерархии — социальная в понятиях родства и военная. Первой формой политической иерархии является вожество. Поэтому я предложил для обозначения таких структур термин *суперсложное вожество* (*Крадин, 1992*). Суперсложное вожество в форме кочевых империй — это уже реальный прообраз государства. Если численность сложных вожеств измеряется, как правило, десятками тысяч человек, то численность суперсложного вожества составляет многие сотни тысяч и даже больше (применительно к кочевым империям Центральной Азии в пределах 1–1,5 млн человек).

По мере роста Монгольской империи за счет все новых и новых завоеваний возникала потребность в освоении покоренных территорий. Здесь кочевники могли использовать две противоположные модели: 1) уничтожение городов, земледельческого населения, превращение полей в пастбища для скота; 2) усложнение собственных органов управления — седентеризация правящей элиты в городах, создание бюрократического аппарата, введение письменности и делопроизводства по китайскому образцу. В этой связи нелишним будет напомнить разногласия, которые появились внутри монгольской элиты между сторонниками милитаристической и пацифистской партий. Поскольку завоеванными территориями невозможно управлять с помощью традиционных институтов кочевого общества, империи была необходима принципиальная модернизация органов управления. В афористичной форме мысль о неприменимости кочевых институтов власти к управлению земледельческим государством отражает знаменитая фраза Елюя Чуца, сказанная Угедею о том, что кочевники могут завоевать Китайскую империю, но управлять ею, сидя на коне, невозможно (*Мункуев, 1965: 19*).

С течением времени монгольская элита избрала именно этот путь. Можно уверенно утверждать, что в период правления Угедея

государственность сложилась окончательно (из шести признаков Классена фиксируются четыре). В результате возникла гигантская трансконтинентальная империя, в которую входили многие народы и государства Старого Света. В этой империи кочевники-монголы занимали господствующее политическое положение, но составляли лишь незначительный процент численности населения и играли небольшую роль в экономическом секторе. Важно помнить, что это был особый, весьма специфический мир, во многом чуждой и непривычный представителям оседло-земледельческих государств. Он может быть понят и осмыслен только в том случае, когда мы попытаемся посмотреть на него глазами соплеменника степняка — воина и скотовода. У представителей оседло-городских цивилизаций был несколько иной взгляд на природу мира кочевников. Мы также должны иметь его в виду. Однако это не умаляет ни оригинальности политических систем монгольских кочевников, ни их вклада в мировую историю.

ЧИНГИЗ-ХАН И ДОИНДУСТРИАЛЬНАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: МИР-СИСТЕМНАЯ ПЕРСПЕКТИВА*

Одним из наиболее популярных методологических подходов последних десятилетий является мир-системный подход. У его истоков стоял французский историк Ф. Бродель. В работах этого ученого была выдвинута идея о “мир-экономиках”, которые связывали торговыми потоками различные регионы и культуры в единое социальное пространство. Впоследствии эта идея была развита И. Валлерстайном. Главный предмет его исследования — капиталистическая мир-система, возникшая в Европе в XVI–XVII вв. Именно она является подлинно глобальной системой, охватывающей все страны и народы. Однако в 1989 г. Ж. Абу-Луход выпустила книгу “До европейской гегемонии” (*Abu-Lughod, 1989*), в которой завоевания монголов расцениваются как важнейший фактор создания первой по-настоящему глобальной мир-системы XIII в., что впоследствии дало возможность сравнить по значимости эти процессы с “большим взрывом” в истории Вселенной (*Ashed, 1993: 53*). Значимость этой работы заключается в том, что Абу-Луход первой обосновала единство мира до эпохи гегемона капитализма.

Важнейшим компонентом этой мир-системы XIII в. были торговые пути. Ж. Абу-Луход пишет, что главный вклад монголов в мировую историю заключается в том, что они создали среду, благоприятную для развития культурных и торговых обменов.

* Доклад на VIII международном конгрессе монголоведов (Улан-Батор, 2006).

В течение короткого времени это сломало барьер между странами и цивилизациями, открыло путь мощным потокам товаров и идей (*Abu-Lughod*, 1989: 154). Первейшим условием развития международной торговли стала безопасность. Была создана инфраструктура для беспрепятственного передвижения торговых караванов, постепенно сформировалась сеть караван-сараяв и станций. Джувейни сообщает, что после 1206 г. на территории Монголии установился мир и порядок, вследствие чего дороги стали безопасными, и это привело к активизации торговой деятельности (*Juvaini*, 1997: 77).

Другим важным катализатором развития торговли явились усовершенствования в финансовой области — формирование вексельной системы и развитие системы кредитования, появление бумажных денег в Китае (*Seaman*, 1991: 5–6). Уже в 1236 г. по представлению Елюя Чуцяя были выпущены бумажные деньги на сумму 10 тыс. слитков серебра (*Бичурин*, 1829: 261).

При быстрой езде на почтовых лошадях путь от Золотой Орды до столицы империи Юань занимал более 200 дней (*Кычанов* 2002: 32), а при более спокойных темпах передвижения, например от Черного моря до Ханбалыка, дорога занимала не менее 300 дней (*Abu-Lughod*, 1989: 183). С товарами брата Поло преодолели расстояние от Монголии до Средиземноморья примерно за три с половиной года (*Книга Марко Поло*, 1956: 48, 50). Однако информация по степи распространялась гораздо быстрее. Несмотря на то, что в те времена не было каких-либо технических средств, великий хан задолго узнал, что в его сторону движутся братья Поло и выслал к ним за 40 дней сопровождающих (там же, 50).

Несомненно, торговля стала в монгольскую эпоху намного более прибыльным делом, чем ранее. Угедей давал купцам и перекупщикам за товары вдвое больше их стоимости. По свидетельству Джувейни, в этот период многие заработали большой капитал и достигли значительного процветания (*Juvaini*, 1997: 132). Стремясь превзойти славу о щедрости своего отца, Гуюк покупал товары у купцов в несколько раз дороже, чем предлагали сами торговцы (*Juvaini*, 1997: 259–260). Обычная торговая пошлина была чуть более 3% (*Книга Марко Поло*, 1956: 310). Торговые пошлины на товары из Индии и других стран могли достигать 10% (там же, 163, 310).

Даже Папа Римский, осознав все выгоды транзитной торговли через Орду, предоставил купцам полную свободу действий. На Черноморском побережье как грибы возникли генуэзские колонии: Солдайя (Судак), Кафа (Феодосия), Тана (Азов) и др. В XIII в. генуэзцы бороздили не только Черное, но и Каспийское море. Итальянцы вывозили из своих колоний меха, кожу, лошадей, воск, ладан, зерно, соль, вино, некоторые предметы роскоши (*Хеллер*, 2002: 119). Монгольские ханы использовали их как своих посланников к Папе Римскому (*Abu-Lughod*, 1989: 169). “Первенство степного — северного — пути по отношению к южному, идущему от Трапезунда через Зиганское ущелье в Понтийских горах к Тебризу, утвердилось уже после падения владений крестоносцев в Сирии (1291) и с изданием папского запрета на торговлю с Египтом. Существенную роль для становления золотоордынского степного пути сыграли открытие Палеологами в 1261 г. черноморских проливов и политическая интеграция северо-восточной части Понтийского побережья в состав Золотой Орды. Развитию маршрутов Шелкового пути в условиях централизованного государства способствовала система мер, нашедшая выражение в создании двух черноморских латино-ордынских буферных зон — крымской (под контролем Солтаха) и приазовской (под контролем Азака), ту же цель преследовали низкие ставки таможенных сборов” (*Крамаровский*, 2001: 15).

После смерти Мунке на некоторое время дороги стали небезопасны, поскольку монгольский мир раскололся на две политические фракции. Можно было легко угодить в плен (*Книга Марко Поло*, 1956: 45, 65). Однако после завершения смуты положение стабилизировалось. Даже несмотря на то, что Хубилай перенес столицу империи в Ханбалык, значение Каракорума как важного центра торговых коммуникаций не утратилось полностью. Об этом, в частности, свидетельствуют раскопанный неподалеку от северного вала городища могильник с мусульманскими захоронениями этого времени, а также находки серебряных золотоордынских монет 1340-х гг. (*Войтов*, 1990: 133, 140, 146).

Фактически до 1370-х гг. торговля с Востоком через золотоордынские владения была совершенно безопасной. В знаменитом Каталонском атласе 1375 г. около Сарая изображен караван купцов.

направляющийся на Восток. Рисунок снабжен надписью: “Этот караван вышел из Сарая, чтобы отправиться в Китай”. Опытные люди рекомендовали брать с собой только муку, соленую рыбу и переводчика (по возможности, женщину). Все остальное, особенно мясо, в дороге можно было найти в достаточном количестве (Гекеньян, 2002: 97, 98).

Развитие торговли стимулировало развитие товарно-денежных отношений. Постепенно в различных областях империи развивается чеканка монет. При Мунке были восстановлены центры чеканки монет в Бухаре, Отраре, Харате, Мосуле и других крупных городах. В годы его правления было выпущено в обращение гораздо больше монет, чем в царствование его предшественников (Allsen, 1987: 182–183). Активно функционировали монетные центры в столице Золотой Орды и Хорезме, на Кавказе (Пономарев, 2002). Это привело к тому, что с течением времени была проведена монетизация — натуральные подати были заменены денежным налогом (Allsen, 1987: 171–186).

По мере увеличения объемов международной торговли возникла серьезная проблема — как конвертировать одни виды валюты в другие, особенно если в западной части Евразии чеканили монеты из драгоценных металлов, тогда как в Китае существовали медные и даже бумажные деньги. Этот вопрос был еще более важен в связи с тем, что развитие товарооборота тормозилось необходимостью возить с собой крупные суммы денег для проведения торговых операций. Постепенно такая ситуация привела к возникновению кредитной системы. Это позволяло торговцам на основании бумажных обязательств получать деньги для ведения финансовых операций в чужом городе и даже за границей и расплачиваться наличными средствами по возвращении домой. Несомненно, подобная система предполагала определенный риск, который старались минимизировать посредством создания сети семейно-родственных торговых предприятий, разного рода товариществ и корпораций. В такой системе ответственность возлагалась не только на конкретного человека, но и на всю группу, в которую он входил. Это послужило еще одним стимулирующим обстоятельством развития международной торговли XIII–XIV вв. (Abu-Lughod, 1989: 15–16).

С течением времени в империи остро встал вопрос об унификации денежного обращения. Т. Олсон (Allsen, 1987: 180–182) полагает, что роль универсальной валюты выполнял слиток серебра (монг. — *sike*, кит. — *тин*, перс. — *balosh*, уйг. — *yastug*). О том, что в Монгольской империи указанного времени существовала подобная практика, известно из записок Г. Рубрука, который ошибочно назвал слиток *яскот* (*iaskot*, ошиб. от *yastug*) и сообщил, что он весит десять марок (Rockhill, 1900: 156). Джувеини сообщает, что *бальши* составляет 50 золотых или серебряных *мискалей* или около 75 динаров Рукн ад-Дина (Juvaini, 1997: 23). С этой точки зрения слиток действительно мог использоваться как универсальная валюта, которая имела свое соотношение со всеми денежными системами, использовавшимися в метрополии. Однако насколько был велик “серебряный запас” кочевой империи — вопрос не из простых. На XIII в. приходится конец так называемого “серебряного голода”, вызванного истощением источников добычи серебра, что привело к активизации выпуска золотых монет (Пономарев, 2002: 9). Не надо также забывать, что большая часть запасов из дворцовых кладовых раздавалась в виде подарков. Поэтому можно допустить, что так называемый *слиток*, или *бальши*, являлся не столько реальным средством обмена на местные валюты в международных торговых операциях, сколько виртуальной унифицированной мерой подсчета денег и финансовых расчетов.

Важное место в мир-системных отношениях XIII в. занимал обмен товарами престижного потребления. Как свидетельствует Рубрук, в ставку монгольских хаганов нескончаемым потоком текли престижные товары. “Из Катайи и других восточных стран, а также из Персии и других южных стран им доставляют шелковые и золотые материи, а также ткани из хлопчатой бумаги, в которые они одеваются летом. Из России, из Мокселя (Moxel), из великой Булгарии и Паскатира, то есть великой Венгрии, из Керкиса (все эти страны лежат к северу и полны лесов) и из многих других стран с северной стороны, которые им повинуются, им привозят дорогие меха разного рода, которых я никогда не видал в наших странах и в которые они одеваются зимою” (Рубрук, 1957: 98). С течением времени развитие торговли и поступление в монгольские степи богатой военной добычи привели к резкому падению цен на предметы роскоши и ткани (Juvaini, 1997: 22).

Создание Монгольской империи стимулировало развитие текстильного производства в Западной Азии и поступление тканей в Монголию и Китай. Т. Оллсон полагает, что это было обусловлено давними традициями космологии и символами высокого статуса народов степи. Символы предназначены для маркировки высших и низших групп, отражения в культурно-ритуальной форме реальных политических связей и структур (Бурдые, 2005). Существует много разнообразных символов власти (Крадин, 2004: 141–148). Однако у кочевников накопление материальных богатств в значительной степени ограничено подвижным образом жизни, что предполагает, с одной стороны, яркие, но, с другой — достаточно легкие и транспортабельные маркеры высокого статуса. С давних времен в культурном мире степняков таковыми выступали лошадь, богато украшенный пояс, оружие, парчовый халат и головной убор (Allsen, 1997: 102–104; Доде, 2005).

Шелковые ткани не только выполняли важную гигиеническую функцию, но и символизировали положение их обладателя в обществе. Отсюда понятно, почему расшитые золотом ткани так были популярны у монгольских ханов. Они представляли собой предмет престижного потребления, и эти товары были важным ресурсом политической власти в обществе кочевников. “Не найдется ли и для меня хоть шнурка от золотого пояса, хоть лоскутка от своей багряницы”, — с такой просьбой обращается правитель турфанских уйгуров к Чингиз-хану (Козин, 1941: § 238). “Богатые одеваются в золотые да в шелковые ткани, обшивают их перьями, мехами — собольими, лисьими, горностаем, чернубурой лисицей. Упряжь у них красивая, дорогая”, — свидетельствует венецианский путешественник (Книга Марко Поло, 1956: 90).

Правители Монгольской империи требовали от зависимых владений различных способов демонстрации лояльности: 1) личного прибытия в ставку кагана; 2) отправки ко двору сыновей или младших братьев в качестве заложников; 3) проведения переписи; 4) мобилизации рекрутов; 5) сбора и отсылки налогов или дани; 6) приема *даргучи* (баскаков); 7) в некоторых случаях создания и поддержания ямской службы (Allsen, 1987: 114).

При этом в каждом из завоеванных улусов монголы вели себя по-разному (Halperin, 1983). Неодинаково они воспринимались и

завоеванными народами. В Китае монголы вписались в классическую схему смены династий вследствие нарушения предыдущим императором повелений Неба. В результате Монгольский улус переродился в династию Юань. Однако если кидани и чжурчжэни (особенно последние) твердо шли по пути китаизации, то монголы остались большими “варварами”, чем их предшественники. Императорская семья заимствовала китайский церемониал, но этническое противостояние между завоевателями, другими народами и китайцами сохранилось. В общей сложности за сто с лишним лет политического господства они не растворились среди местного населения.

Ильханы пошли по пути прямой идентификации с местной структурой власти. В Иране и Средней Азии имелись обширные пустыни и пастбища, соседствовавшие с оазисами сельской и городской жизни. Ислам больше христианства и буддизма соответствовал воинственному образу степняков (Fletcher, 1986). В результате монголы заняли нишу предшествовавшей им тюркско-арабской местной господствующей элиты и воспринимались исламской философией через призму циклической парадигмы возникновения и гибели номадической государственности (например, в концепции Ибн Халдуна).

Совсем иначе обстояло дело на Руси. По соседству с русскими княжествами имелись большие территории, пригодные для занятия кочевым скотоводством. Это позволяло ханам Золотой Орды контролировать внутреннюю ситуацию на Руси, не прибегая к необходимости размещения больших гарнизонов в покоренной стране. Поскольку основные геополитические интересы Джучидов были сосредоточены вокруг так называемого северного Шелкового пути (Хорезм, Поволжье, Причерноморье), их устраивала политика косвенного управления русскими княжествами через институт ярлыков. Следует отметить, что в православной концепции мироздания не нашлось места для обоснования подчинения славян “нехристям”-монголам. Признавался только факт военного поражения, но отрицалось завоевание и включение русских княжеств в состав Монгольской империи (Halperin, 1985: 65–74). Косвенное отражение этого можно найти даже в современных школьных и вузовских учебниках, где признан факт подчинения Руси Золотой

Орде, но на картах русские княжества обозначены не как часть Орды, а как суверенные владения. Отсюда и возник столь нездоровый ажиотаж вокруг полемики о “татаро-монгольском иге”.

Постепенно на карте средневековой мир-системы стали формироваться новые экономические узлы, которые стягивали вокруг себя потоки материальных и престижных товаров, властных ресурсов, больших масс населения. С течением времени, подобно Каракоруму, ставки Чингизидов превращаются в настоящие города. Для обеспечения нужд элиты по соседству с местами ее проживания сосредоточиваются ювелиры, мастера по выделке искусных тканей и изысканных одежд, строители дворцов и других крупных сооружений.

Ибн Батута описывает столицу Золотой Орды как многонаселенный город с широкими улицами и дворцами, богатыми усадьбами, ремесленными кварталами, шумными базарами и храмами разных конфессий. Однажды Ибн Батута решил объехать весь Сарай; выехав рано утром, он только к полудню добрался до другого конца города. Отобедав и помолившись, он вернулся домой только к закату. “Город Сарай, — констатирует он, — один из красивейших городов, достигший чрезвычайной величины, на ровной земле, переполненной людьми, с красивыми базарами и широкими улицами... все это сплошной ряд домов, где нет ни пустопорожних мест, ни садов” (*Тизенгаузен*, 1884: 306). Можно себе представить каковы были размеры этого средневекового мегаполиса. Даже если допустить, что Ибн Батута ехал в течение четырех часов (с восьми до полудня) не спеша, со скоростью около трех километров в час, то диаметр города приблизительно составлял не менее 12 километров!

В 1260 г. Хубилай перенес столицу из Каракорума в Кайши (Шанду), а в 1264 г. — в Яньцзин (Пекин). В 1271 г. он отстроил новый город с огромным дворцом. “Колонны и пол в нем сделан из мрамора, он очень красив и наряден; вокруг него четыре двора, один от другого на расстоянии полета стрелы. Внешний (двор) — для дворцовых слуг, внутренний — для сидения эмиров, которые собираются здесь каждое утро, третий — для стражи и четвертый — для приближенных” (*Рашид ад-Дин*, 1960: 174). Город получил название Ханбалык (Дай-ду, Ханбалгасун, Йекунийсаэл — Великая столица).

С искренним восторгом описывает Ханбалык не привыкший к подобным масштабам роскоши венецианец Марко Поло: “Домов и народу в этом городе, и внутри, и вне, превеликое множество... в предместьях жителей более, нежели в городе, там пристают и живут и купцы, и все, кто приходит по делам; а приходит многое множество ради великого хана... везут сюда драгоценные камни, жемчуг и всякие другие дорогие вещи. Все хорошие и дорогие вещи из Китая и других областей привозят сюда; и все это для государей, что живут здесь, для их жен, для князей, для великого множества военных людей и для тех, что приходят сюда, ко двору великого хана... много здесь товаров продается и покупается. Каждый день, знаете, приезжает сюда более тысячи телег с шелком; ткуются тут сукна с золотом и шелковые материи” (Книга Марко Поло, 1956: 119).

Столь же красочно венецианский путешественник описывает столицу Хулагу город Тебриз. “Выделяются тут очень дорогие, золотые и шелковые ткани. Торис на хорошем месте; сюда свозят товары из Индии, из Бодака (Багдада), Мосула, Кремозора и из многих других мест; сюда за чужеземными товарами сходятся латинские купцы. Покупаются тут также драгоценные камни, и много их здесь. Вот где большую прибыль наживают купцы, что приходят сюда... и много тут всяких людей; есть и армяне, и несториане, и якобиты, грузины и персияне, и есть также такие, что Мухаммеду молятся” (там же, 60). Все это можно рассматривать как показатель лояльности многочисленных иностранцев, живших в столице империи, и помощь в сохранении ими своей этнической идентичности. Возможно, это иногда создавало эффект снежного кома: одна группа, которая уже освоилась в новом месте, стимулировала приезд с родины новой группы мигрантов (*Allsen*, 2001: 196).

Подобные примеры наглядно показывают, как изменили средневековый мир походы монгольских ханов. Несомненно, главное значение Монгольской империи для мировой истории заключалось в том, что монголы замкнули цепь международной торговли в единый комплекс сухопутных и морских путей. Впервые все крупные региональные составляющие средневековой мир-системы (Европа, исламский мир, Индия, Китай и Золотая Орда) оказались настолько интегрированными в единое макроэкономическое

пространство (*Abu-Lughod*, 1989; 1990), что это привело к глобальному информационному, технологическому и культурному обмену между цивилизациями Старого Света. Сила связей оказалась настолько велика, что даже после изгнания монголов из Китая и разгрома Тимуром столицы Золотой Орды система международной торговли сократилась, но не исчезла целиком. Это видно хотя бы по одной из сделок, заключенной в Сарае в 1438 г. среднеазиатским купцом, который закупил товаров на 45900 динаров. Из перечисленных в финансовых документах товаров шелк и атлас названы китайскими, полотно — европейским, а сукно — русским. Процент прибыли от торговли был, с нашей точки зрения, фантастическим: сукно — 66%, шелк и полотно — 300%, атлас — 433% (*Крамаровский*, 2001: 15).

Оценивая роль империи Чингиз-хана и его преемников в мировой истории, необходимо констатировать, что монгольские завоевания принесли гибель многим народам и цивилизациям. Злу и насилию не может быть никаких оправданий. В то же время было бы неправильно преувеличивать степень и характер разрушений, совершенных монголами. Еще в первой половине прошлого столетия археологическими исследованиями установлено, что разгром Ургенча Тимуром в 1388 г. имел более катастрофические последствия, чем взятие этого города Чингиз-ханом в 1231 г. (*Якубовский*, 1930: 20). Можно считать вполне объективным свидетельство Джувейни о завоевании Чингиз-ханом Средней Азии: “Волны несчастий вздымались от татарского войска, но он не успокоил еще свое сердце мстостью (за резню купцов. — *Н. К.*) и не заставил течь реки крови, как было написано пером Рока на свитке Судьбы. Когда же он взял Бухару и Самарканд, он удовлетворился однократной резней и грабежом и не дошел до крайности массового уничтожения. А что до соседних территорий, которые подчинялись этим городам или граничили с ними, поскольку они большей частью повиновались, рука погибели не коснулась их в полной степени. И впоследствии монголы усмирили выживших и приступили к восстановительным работам, так что в настоящее время, т. е. в 658/1259—1260 гг., процветание и богатство этих земель в некоторых случаях достигли своего первоначального уровня, а в других близкого к нему. По иному обстоят дела в Хорасане и

Иране, в странах, подверженных постоянной малярии и лихорадке: каждый город и каждое селение много раз там были разграблены и истреблены и долгие годы страдали от беспорядков” (*Juvaini*, 1997: 96—97).

Русские княжества были подвергнуты масштабному разорению. Были разграблены и сожжены такие столичные центры, как Киев, Рязань, Владимир, не считая других крупных по тем временам древнерусских городов, а также городков и ближайшей сельской округи. Факт разорения городов хорошо подтверждается археологическими свидетельствами, многие из которых, например, Десятинная церковь в Киеве, стали уже хрестоматийными примерами. Значительная часть из оставшихся в живых горожан была уведена в плен. Многие из полоненных являлись высококвалифицированными мастерами в различных ремеслах. Естественно, дефицит специалистов сказался на качестве технологий, что хорошо прослеживается, например, в изделиях первой необходимости, в частности на гончарстве. Керамические сосуды, относящиеся ко времени после похода Бату на Северо-Восточную Русь, нередко сделаны из плохо промешанного теста и отличаются некачественным обжигом. Часто можно фиксировать значительные искажения от устоявшихся пропорций, что явно свидетельствует о потере сложившихся навыков и приемов гончарства. Подобные изделия делались либо непрофессионалами, либо чудом уцелевшими в ходе нашествия подмастерьями, учениками (*Кадиева*, 2003).

Однако было бы неправильно все последствия кризиса Руси в XIII в. списывать только на монголов. Помимо внутривосточного кризиса, выразившегося в неспособности князей объединиться и дать отпор захватчикам, можно говорить о широком комплексе разнонаправленных изменений, вызванных различными объективными и достаточно случайными обстоятельствами (*Феннел*, 1989). После походов Бату одни города сравнительно быстро восстановились (Серенск, Переяславь Рязанский и т. д.), для других процесс восстановления затянулся на более длительный срок. Возможно, сильно пострадали столичные города — Киев, Рязань и Владимир. Но упадок иных городов не был напрямую связан с Батыевым нашествием. Так, потеря лидирующих позиций крупнейшего городского центра домонгольского времени на территории Север-

ной Руси — Белоозера — была обусловлена кризисом промысловой экономики в регионе, возникшим в связи с сокращением добычи пушнины. Ростову удалось избежать полного разгрома в 1238 г., однако он неоднократно подвергался набегам со стороны как татар, так и соперничающих русских княжеств в более позднее время, что привело впоследствии к угасанию города. Изучение динамики сельских поселений Северо-Восточной Руси показывает, что запустение сложившейся системы расселения и складывание новой были обусловлены различными палеоэкологическими и социально-экономическими факторами (Макаров, 2003).

Более того, далеко не всегда археологические свидетельства пожаров, насильственной смерти и разрушений следует связывать с походами Бату. В том же Киеве часть разрушений могла быть вызвана землетрясением 1230 г. или более поздними погромами 1416 и 1482 гг. (Ивакин, 2003). Следует иметь в виду, что потери монголов также были велики (что никоим образом не оправдывает их завоеваний). Наступающие, как правило, терпят большие потери, чем обороняющиеся. По некоторым предположениям, только по время первого русского похода монголы потеряли из 70 тыс. воинов примерно 25 тыс. убитыми и чуть меньше ранеными (Хрусталева, 2004: 151). Возможно, именно по этой причине Бату был вынужден на несколько лет отложить поход на Южную Русь и Европу.

В целом нельзя не признать, что первоначальные завоевания производились с особенной жесткостью, которая должна была внушить страх и парализовать возможное сопротивление. Однако разрушения не имели тотальный характер как по времени, так и по масштабам (Biran, 2004: 353). Как только монголы окончательно осознали, что налогообложение приносит больше доходов, чем грабеж (в период правления Мунке), они кардинальным образом изменили всю внутреннюю политику (Allsen, 1987).

После монгольских завоеваний принципиальным образом изменилась геополитическая расстановка сил в Старом Свете. В восточной части исламского мира центр сместился от Багдада к Тебризу, в Средней Азии — от Баласагуна к Алмалыку, в Восточной Европе — от Киева к Сараю и затем к Москве, в Китае — от Кайфына к Пекину. Надо отметить, что центральные позиции Москвы и

Пекина остаются до сих пор. Монголы объединили весь Китай в единое государство. Более того, они заложили фундамент для создания китайской государственности в современных границах, включая Тибет, Синьцзян, Внутреннюю Монголию и Маньчжурию. Сегодня китайская историография настойчиво подчеркивает многоэтнический символ юаньского общества как важнейший вклад в национальное строительство КНР (Biran, 2004: 354–355).

Значительное влияние монголы сыграли в российской истории. Благодаря их посредничеству из Китая на Русь пришла практика обращения ниц к правителю — челобития и наказаний неплательщиков налогов палками по пяткам (Dewey, 1988: 268). Монголы заложили основу для последующего возвышения Московского царства, которое выступало впоследствии как преемник Золотой Орды и сыграло главную роль в процессе централизации России, о чем много писали в своих работах сторонники евразийства (Вернадский, 1997). Созданная монголами почтовая служба сохранилась в Китае, Иране и России. Монгольские военные учреждения нашли свое продолжение в минское и цинское время. Русские князья использовали принципы военного строительства, стратегию и тактику монголов вплоть до появления огнестрельного оружия (Halperin, 1983: 250; 1985: 91).

Монгольские завоевания способствовали началу масштабных миграционных процессов, культурных контактов, зарождению новых вкусов и моды, формированию космополитизма. Европейцы заключали браки с татарами Золотой Орды, давали своим детям имена, которые происходили от имен степняков: Алаоне (от Хулагу), Кассано (от Газана), Абага (от Абака) и др. (Гёкеньян, 2002: 96–97). Влияние монгольского мира прослеживается даже в одежде. К XIV в. в Европе вошло в моду так называемое “татарское платье”. В 1331 г. перед рыцарским турниром через улицы Лондона проехала процессия английских всадников, шестнадцать из которых были одеты в одежды и маски татарского покроя. Двести пятьдесят подвязок из татарской ткани (темно-синего цвета), инкрустированной золотой вышивкой, были сделаны для рыцарей ордена Подвязки (Allsen, 1997: 1). Свидетельств взаимобмена культурными и материальными ценностями можно привести множество, например, с Ближнего Востока лапша попа-

ла в Китай и Италию, где стала одним из основных национальных блюд (*Amitai-Press, Morgan, 1999: 200–223*). Европейцы познакомились с технологией перегонки спирта, не говоря уже о таких принципиальных для Запада открытиях, как компас, порох и книгопечатание. Элементы китайской живописи и декоративного искусства вошли в среднеазиатское искусство, так же как среднеазиатская парча попала на Дальний Восток (*Allsen, 2002a: 17*).

Как пишет Т. Олсон, едва ли правильно рассматривать движение товаров и технологий в монгольскую эпоху как улицу с односторонним движением. Китайские техники и инженеры сопровождали монгольские армии, вторгавшиеся в страны ислама. Значительные группы населения с территории империи Цзинь были переселены в Мерв и Тебриз для занятия ремеслом и сельским хозяйством. По приказанию Хулагу были построены буддистские храмы на территории Хорасана, Армении и Азербайджана. Археологи исследовали остатки одного такого храма неподалеку от Мерва. Конструкцию этих сооружений объединяют местные и дальневосточные строительные традиции. В городах существовали китайские кварталы (*Allsen, 2002a: 14–15*).

Подобные заимствования были многочисленны в Монгольской империи. Это создавало возможности для расширения все новых и новых связей, формирования иноземных мод и вкусов. Однако не нужно забывать, что монголы не ставили своей целью создать сеть глобальных информационных коммуникаций. Они были одержимы идеей покорения мира, и, следовательно, многие результаты их контактов с другими культурами и цивилизациями оказались непреднамеренными. Транзиты высоких технологий в большей степени были результатом деятельности политической воли правителей Монгольской империи, нежели чем следствием внутреннего развития экономики и торговли. Таким образом, сформировались обширные и постоянные сети культурных и технологических контактов между ремесленниками, инженерами, художниками и другими представителями интеллектуального труда разных народов и государств. Все это стало основой для плодотворного технологического и культурного обмена, способствовало претворению в жизнь новых возможностей и уникальных открытий, которым через несколько столетий было суждено перевернуть весь мир (*Allsen, 2002a: 27–28*).

Монголы также способствовали распространению и проникновению различных религий. Правда, благодаря этому в конечном счете в выигрышном положении оказался ислам: Ильханы в Иране, Чагатаиды в Средней Азии, Джучиды в Дешт-и Кипчаке рано или поздно приняли веру в Аллаха. Возможно, это было обусловлено определенной предрасположенностью кочевников именно к исламу — религии воинов и торговцев (*Fletcher, 1986*). Еще одним следствием масштабного культурного обмена стало визуальное расширение горизонтов Евразии и развитие картографии (*Allsen, 2001: 103–114*). В определенной степени это подтолкнуло европейцев к поискам новых морских путей в Индию и привело впоследствии к великим географическим открытиям.

Важный вклад внесли монголы в развитие языкознания. Империя была многонациональной, и монголы использовали различные языки для управления завоеванными территориями. Они создавали специальные школы для подготовки переводчиков, стимулировали процесс создания многоязычных словарей, которые начинают появляться в XIII–XIV вв. в разных странах, связанных с торговлей по Великому Шелковому пути от Китая до Европы (*Biran, 2004: 352, note 44*). Мы уже не говорим о многочисленных заимствованиях монгольских слов в различных языках и стимулированных монголами языковых взаимодействиях. Только в русский язык посредством контакта с кочевниками вошли такие слова, как аргамак, базар, деньги, казна, таможня, табун, тьма, ямщик и т. д.

Расширение Монгольской империи не могло быть бесконечным. Согласно математической модели П. Тручина, расцвет любой империи основывается на максимизации внешнего прибавочного продукта в метрополию. При этом внутренняя эксплуатация довольно незначительна, что приводит к увеличению благосостояния населения и процветанию метрополии. По мере сокращения внешних источников поступления власть вынуждена перенести бремя расходов на собственное общество. При этом бюрократия и армия, привыкшие к роскошному образу жизни, начинают жестко эксплуатировать народ, что неизбежно приводит к экономическому кризису, голоду, политическим волнениям и восстаниям (*Turchin, 2003: 118–140*). Следует отметить, что эта модель может быть применима к державе Чингиз-хана и его ближайших наследников

лишь частично, поскольку империя разделилась еще до исчерпания потенциалов своего максимального роста. Однако в той или иной степени эта модель оказалась реализованной в кочевых империях его преемников.

Другой важной причиной стало расширение территории Монгольской империи выше оптимального предела. Известно, что по мере расширения любая империя переходит порог своей информационной эффективности. Рано или поздно информация от центра к периферии и обратно идет так долго, что центр не успевает реагировать на внешние возмущения. После этого теряется контроль, и целостность империи оказывается под угрозой. Уже во времена Угедея, чтобы проехать все владения Чингизидов с запада на восток, понадобился бы не один месяц. Когда умирал каган, судьба империи оказывалась под угрозой, т. к. начинался длительный период регентства и власть сосредоточивалась в руках кого-либо из близких родственников. Регентство длилось до тех пор, пока курултай не избирал нового правителя. Монгольская империя была так велика, что проходили долгие месяцы и годы, прежде чем удавалось собрать достаточный "кворум" из родственников, который был бы легитимен принимать подобные решения. Различные силы выдвигали своих кандидатов, но часто положение регентов давало им определенные преимущества (в наши дни это назвали бы "административным ресурсом"). Кроме того, Монгольская империя была настолько обширна, что правители региональных уделов далеко не всегда проявляли интерес к занятию престола в Каракоруме.

Однако главной причиной, структурно способствовавшей кризису и распаду кочевой империи, была специфическая *удельно-лествичная* система наследования власти, где каждый из представителей правящего линиджа от главных жен имел в соответствии с очередностью по возрасту право на повышение административного статуса, и в том числе право на престол. Действие этой системы можно представить в виде логической модели, согласно которой в силу традиционной для кочевой аристократии практики полигамии воспроизводство элиты в степных империях осуществлялось в геометрической прогрессии. Допустим, что некий правитель степного общества имел как минимум пять сыновей от главных жен. При

таких темпах воспроизводства у него должно быть 25 внуков и 125 правнуков! При этом если на детей приходилось в качестве наследства примерно по 20% совокупного ресурса политики, то уже на каждого из внуков — всего по 0,8%.

Разумеется, это идеальная модель: кто-то умирал в детстве, кто-то погибал в военных походах. Не все потомки имели право на наследование статуса, равного положению своего родителя (как правило, преемником мог быть старший сын от главной жены или его единокровные братья). Но в случае необходимости были попытки сделать исключение для других сыновей, например, для детей от молодых, любимых жен. Однако помимо детей от главной жены были и другие сыновья, жены, дочери и зятья, а кроме них братья, племянники, дядья и пр., каждого из которых, в силу их происхождения, следовало наделить определенным количеством людей и скота. Возможности обеспечить всех родственников достаточным числом подчиненных людей и скота были резко ограничены экологическими пределами. Как правило, уже во втором поколении начиналась сильная конкуренция между представителями элиты, а более трех-четырёх поколений кочевые империи не переживали. Начиналась гражданская война, которая заканчивалась либо полным крахом, либо новым объединением после уничтожения всех конкурентов. Поскольку эта особенность функционирования степных политий впервые была отмечена Ибн Халдуном (он, правда, писал об утрате *асабийи*), ее имеет смысл называть **законом Ибн Халдуна**.

Теперь обратимся к конкретным фактам из монгольской истории. Известно, что у Чингиз-хана было около 500 жен и наложниц (*Рашид ад-Дин*, 1952б: 68). Сын Бельгутаея Джауту имел 100 сыновей, за что получил шутовское прозвище Сотник (*Рашид ад-дин*, 1952б: 57, 59). У Бату было 26 жен (*Рубрук*, 1957: 92). У Хубилая было 22 сына от 4 жен и еще 25 сыновей от наложниц (Книга Марко Поло, 1956: 104–105). У каждой жены имелось 300 прислужниц, а слуг, евнухов и прочей челяди у каждой из жен до 10 тыс. — думаю, до "тмы" (Книга Марко Поло, 1956: 104).

Данная модель — это скромная логическая задача в сравнении с реальной жизнью монгольской элиты. Уже во времена Джувейни так называемый *уруг* Чигиз-хана составлял порядка 20 тыс. чело-

век (*Juvaini*, 1997: 594). На курултае 1311 г. присутствовали 1400 Чингизидов, имевших ханские титулы (*Вернадский*, 1997: 139).

После изгнания монголов из Китая, как пишет Б. Я. Владимирцов, “дело дошло до того, что давать в удел было уже нечего. Чингисханидов стало так много, что всем уже не хватало оттоков и аймаков в удел и владение. К концу XVII в. в разных местах монгольского мира появляются совсем мелкопоместные нояны, а затем младшие члены феодальных семей не получают уже в удел настоящих *albatu*, они должны удовлетворяться одними “домашними слугами”, обычным кочевым достоянием, скотом в первую очередь. Благодаря этому значительное число Чингисханидов оказывается в положении совершенно таком же, в каком были представители высшего класса *albatu*, т. е. табунаги, сайды и т. д.” (1934: 175).

Империя Чингиз-хана не прошла полный ибн-халдуновский цикл, поскольку ее размеры были настолько велики, что ресурсов хватило на всех потомков основателя империи. Держава благополучно разделилась после смерти кагана Мунке на отдельные части из-за невозможности управления такой огромной территорией. Однако государства Чингизидов не миновали этого закона, и все рано или поздно потерпели крах. При этом в Китае монголы были изгнаны после одного цикла, а в Дешт-и Кипчаке и Иране династии пережили по два цикла. Кажется, только Османы смогли найти другое решение данной задачи. Они институализировали принцип наследования таким образом, что круг естественных претендентов вследствие конкуренции сужался до одного кандидата. Участие других был шелковый шнурок или менее гуманные варианты снятия лишних кандидатур. Это увеличило светские циклы Османской империи до 200–300 лет (*Turchin, Hall*, 2003: 54).

Все перечисленные причины являлись факторами, которые должны были привести и в конечном счете привели к гибели империи Чингиз-хана и империй его преемников. Однако непосредственным обстоятельством, фактически уничтожившим глобальную мир-систему XIII–XIV вв., стало распространение пандемических заболеваний. Монгольские завоевания привели к созданию крупномасштабной сети человеческих коммуникаций. Гонцы, воины, торговцы, дипломаты перемещались от одного конца этой сети

другому, связывали между собой Китай и Каракорум, Среднюю Азию и Ирак, торговые фактории Причерноморья и католическую Европу. С эпидемиологической точки зрения это имело одно роковое последствие. В 1252 г. монголы столкнулись с чумой, источник которой находился, возможно, в Гималаях. Через Бирму чума проникла в Южный Китай, но первоначально источник заражения удалось изолировать. Однако спустя столетие очаг инфекции активизировался, и болезнь стала стремительно распространяться (*McNeil*, 1976: 134, 140, 143; *Abu-Lughod*, 1989: 342).

Существовали два пути распространения болезни (*McNeil*, 1976: 145–157). Первый вариант передачи инфекции исходил от мелких степных грызунов, являющихся переносчиками заразных заболеваний. Они принесли бубонную чуму в аридную зону. Это произошло, возможно, в 1331 г. Через 15 лет болезнь достигла территории Дешт-и Кипчака и Причерноморья. Второй путь распространения болезни осуществлялся морем. Из Южного Китая чума достигла Ближнего Востока где-то между 1331 и 1356 гг. Во время осады Кафы в 1347 г. татары забрасывали в город метательными орудиями своих воинов, умерших от чумы. Это привело к вспышке эпидемии. Из Кафы чума распространилась в Венецию, Геную, Константинополь, а также в другие портовые города Средиземноморья.

Нередко эпидемии бубонной чумы были обусловлены природными катаклизмами (засухами и др.), приводившими к сокращению ресурсов питания для переносчиков болезней — мышей и крыс. В поисках источников пищи они концентрировались в местах обитания людей, что становилось причиной вспышек этой смертоносной заразы. “Последствия первого порядка этой катастрофы были ужасающими, причем связанные торговлей города, входившие в ядро, потеряли от трети до половины населения в течение нескольких лет. Последствия второго порядка от массового сокращения населения, возможно, имели еще большее значение. В результате процессов восстановления в Европе местные центры власти переместились на север (из Италии в бывшие периферийные зоны, такие как Англия). На Среднем Востоке чума привела к периоду кризиса, который не удалось смягчить даже после восстановления численности населения” (*Абу-Луход*, 2001: 453).

Подводя итоги, необходимо заметить, что пришло время переформулировать ставшую аксиоматичной мысль, будто кочевники являлись только пассивными пользователями достижений оседлого мира. На самом деле все было гораздо сложнее. Монголы не только способствовали активизации контактов и обменов между различными цивилизациями, но и в меру их потребностей и интересов осуществляли активную селекцию необходимых для них технологических и культурных компонентов оседло-городских обществ. Однако эти процессы происходили не внутри собственной степной культуры, а затрагивали и включали в широкий культурный обмен целые страны и континенты. “Империя великих монголов функционировала как организация распространения (clearing-house) культурной информации для Евразии накануне морской экспансии Европы, что со временем создало полноценную глобальную сеть обмена” (Allsen, 2002a: 28).

Монголы оказали большое влияние на культурное и политическое развитие Старого Света. Они способствовали средневековой глобализации XIII в. — первой глобализации в истории человечества. Однако эта глобализация стала в конечном счете причиной гибели средневековой мир-системы XIII–XIV вв. В наши дни, когда средства коммуникации позволяют связываться с другим полушарием Земли в считанные секунды, а расстояние между континентами измеряется в часах пути, этот вопрос приобрел особую актуальность. Достаточно представить, какие катастрофические последствия может иметь в современном мире распространение AIDS, atypical pneumonia, bird flu и других эпидемических заболеваний. По этой причине, помня о тех далеких временах, когда копыта коней монгольских воинов топтали просторы Евразии, мы не должны забывать главный урок, который нам следует извлечь из истории монгольской эпохи, — как хрупок наш человеческий мир и как легко он может быть разрушен нашими собственными руками.

Часть VI

ЭТНОЛОГИЯ АГИНСКИХ БУРЯТ

КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО АГИНСКИХ БУРЯТ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА*

Агинские буряты представляют собой особую группу, которая была выделена в отдельную административную единицу еще в первой половине XIX в. В ее состав вошли представители ряда родов хори-бурят, кочевавших со своими стадами по тучным долинам Онона и Аги. "По ведомству Агинской степной думы, — писал в своем донесении один из чиновников, — состоят кочевые и оседлые инородцы, образ жизни их есть кочевой и непостоянный, то есть не на одном месте; занятие же промышленностью и самый быт их происходят от одного скотоводства" (НАРБ, ф. 129, оп. 1, д. 512: 57; д. 3462: 17).

В распоряжении последователей имеется обширный корпус опубликованных статистических источников, содержащих богатейший фактический материал по различным аспектам экологии и экономики агинских бурят конца XIX — начала XX в. Кроме того, большое количество документов на эту же тему хранится в федеральных архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Российском государственном архиве Дальнего Востока, а также в местных архивах Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей.

Различные аспекты истории и этнологии агинских бурят были рассмотрены в ряде крупных книг и иных публикациях, посвященных

* Кочевое хозяйство агинских бурят во второй половине XIX — начале XX века // *Studia ethnologica Instituti Historiae Academiae Scientiarum Mongol.* T. XII. Fasc. II. Улан-Батор — Улан-Удэ, 2000. С. 213–244

как истории Бурятии в целом, так и агинским бурятам в частности (Крюков, 1895; Линховоин, 1972; Тумунов, 1988; Бадмаев, 1995 и др.). Однако многие темы еще ждут своих исследователей. Одной из таких тем является проблема адаптации кочевников-скотоводов и аккультурации их к более развитой промышленной экономике оседло-земледельческих государств и империй. С этой точки зрения агинские буряты интересны как один из скотоводческих народов, который еще в XX в. продолжал вести мобильное хозяйство, сохраняя при этом многие традиции кочевого образа жизни.

Проблема вхождения Бурятии в состав Российской империи, трансформация социально-экономических и культурных институтов в ходе адаптации бурятского этноса к внешним импульсам имеют обширную историографию в отечественной литературе. Важность обсуждения данных проблем понимали еще дореволюционные исследователи, которые нередко осознавали противоречивость навязываемых царской администрацией изменений и, самое главное, непредсказуемость последствий активного вмешательства в традиционный быт кочевников-бурят. В советское время были исследованы и введены в оборот многочисленные архивные материалы. Это позволило уже в 1940–1950-е гг. написать ряд крупных монографических исследований по истории Бурятии, а также создать двухтомную “Историю Бурят-Монгольской АССР” (Улан-Удэ, 1954, 1959), в которой приняли участие ряд видных московских, ленинградских и сибирских ученых. Во всех работах этого времени большое внимание было уделено оценке вхождения Бурятии в состав России, изучению влияния процессов модернизации и индустриализации на традиционное общество бурят в XIX–XX вв.

Для работ данного периода характерно рассмотрение проблемы вхождения и аккультурации бурятского народа в составе России через призму формационной теории “кочевого феодализма” (иначе “патриархально-феодалных отношений” у кочевников). Исследователями дана положительная оценка процесса вхождения бурятского общества в состав Российского государства. Основное внимание было акцентировано на появление тех или иных прогрессивных явлений в бурятском обществе (внедрение земледелия более продуктивного, чем скотоводство, ориентация хозяйства на рынок, уменьшение числа заболеваний (в том числе профилак-

ческие мероприятия против неизлечимых ранее болезней) и смертности населения, распространение грамотности и т. д. В то же время преобразования, как правило, рисовались в розовом свете, приуменьшалась роль сопротивления аккультурации аборигенного населения, конфликты между властью и номадами интерпретировались только через призму классовой борьбы или злоупотребления своим положением царской бюрократии.

В 1960–1980-е гг. на смену ортодоксальной теории “кочевого феодализма” пришли более гибкие подходы (теория некапиталистического развития и др.), были выполнены ряд крупных работ по истории, этнографии и традиционной культуре бурят, в которых вводились новые источники, давалась иная оценка уровня развития бурятского общества, характера экономических, социальных и культурных преобразований. Авторы избавились от излишней социологизаторской упрощенности, более многогранно оценивали ход и последствия различных аккультурационных преобразований. По многим вопросам были проведены дискуссии, способствовавшие выработке более гибких позиций. Однако, к сожалению, и для данного времени были характерны недостатки более раннего периода, обусловленные господствовавшей в тот период методологией. Наиболее существенным тормозом следует признать экстраполяцию классового подхода на традиционное общество номадов. В результате этого вне внимания оказались многие важные стороны жизни бурятского общества, а поведение номадов интерпретировалось главным образом с рационалистической (“экономической”) точки зрения.

Только на рубеже 1980-х – 1990-х гг. в отечественной историографии наметился принципиальный сдвиг в сторону изучения процесса модернизации номадизма как “историко-экологического” (“этноэкологического”) процесса (Масанов, 1984; 1991; 1995; Абылхожин, 1991 и др.). Суть данного подхода заключается в рассмотрении процессов модернизации в кочевых обществах через призму взаимодействия номадного общества и природной среды. Экологические условия обитания кочевников таковы, что не предполагают альтернативной системы хозяйственной деятельности. Следовательно, попытки насильственной седентеризации (оседания) кочевников, изъятия у них скота и перевода на занятие

земледелием на деле приводили к непоправимым для обитателей степей последствиям (таким, например, как голод и массовая гибель казахов в начале 1930-х гг.). Поведение самих кочевников в данной ситуации рассматривается в контексте их специфического образа жизни (представления о пространстве, времени, трудовом цикле), традиционных институтов (дарообмен, взаимопомощь, родовые отношения). Необходимо заметить, что этот прорыв был подготовлен целым рядом крупных теоретических и конкретных историко-этнологических исследований отечественных кочевниковедов (Вайнштейн, 1972; 1991; Толыбеков, 1971; Хазанов, 1975; Марков, 1976; Пуляркин, 1976; Грайворонский, 1979; Андрианов, 1985; Жуковская, 1988 и др.).

Для правильного понимания последствий вовлечения кочевников в орбиту индустриальной цивилизации важное значение имеют теоретические и конкретно-этнологические исследования, проведенные в зарубежной науке. В этих работах обсуждаются причины кризисного состояния кочевничества в настоящее время (экологические кризисы, неспособность кочевников модернизироваться, сильное давление индустриализма), природа кочевничества (иррациональность поведения) и попытки предсказать его реакцию на те или иные решения, последствия активного вмешательства современного государства в их традиционный образ существования. Во многих исследованиях подчеркивается необходимость ограничить влияние модернизации на кочевников, дать им возможность продолжать вести традиционное природопользование.

Таким образом, изучение региональных проблем модернизации кочевников на забайкальском материале на протяжении достаточно длительного промежутка времени представляется научно и практически актуальным. Данная глава представляет собой составную часть более крупного исследования, посвященного изучению процессов модернизации и аккультурации бурятского общества в XVIII–XX вв. В настоящей публикации вводится в научный оборот ряд новых архивных материалов из Российского государственного архива (РГИА, Санкт-Петербург), Национального архива Республики Бурятия (НАРБ), Российского государственного архива Дальнего Востока (РГИА ДВ, Владивосток), дается их интерпретация, а также анализируются некоторые из обозначен-

ных выше проблем. Это представляет возможность изучить роль различных факторов и процессы трансформации кочевого общества бурят в течение более чем столетнего периода и выработать определенные рекомендации по частичному восстановлению традиционных систем жизнеобеспечения.

В отличие от большинства других групп бурятского этноса агинцы сохранили традиционный кочевой образ жизни включительно до коллективизации. Это было обусловлено природной средой Агинской волости. На большей части ее территории устойчивый снежный покров зимой не образуется, а многие травы после окончания вегетации остаются на корню, сохраняя при этом достаточно высокие кормовые качества. Поэтому, несмотря на низкую продуктивность открытых пастбищ, экологические условия Агинских степей очень благоприятны для обитания копытных. Это дает возможность осуществлять их круглогодичный выпас, а своеобразный пересеченный рельеф, привязанный к долинам Онона и Аги, с многочисленными падами, позволяет находить источники питья и убежища от непогоды.

Агинские буряты вели преимущественно мобильный образ жизни. Частной собственности на землю у них не существовало. Поземельные устроительные работы в волости не были проведены, и земли находились в общинной собственности. Пользование пастбищами было свободным по праву "первозахвата" (Асалханов, 1963: 169–70, 173) в пределах той или иной административно-территориальной группы (булуков), а сенокосные угодья считались в общинной собственности и делились на пайки "по числу душ и разряду казенных и общественных сборов" (НАРБ, ф. 131, оп. 1, д. 98: 10 об.; д. 146: 1–2; д. 363: 11 об.–12; ф. 267, оп. 1, д. 6: 12 об., 131 об.). Даже накануне революции отношение "инородцев" к земле юридически определялось как "неразделенное владение" (НАРБ, ф. 131, оп. 1, д. 635: 66).

Агинцы передвигались со своими стадами по тучным долинам Онона и Аги. "Главное хозяйство инородцев Агинской волости составляет чистое скотоводство (99,25%) и обработка продуктов скотоводства, хлебопашеством в связи со скотоводством занимается незначительная часть населения (0,75%), этому способствует неплодородность почвы, малое выпадение снегов, преобладание

высоких степей каменистых, дресвяных и солончаковых и удаленность от вод и лесов” (НАРБ, ф. 131, оп. 1, д. 363: 3 об.). Агинские буряты меняли свои “стойбы”, по разным данным, от 4 до 12 раз в год (История БМАССР, 1954: 190). При этом подавляющее большинство агинских бурят даже в начале XX в. перекочевывало с зимников на летники и обратно (НАРБ, ф. 129, оп. 1, д. 4030).

Летники буряты предпочитали устраивать поближе к источникам водопоя, тогда как зимние пастбища выбирали в местах покосов, по возможности защищенных от ветров, а также там, где оставалось много ветоши (РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 1242: 12).

Однако отсутствие зафиксированной юридически собственности на землю не означает, что у бурят не было выработанных многолетней практикой маршрутов перекочевок, закрепленных традицией летних и зимних пастбищ. В материалах комиссии Куломзина сообщалось, что “при каждой перемене своей стойбы бурят ставит свою юрту на известном, так же раз и навсегда определенном месте, которое если и меняется, то очень редко” (МКК, 13: 74).

В архивных материалах иногда встречаются сведения о конкретных маршрутах передвижений тех или иных групп номадов волости. Местах распространения зимних и летних пастбищ. Так, например, Бодангутский род из 28 юрт кочевал зимой по рекам Тутенхуй и Булук в максимальном радиусе 120 верст, а другой род, Шарайский, в количестве 22 юрт зимовал по р. Киле и берегам озера Саганнур в радиусе 80 верст (НАРБ, ф. 129, оп. 1, д. 10: 24).

При этом необходимо отметить одну весьма важную тенденцию. Чаще кочевали и использовали большее количество пастбищных территорий наиболее богатые скотоводы. Это связано, во-первых, с тем, что они имели больше животных и для их выпаса требовалось большее количество ресурсов; во-вторых, у богатых скотовладельцев в структуре стада был больший процент лошадей и верблюдов, что обеспечивало более высокую скорость кочевания их стад; в-третьих, необходимо также учитывать, что богатые и знатные номады обладали более высоким общественным статусом и могли авторитетом или силой отчуждать лучшие участки пастбищ в свое пользование (Владимирцов, 1934: 36; Зиманов, 1958: 131; Хазанов, 1975: 254; Khazanov, 1984: 123–125; Масанов, 1991:

32–33; 1995: 172–173; Шишлина, 1997: 108). Сколько именно раз в течение года кочевник меняет свое местопребывание вместе со своим скотом, зависит от большей или меньшей степени его богатства или, что то же самое, от числа голов его скота, — сообщается в Материалах комиссии Куломзина. — Кочевник, имеющий небольшое количество скота, меняет свое местопребывание всего только два раза в год — он имеет только летник (“засулан”) и зимник (“угульджен”); более богатый имеет уже четыре места кочевок — к двум указанным у него прибавляется еще весенник (“намурждан”) и осенник (“хабурджен”); наконец, самые богатые из кочевых инородцев меняют место стойбы своего скота до 10–12 раз, причем, кроме того, имеют все четыре указанные вида стойбищ” (МКК, 13: 74–75, 81).

Кочевое скотоводство составляло ведущую отрасль хозяйства агинских бурят, а скот был главным предметом их интересов. Состав стада был классическим для кочевников-скотоводов евразийских степей и включал все пять основных видов разводимых номадами животных: лошадей, овец, коз, верблюдов и крупный рогатый скот. Буряты называли данное явление *табан хушуу мал*, т. е. “пять видов скота”.

Из всех видов домашних животных лошадь имела для кочевников наиважнейшее экономическое и военное значение. Н. Э. Масанов отмечает помимо военно-хозяйственного значения лошади и другие положительные качества, в число которых следует включить способность лошадей к тебеневке и рефлекс стадности, подвижность, силу и выносливость, способность терморегуляции, самовыпаса, необязательность ночлега и т. д. В то же время он фиксирует ряд черт, осложнявших расширенное использование лошади в скотоводческом хозяйстве: необходимость большого числа пастбищ и частых перекочевок, замедленный цикл воспроизводства (сезонность размножения, беременность 48–50 недель, поздний возраст полового (5–6 лет) и физического (6–7 лет) созревания, низкий (всего до 30%) процент выжеребки), избирательность в воде и кормах и пр. (Масанов, 1995: 67–68).

Монгольские и бурятские лошади были небольшого роста, однако являлись неприхотливыми, выносливыми и хорошо адаптировались в местных суровых природно-климатических условиях. Они

могли стойко переносить зимние холода и голод, довольствоваться в зимнее время только подножным кормом (ветошью). Весной табуны разбивались на косяки по числу жеребцов. Каждый жеребец сам выбирал косяк. Осенью косяки собирали в большие табуны от 100 голов лошадей и выше. Лошадь использовалась для верховой езды, перевозки грузов, а у бурят дополнительно в работе на сенокосе. Важную роль выполняла лошадь при пастьбе скота зимой. В случае образования снежного покрова лошадей пускали на пастбище первыми, чтобы они своими копытами разбили плотный покров и добрались до травы (тебеневка). В целом лошадь играла важнейшую роль в хозяйственной и культурной жизни кочевников, что нашло отражение в фольклоре и обрядовой жизни. Не случайно богатство монголов, бурят, как и других кочевых народов, определялось количеством у них лошадей (МКК, 13: 2–7, 105–113; *Крюков*, 1895: 80–83; 1896: 89; *Мурзаев*, 1952: 46–48; *Батуева*, 1986: 10–11; 1992: 17–20 и др.), а в глазах цивилизованных жителей городов и оседлых селений мифологизированный образ воинственного кочевника ассоциировался со свирепым кентавром — наполовину человеком, наполовину лошадию.

В Забайкалье лошадь использовалась для работы с 4 лет. Средняя продолжительность ее жизни — около 25 лет. Лошади способны перевозить груз весом 200–400 кг. Под седлом они могут проскакать 50 верст без отдыха, а некоторые — до 120 верст за день (МКК, 13: 2–7; НАРБ, ф. 129, оп. 1, д. 2400: 19–22; *Крюков*, 1896: 89).

Крупный рогатый скот был хорошо приспособлен к суровым местным условиям. Однако он давал гораздо меньше молока, чем при стойловом содержании животных, и отличался меньшим весом, а также хуже переносил перекочевки на длинные расстояния, чем овцы и козы. В среднем бурятская корова давала от 2 до 4 литров в день, а годовой удой равнялся приблизительно 700–750 литрам, из которых примерно $\frac{1}{3}$ часть расходовалась на кормление телят (*Крюков*, 1896: 95; *Мурзаев*, 1952: 45; *Линховоин*, 1972: 7). Пик удоев приходится на апрель–июль (МКК, 13, прил. 8). При убое крупный рогатый скот давал от 100 до 200 кг мяса и сала на голову — это примерно 50% от веса (*Крюков*, 1896: 95; *Мурзаев*, 1952: 45).

Однако крупный рогатый скот весьма прихотлив в уходе (в сравнении с овцами) и требует по возможности стойлового со-

держания; для него характерны весьма низкая скорость передвижения, неэкономное присвоение пастбищ, слабо выражены рефлексыв тебеневки и стадности. У крупного рогатого скота замедленный цикл воспроизводства (беременность 9 месяцев, рождаемость до 75 телят на 100 маток) (РГИА, ф. 1265, оп. 12, д. 104а: 100 об.—101 об.; МКК, 13: 7–9, 113–124; *Крюков*, 1895: 80–82; *Мурзаев*, 1952: 44–46; *Балков*, 1962; *Батуева*, 1986: 10; *Масанов*, 1995: 71; *Тайшин*, *Ахасаранов*, 1997 и др.).

Мелкий рогатый скот не требовал особенного ухода, достаточно быстро воспроизводился, легче, чем другие породы, переносил бескормицу. В отличие от прочих видов скота овцы более неприхотливы к пастбищным условиям. Из более чем 600 видов растений, произрастающих в аридных зонах Северного полушария, овцы поедают до 570, тогда как лошади — около 80, а крупный рогатый скот — лишь 55 разновидностей трав (*Тайшин*, *Ахасаранов*, 1997: 14).

Овцы способны пастись на подножном корму круглый год, пить грязную воду с повышенной минерализацией, а зимой обходиться без воды, поедая снег, легче переносят перекочевки, чем крупный рогатый скот, меньше теряют веса и способны к быстрой наживке. Они гораздо быстрее восстанавливали после зимних голодовок свой вес и за лето прибавляли почти 40% массы. Овцы являлись для кочевников источником основной молочной и мясной пищи. Баранина считалась по своим вкусовым и питательным качествам лучшим мясом. Из овечьей кожи изготавливался основной ассортимент одежды, а из шерсти катался незаменимый для кочевников войлок (РГИА, ф. 1265, оп. 12, д. 104а: 100; МКК, 13: 11–12, 128–133; *Крюков*, 1896: 97; *Мурзаев*, 1952: 44–46; *Линховоин*, 1972: 7–8; *Тумунов*, 1988: 79–80; *Тайшин*, *Ахасаранов*, 1997 и др.).

Овцы ягнятся обычно в апреле или мае (срок беременности — 5 месяцев). Чтобы это не происходило ранее, скотоводы обычно применяли методы контроля за случкой животных (использование специальных передников, мешочков, щитов из бересты и пр.). Плодовитость овец составляла примерно 105 ягнят на 100 маток. Чтобы приплод был обеспечен достаточным количеством молока и свежей травы, случка овец производится в январе–феврале (*Линхо-*

воин, 1972: 8; Тайшин, Лхасаранов, 1997: 65–68). Бурятская овцематка давала 200–300 граммов молока в день (Батуева, 1992: 16). Лактационный период длился до 4–4,5 месяца.

Средняя масса монгольских и аборигенных бурятских баранов равнялась 55–65, а овец 40–50 кг (Бонитировка, 1995: 5, 8; Тайшин, Лхасаранов, 1997: 21–23, 42). Чистый выход мяса с одной головы составлял 1 ½ пуда (Крюков, 1896: 97). Овец стригли, как правило, один раз в год, в конце весны — начале лета. Буряты настригали с одной овцы 2 ½ фунта шерсти (Линховоин, 1972: 7, 44).

Коз у бурят (как и у других номадов Центральной Азии и Сибири) было в целом немного (5–10% от общего поголовья стада). Их разведение считалось менее престижным, чем содержание в стаде овец. На этот счет у бурят существовала даже специальная поговорка: “Ядаһан хун ямаа бариха” (“Коз держит неимущий”) (Батуева, 1992: 16).

Последним из основных видов разводимых бурятами животных был верблюд. Среди главных достоинств верблюда следует отметить его способность длительное время (до 10 суток) обходиться без воды и пищи, а также умение пить воду с высокой степенью минерализации и поедать виды растительности, непригодные для скормливания другим видам домашних животных. Не менее важными достоинствами верблюда являлись его сила, высокая скорость передвижения (что обусловило его стратегическое значение для североафриканских номадов), большая масса (до 200 кг чистого мяса и около 100 кг сала), длительный лактационный период (до 16 месяцев) и пр. В частности, в бурятских хозяйствах прошлого века верблюдов содержали главным образом богатые. Их использовали для перевозки грузов. Под выюком верблюд способен перевезти до 300 кг, а в санях до — 500 кг со скоростью 7–8 км/ч. Правда, в сравнении с лошадыю или волом верблюд более придирчив к дороге (он неустойчив на гололеде или грязи). Через три часа ему нужно давать время отдохнуть. Для верблюдов также характерны отсутствие рефлекса тебеневки, необходимость больших площадей выпаса, плохое перенесение холодов и сырости, замедленный цикл воспроизводства (половая зрелость 3–4 года, низкая фертильность самок — примерно раз в 2–3 года, длительный период беременности (более года), низкая рождаемость — 35–45)

верблюжат на 100 маток. В целом мясо и молоко верблюдов в Забайкалье в пищу не использовались (РГИА, ф. 1265, оп. 12, д. 104а: 101 об–102; МКК, 13: 10–11, 124–127; Линховоин, 1972: 7–8; Батуева 1992: 22; Масанов, 1995: 70–71 и др.).

Структура стада у агинских бурят была классической для кочевников-скотоводов евразийских степей. Это хорошо видно на примере табл. 19. Для Агинского ведомства было характерно преобладание мелкого рогатого скота (в особенности овец — 50% от всего поголовья). Количество крупного рогатого скота и лошадей было почти равным (примерно по 20%).

Таблица 19

Количество скота в Агинской волости¹

Год	Лошад ди	Рог. скот	Овцы	Козы	Верб- люды	Сви- ньи	Буй- волы	Всего
1841	21138	18641	47135	6911	1535			95360
1842	23021	20955	54132	7633	1603			107344
1844	26035	22978	74244	10065	2166			135798
1845	26814	25167	66843	10929	2020			131773
1847	25311	26095	66219	7001	1941			126567
1948	24871	26366	55654	7263	1653			115807
1849	27317	28177	64684	10060	1993			132231
1850	19009	15485	41441	6217	1524			83676
1851	13082	19730	47503	8344	1679			90338
1852	24663	21005	50824	8296	1606			106394
1854	21941	19359	40105	8186	1759			91350
1872	48731	64035	178248	24742	11720	38	45	327559
1875	49075	64440	178912	24994	11750	25	63	329259
1877	57144	65873	181616	26765	11759	45	65	343267
1878	75426	120262	231886	32126	4324	23	165	464212
1879	71225	104861	230460	55107	5950	55	55	467713
1882	63975	74348	166730	22470	4150	34	71	331778
1883	62170	69085	186605	28241	4757	45	35	350938
1893	81584	109160	203680	42257	4921	34	14	441650
1894	83762	151625	292278	77522	5812	73		611072
1899	86133	58282	19765	24563	5666	40		194449

Продолжение

1900	90313	56725	221545	31756	6048	15		406402
1901	96026	62661	208168	20839	2741	46		390481
1902	96026	62661	208168	20839	2741	46		390481
1903	102639	61353	237987	33425	6346	58		441808
1905	32214	50555	91197	14573	2385	14		190938
1906	25769	43185	75973	21616	1062			167605
1907	27300	55079	118214	35100	1136	35	10	236874
1908	30577	66774	113532	35100	2515	28		248526
1909	30494	66659	88494	17134	2543	30		205354
1911	28421	79235	67254	16247	2945	45		194147
1915	26049	70144	68186	13225	2547	60		180211

На рубеже прошлого и нынешнего веков "среднестатистическое" бурятское хозяйство (в зависимости от степени его мобильности) обладало стадом, состоящим из 4–8 лошадей (13–15%), 10–16 голов крупного рогатого скота (25–30%) и 20–40 овец (около 60%). Однако, вопреки встречающимся утверждениям, что у агинских бурят очень много скота, число богатых скотовладельцев было невелико. Так, у агинцев в начале XX в. было только 9,3% хозяйств, имевших более 10 лошадей, 1,8% хозяйств, имевших более 100 голов, и всего 0,3% хозяйств, насчитывавших свыше 300 лошадей. Процент хозяйств, имевших большое количество других видов животных, также весьма мал. Так, только 4% хозяйств имели более 300 овец и 2% — более 500 овец. Лишь в 1,31% хозяйств было более 100 голов крупного рогатого скота и всего 0,01%, в которых количество единиц рогатого скота составляло более 300 (Солдатов, 1911: 276). Все это дает основание предположить, что не более 2% хозяйств может быть отнесено к богатым. В то же время большинство скотоводов имели количество животных, позволявшее им с трудом сводить концы с концами, примерно 20,7% хозяйств были вынуждены искать дополнительные источники существования, из них 2,9% хозяйств имели только один какой-либо вид животных, а 5,7% хозяйств бурят не имели скота вообще (интересно, что в конце XIX в. бесскотных хозяйств было не более полпроцента) (там же, 226, 276).

Большое влияние на численность поголовья скота у бурят оказывали различные природно-климатические факторы, джуты, засухи и пр. Так, например, в октябре 1848 г. в агинских кочевьях выпал большой снег, "покрыв без остатка все подножные корма". По этой причине у начальника Нерчинского округа было испрошено дозволение разрешить кочевать по Онону и близлежащим речкам и урочищам около границы с Монголией на территории проживания казаков, тунгусов и русских земледельцев-крестьян. Разрешение было получено, бурятам удалось сохранить поголовье своих стад, но это привело к конфликтам между номадами и их соседями (НАРБ, ф. 129, оп. 1, д. 452: 1–2, 10–11). В следующем году осенью снова прошли большие снегопады (там же, д. 575: 1). Власти оказались в трудном положении, что привело к новому обострению отношений. В сложившейся ситуации номады отказывались подчиняться властям, захватывали сенокосы, устраивали беспорядки (НАРБ, ф. 129, оп. 1 д. 574: 1, 14–14 об.; д. 575: 1–4 об.). Зима оказалась очень тяжелой для кочевников и привела к большому падежу скота. От голода, снегопадов и холода погибли 8907 лошадей, 14 679 голов крупного рогатого скота, 25 168 овец, 4711 коз, 689 верблюдов (там же, д. 512: 45, 46, 49). В общей сложности это составило около 40% от всего поголовья скота.

Эта зима была одной из самых тяжелых в XIX в. Чаще потери скота были меньшими. Так, в 1862 г. погибли 596 лошадей, 990 голов крупного рогатого скота, 17 730 овец и 597 коз. А в 1872 г. снегопад и джуты унесли 360 лошадей, 689 голов крупного рогатого скота, 3650 овец, 122 козы (НАРБ, ф. 129, оп. 1, д. 1926: 17; д. 1307: 48–49). Тем не менее буряты регулярно страдали от постоянных стихийных бедствий, уносивших значительную часть скота, нашествий волков и эпизоотий (РГИА, ф. 383, оп. 13, д. 14420: 1–16., 6–66.; ф. 1265, оп. 12, д. 104А: 98 об.; РГИА ДВ, ф. 1, оп. 1, д. 1983: 15 об.; НАРБ, ф. 2, оп. 1, д. 1942: 41, 48, 53, 170; ф. 129, оп. 1, д. 475: 1; д. 1903: 49; д. 1926: 17; д. 2403; д. 2461: 44–46; д. 2479: 24, 29, 35, 38 об., 46, 54, 59, 72, 81, 89; д. 3315: 1, 3, 7, 10, 32, 35, 42; д. 3316: 13 об.; оп. 2, д. 177: 152; ф. 267, оп. 1, д. 71; д. 93: 21–22, 26–27; д. 125; д. 165: 14, 17, 22–24; д. 171: 6 об.; д. 386; ф. 131, оп. 1, д. 117; д. 145; д. 309; д. 322; д. 488: 193; МКК, 13, прил. 7 и др.).

Однако они не являлись исключением. Д жу ты, засухи, иные климатические стрессы, равно как эпизоотии и прочие напасти, являются постоянными спутниками кочевников на протяжении всех исторических периодов. В Монголии от непогоды гибли миллионы голов скота, а общее поголовье сокращалось на 20–30%. “Но холод, голод, снежные бураны, волки — все это постоянные враги монгольского скотоводства, — писал И. М. Майский, — кроме этих ординарных печалей на монгольское скотоводство то и дело сыплются еще экстраординарные напасти в виде разного рода болезней и эпизоотий”. С болезнями скота номады могли бороться лишь методами народной медицины да заговорами лам. В результате при эпидемиях погибало до 60% и более (!) скота (Майский, 1921: 118; Левцов, 1951: 95). У казахов в тяжелые годы гибло более 50% скота (Толыбеков, 1971: 79–80, 542–543). В Туве (даже при советской власти) в годы д жу тов погибало до 15–17%, а с эпизоотиями — до 50% поголовья (Дулов, 1956: 68–70; Вайнштейн, 1972: 52–53).

К сожалению, в моем распоряжении имеются лишь две относительно представительные выборки: по казахам (Слудский, 1953; Шахматов, 1955) и оленеводам Северной Евразии (Крупник, 1989: 128–140), у которых повторяемость массовых падежей скота вследствие д жу тов и иных причин составляла примерно один раз в 10–12 лет. Однако кроме цитированных выше исследователей о циклическом характере скотоводческой экономики писали и другие авторы (Косарев, 1991: 47; Масанов, 1995: 100; Ситнянский, 1998: 130–131 и др.). Есть мнение, что с д жу том связан двенадцатиричный годичный цикл (Шахматов, 1955), а год Зайца является годом д жу та. Не исключено, что данная периодичность связана с 11-летним циклом колебания солнечной активности (Эйгенсон, 1957; Чистяков, 1996).

В таком случае можно вывести обобщенную тенденцию, согласно которой у кочевников примерно каждые 10–12 лет из-за холодов, снежных бурь, засух и т. д. случался массовый падеж скота. Как правило, гибло до половины поголовья всего стада. На восстановление требовалось примерно 10–13 лет. Поэтому можно предположить, что численность скота после заполнения экологической зоны теоретически должна была циклически колебаться

вокруг определенной отметки. Она то увеличивалась в результате благоприятных условий, то сокращалась вследствие неблагоприятных факторов.

Таким образом, скотоводческая экономика эволюционировала в границах простого воспроизводства, ограниченного емкостью экологической зоны. При этом перед номадами всегда существовала реальная опасность экологического стресса. Для разрешения этих проблем номадам приходилось включать социальные механизмы регулирования (например, ограничение рождаемости) и/или привлекать дополнительные источники существования. В числе последних могли быть земледелие, охота, рыболовство, собирательство, торговля, сезонные и/или постоянные приработки членов семьи в чужих хозяйствах, извоз и пр.

В целом для бурятского хозяйства, как и для всех кочевых обществ, была характерна недифференцированность экономической специализации. Разумеется, у скотоводческих народов можно наблюдать некоторое разделение на мужской (война в древности и средневековье, выпас скота) и женский (домашнее хозяйство) труд. Известно также, что у номадов присутствовали некоторые формы освобождения от участия в физическом труде лиц, занятых управленческой деятельностью. Однако специфика скотоводства предполагала в основном труд внутри локальных домохозяйств или минимальных общин, а при эпизодической необходимости кооперацию коллективных усилий (облавные охоты, водопой скота).

Развитие ремесел у номадов сильно уступало ремесленному производству у земледельческо-городских народов, что обусловлено в первую очередь подвижным образом жизни. Во многих скотоводческих обществах ремесло так и не выделилось в специализированную экономическую подсистему. Каждый номад самостоятельно изготавливал несложную утварь. Так, например, о монголах даже в конце XIX в. Н. М. Пржевальский писал: “Промышленность у них самая ничтожная и ограничивается только выделкой некоторых предметов, необходимых в домашнем быту, как-то: кож, войлоков, седел, узд, луков; изредка готовят огнива и ножи” (1875: 40). У бурят имелись умельцы, которые изготавливали и инкрустировали предметы быта, украшения, сбрую и оружие. Однако большинство изделий домашнего обихода (одежда, обувь, упряжь,

войлок и пр.) производились в каждой отдельной семье. Железоделательное ремесло не получило широкого распространения. К приходу в Бурятию русских первопроходцев у бурят ощущалась нехватка изделий труда и быта из железа, поэтому русские котлы, топоры и прочие металлические вещи пользовались повышенным спросом (Батуев, 1996: 74–75).

Земледелие было известно агинским бурятам, однако, за исключением оседлых жителей села Агинского (НАРБ, ф. 129, оп. 1, д. 3010: 7; ф. 267, оп. 1, д. 3: 61) у остальных бурят волости оно так и не получило сколько-нибудь значительного развития в дореволюционный период. “Говорить о земледелии у бурят Агинского ведомства как о промысле не приходится; оно, можно сказать, во всей Агинской степи не существует, за исключением только одного села Агинского; есть попытки заниматься земледелием, часто неудачные, но земледелия в настоящем смысле этого слова еще нет, потому что 141 ½ дес. посева и 32 ¼ дес. картофеля (речь идет о 1908 г. — Н. К.) на всю степь еще не составляют земледелия” (Солдатов, 1911: 304).

Это было связано, с одной стороны, с непригодностью большинства земель для занятия земледелием, что, кстати, понималось российскими чиновниками в отличие от волонтаристов советского времени. “Причиною худого урожая почитается неудобство каменистого и солонцеватого грунта земли и никакой другой сорт хлеба, кроме ярицы, засеваем ими (т. е. инородцами. — Н. К.) не бывает” (НАРБ, ф. 129, оп. 1, д. 3462: 22 об.).

Для занятия земледелием в XIX в. агинскими бурятами использовались самые простые орудия труда (соха, борона и пр.). На огородах выращивали главным образом картофель и гораздо реже капусту, редьку и репу. Как свидетельствуют источники середины прошлого века, “кочевые инородцы засевают некоторую часть токмо картофеля, а прочие растения оседлыми инородцами, ибо по случаю первых непостоянного кочевания и неимения как огородов, так и средств к сохранению овощей в зимнее время, таковые не разводятся”. Однако в целом земледелие имело подсобный характер и использовалось только ограниченным числом бурятских домохозяйств. “Снимаемый хлеб по всегдашнему почти неурожая не продается, посему оно бывает недостаточно и для собственного продовольствия” (там же, 41 об.).

С другой стороны, земледелие всегда предполагает оседлый способ существования, что являлось для кочевников, вне их этнической принадлежности, неприемлемой альтернативой, так как вело к смене привычного образа существования и понижению своего культурного статуса. Психология кочевника отрицательно воспринимала стационарность как оскорбляющую самолюбие свободного номада. Поэтому перешедшие к занятию земледелием кочевники, как показывает большой этнографический материал, рассматривали свое состояние временным и при первой же возможности возвращались к подвижному скотоводству (Тольбеков, 1959: 335–338; Хазанов, 1975: 150–151; Марков, 1976: 139–140, 163, 165, 243–244; Khazanov, 1984: 83–84; Косарев, 1991: 46–50 и др.). “Только лишь безвыходная нищета может побудить кочевника заняться хлебопашеством. Но лишь только он обзавелся скотом, тотчас бросает свою неуклюжую лопату, которой он пахал землю вместо сохи, — он делается кочевником” (Завадский-Краснопольский, 1874: 17).

Охоту номады любили, и часто она была для них тренировкой военных навыков. Но охота лишь в незначительной степени могла компенсировать нестабильность скотоводческого хозяйства. Это хорошо видно из табл. 20, обобщающей данные ряда лет по Агинской волости. Даже если допустить, что отчетные сведения неполны, все равно общее количество добычи могло явиться лишь очень скромной прибавкой к бюджету скотоводческих хозяйств агинских бурят.

Таблица 20

Охота у агинских бурят²

Год	Соболь	Лисицы	Белки	Волки	Медведи	Кабарга	Зайцы	Козы	Рыси и росомахи	Сохатые и изюбри
1841	6	54	8600	28	1					
1847	4	23	28900	10	6					
1948	21	82	1490	98	15	25		280	9	9
1850	3	72	36200	37		20		100		
1851		50	1000	30			200	150		

Продолжение

1852	11	40	29062	40						
1911		65	6609	63		11		87	11	7
1915		78	2350	57	7	7		153	24	4

В отличие от охоты рыболовством агинские буряты, как и многие другие кочевники, не занимались. Источники в этом отношении практически единодушны (НАРБ, ф. 129, оп. 1, д. 322: 55; д. 462: 38; д. 512: 42 об.; д. 590: 24 об.; д. 687: 17 об.; ф. 131, оп. 1, д. 494: 84, 143; ф. 267, оп. 1, д. 3.: 61; ф. 427, оп. 1, д. 50: 212 об.).

Судя по всему, никаких особых доходов в середине XIX в. не приносила и торговля. Источники сообщают, что буряты сбывают животных и различные продукты скотоводства (шерсть, жир, масло и пр.) на ежегодной ярмарке в Агинском, на которую съезжаются помимо номадов русские купцы и даже торговцы из Китая (там же, ф. 129, оп. 1, д. 3010: 7 об.). Однако общее число продаваемых бурятами голов скота и шерсти в масштабах волости ежегодно было в целом невелико (табл. 21).

Таблица 21

Торговля у агинских бурят³

Год	Лошади	Рог. скот	Овцы	Шерсть
1848	1080	1860	155	437
1849	1500	1900	2000	455
1850	1400	1500	150	400
1851	100	500	100	200
1852	110	600	100	200

Это можно проиллюстрировать, например, на количестве продаваемой шерсти. Известно, что с бурятской овцы можно было настричь около двух с половиной фунтов шерсти (примерно 1 кг). Исключив ягнят, исходя из этого можно вычислить, что на ярмарку вывозилось не более 15–20% получаемой ежегодно шерсти. Скорее всего это служит показателем, что в торговле принимали участие наиболее богатые скотовладельцы. Именно они могли без

ущерба для собственного хозяйства выставить на торг то или иное количество животных. У большинства скотоводческих хозяйств все излишки производства, как правило, шли на нужды собственного потребления.

Следует отметить, что с последней четверти XIX в. начинает возрастать влияние российской экономики на бурятское кочевое хозяйство. Наиболее часто в качестве факторов влияния упоминаются рост оседлости, внедрение земледелия, более продуктивного, чем скотоводство, ориентация хозяйства на рынок, уменьшение числа заболеваний (в том числе профилактические мероприятия против неизлечимых ранее болезней) и смертности населения, распространение грамотности и т. д.

Рассмотрим некоторые из данных факторов подробнее. Можно говорить, например, о некоторой тенденции развития у агинских бурят седентеризационных процессов. Прослеживается медленное, но постепенное увеличение общего количества оседлых “инородцев” в волости. Если в 1850 г. их было около 80 человек, то в 1911 г. — более 650 человек (НАРБ, ф. 129, оп. 1, д. 512: 25; ф. 131, оп. 1, д. 494: 149). Начиная с 1870-х гг. у агинских бурят фиксируется свиноводство, которое является четким маркером оседлого образа жизни. Правда, число свиней в целом было невелико (в пределах нескольких десятков голов), и их выращивали исключительно жители оседлых населенных пунктов (см. табл. 19). Поэтому гораздо более важным свидетельством седентеризации является увеличение количества деревянных юрт на зимних и летних пастбищах бурят. Если в 40-е — 50-е гг. XIX в. их общее число на волость не превышало 80 штук, то уже в конце XIX — начале XX в. общее количество деревянных юрт перевалило за две с половиной тысячи, увеличив совокупный процент до 27–31% (НАРБ, ф. 129, оп. 1, д. 590: 14 об.; д. 687: 10; д. 2402: 34; д. 3010, 6 об.; д. 3011: 12 об., 13 об.; д. 3012: 12 об.; д. 3059: 13 об.; д. 3320: 23, 23 об.; д. 3462: 10 об.; д. 3754: 74 об.; д. 3873: 102 об., 106; д. 3945: 164–164 об., 191 об.; ф. 131, д. 539: 54; д. 283: 236; д. 488: 247 об.; ф. 267, оп. 1, д. 3.: 76, 76 об., 80 об., 89; ф. 275, оп. 1, д. 113: 262 об.).

Вместе с земледелием в Восточное Забайкалье в начале XX в. пришла и некоторая механизация сельскохозяйственного труда.

К 1911 г. в области насчитывалось 76 плугов и сох, 33 сенокосилки, 69 грабель и 140 борон, молотилка, веялка и даже жатвенная машина (НАРБ, ф. 131, оп. 1, д. 363: 23). Однако уже через четыре года у агинских бурят имелось 80 плугов, 47 сенокосилок, 141 грабли, молотилка, сеялка, 23 веялки, 4 жатвенные машины и 56 сепараторов и маслобоек (там же, д. 494: 121; д. 515: 3). Очевидно, что примерно на три с половиной тысячи дворов этого было ничтожно мало. Но в то же время следует оказать, что большинство сельскохозяйственных орудий связано не столько с земледелием, сколько с заготовками кормов для животных на зиму.

Надо отметить, что до появления в Забайкалье русских перепроходцев основным видом хозяйственной деятельности бурят было скотоводство, и важным следствием модернизации сельского хозяйства стало развитие сенокосения. В отличие, например, от монголов, почти не занимавшихся заготовкой кормов на зиму, буряты это практиковали вполне самостоятельно (Залкинд, 1958: 169–170). Однако интенсификация сенокосения связана с культурным влиянием русскоязычных переселенцев, заимствованием у них более совершенной технологии сенокосения.

Поскольку на одну условную кормовую единицу в Агинской волости заготавливалось гораздо меньше сена, чем в других уездах и ведомствах Забайкалья, то сложилось мнение, будто сенокосение здесь занимало более скромное место, чем у других территориальных групп бурят (МКК, 13: 111). Так, например, согласно выводам участников экспедиции, обследовавшей скотоводов Агинской волости в 1908 г., общий вес покосенных трав в расчете на поголовье скота был весьма незначителен, что свидетельствовало, по их мнению, о преимущественном содержании животных на подножных кормах (Солдатов, 1911: 301). Сено заготавливалось в основном на случай различных климатических стрессов: джугтов, пожога трав, снегопадов и т. д.

Однако данные выводы должны быть приняты с существенными оговорками. Вне всякого сомнения, агинские буряты в указанный период, как и ранее, продолжали вести традиционный кочевой образ жизни с преимущественным содержанием стад животных на подножном корму. Но к концу XIX в. уже примерно 70% хозяйств агинских бурят стало заниматься сенокосением. Если бы

состав стада у них остался традиционным (т. е. с преобладанием овец и коз) и не начал постепенно изменяться в пользу увеличения поголовья крупного рогатого скота, то заготовленных кормов могло бы хватать на достаточно длительный период времени. Для питания одной овцы было необходимо в холодное время ежедневно около 2,5 кг сена. Поскольку уже в конце XIX в. на одну условную кормовую единицу (т. е. овцу) в волости приходилось примерно 12–19 пудов сена, то этим количеством кормов можно было подкармливать животных 2–4 месяца. К тому же столь низкий в сравнении с другими ведомствами и управами расчет на одну среднестатистическую кормовую единицу обусловлен не столько незначительными объемами сенозаготовок, сколько большим количеством скота у бурят Агинской волости. В валовом объеме сена по ведомствам Забайкальской области агинцы выкашивали более 4 млн пудов, что уступало заготовкам сена только Хоринскому ведомству (Серебренников, 1925: 118).

Одним из наиболее важных новшеств стала организация борьбы с эпизоотиями крупного рогатого скота на государственном уровне. Катастрофические последствия эпизоотий вызывали существенное беспокойство у официальных властей, которые предпринимали попытки изучения данных явлений и выработки рекомендаций, чтобы воспрепятствовать их масштабному распространению на территории всего Восточного Забайкалья. Была даже разработана специальная программа по сбору соответствующей информации (НАРБ, ф. 129, оп. 1, д. 1903: 7–9).

13 марта 1869 г. была утверждена специальная инструкция врачебного отделения Забайкальской области, в которой были оговорены обязанности должностных и иных лиц в случае вспышки болезни (НАРБ, ф. 129, оп. 1, д. 2461). Были введены жесткая ответственность за неинформирование хозяевами скота местных властей и полиции о появлении признаков болезни и строгие правила, предусматривавшие санитарно-эпидемиологический осмотр всего поголовья, предназначенного на убой, а также жесткий контроль в случае появления признаков болезни. Все животные должны были быть осмотрены ветеринарным врачом, при обнаружении признаков болезни все зараженные должны были быть изолированы.

Предусматривались также специальные меры для дезинфекции пастухов и ветеринаров, здоровых животных (дегтем, во избежание заражения их насекомыми), а также мест содержания скота. Чтобы дикие звери и насекомые не могли способствовать дальнейшему распространению заразной болезни, было предписано зарывать околевших животных на глубину не менее одной казенной сажени, предварительно облив их раствором извести.

Были установлены запреты перегонять больной скот на иную территорию и, наоборот, прогонять здоровый через местность, на которой были обнаружены очаги болезней. Если же последнее не представлялось возможным, то власти должны были обеспечить безостановочный прогон скота, минуя селения, по обходным дорогам. Для локализации очагов распространения болезней предполагалась установка на дорогах специальных кордонов на период вспышки эпидемий и дополнительно на полуторамесячный карантин (НАРБ, ф. 129, оп. 1, д. 2461: 32–32 об., 208, 252; д. 2479: 65 об.).

Однако особенно эффективной мерой борьбы против распространения массовых эпизоотий стала вакцинация скота. Врачи-ветеринары и специально обученные санитары выезжали на места распространения болезней и проводили там прививание больного и меры профилактики для здорового скота. Это способствовало уменьшению очагов распространения эпидемии, увеличению поголовья животных.

Необходимо также упомянуть последствия втягивания скотоводов в товарную экономику. Если еще во второй половине XIX в состав стада у агинских бурят был обычным для кочевников аридных зон Евразии (при ведущей роли лошади, но с преобладанием мелкого рогатого скота), то в годы, предшествовавшие Первой мировой войне, произошли существенные изменения. Достаточно сравнить, например, 1882 и 1911 гг. (см. табл. 19). В 1911 г. изменения произошли за счет существенного сокращения поголовья овец от 50 до 34% от общего поголовья животных, при одновременном увеличении доли рогатого скота с 22 до 40%. Можно предположить, что это связано с постепенной переориентацией хозяйства агинских бурят, в первую очередь богатых и очень богатых, с замкнутого натурального хозяйства на рынок.

Все это вело к необратимым последствиям в экономике, обществе и культуре кочевников. Данные Агинской экспедиции 1908 г. в сравнении с переписью Куломзина, например, показывают, что за 11 лет произошли определенные изменения в социальной структуре агинских номадов: увеличилось количество бедных и не имеющих каких-либо видов животных хозяйств, возросло число бесскотных хозяйств, в некоторой степени этот процесс затронул и богатые хозяйства. В целом «отношение между бедными и богатыми хозяйствами изменилось в сторону увеличения числа первых. Дифференциация населения за последние 11 лет стала большей, чем была ранее, а вместе с нею шло общее обеднение бурят скотом и уменьшение размеров скотоводства» (Солдатов, 1911: 277). Однако вряд ли кто в то время предполагал, что бурятское кочевое хозяйство находится на пороге еще больших потрясений, поставивших, в конечном счете под угрозу само существование номадов за счет кочевой скотоводческой экономики. Но эта тема уже выходит за рамки настоящего исследования.

¹ НАРБ, ф. 129, оп. 1, д. 42: 7 об.–8; д. 129: 1–2; д. 217: 2–3; д. 250: 1 об.–2, д. 253: 49–49 об.; д. 322: 47; д. 372: 1–2, 5; д. 462: 37 об.; д. 484: 6–7; д. 512: 42; д. 561: 13–14; д. 590: 24; д. 676: 1 об.–2; д. 852: 3–4; д. 1930: 11; д. 2110: 7 об.; д. 2286: 157 об.; д. 2325: 145; д. 2355: 140, 142 об.; д. 2402: 22, 33, 48; д. 2419: 12; д. 2458: 136, 138, 140, 142; д. 3291: 12 об., 13; д. 3315: 48; д. 3320: 25; д. 3462: 23; д. 3745: 2 об.–3, 73 об.; д. 3762: 127; д. 3873: 102, 106 об.; д. 3945: 164–164 об., 184, 191 об.; ф. 131, оп. 1, д. 98: 10 об.–11; д. 283: 234; д. 363: 25; д. 488: 234; д. 494: 141; д. 539: 53; ф. 267, оп. 1, д. 3: 76, 76 об., 80 об., 89; д. 6: 96 об., 118 об.; ф. 427, оп. 1, д. 50: 212.

² НАРБ, ф. 129, оп. 1, д. 322: 44 об.–45; д. 462: 38; д. 512: 42 об.; д. 590: 24 об.; д. 687: 17 об.; д. 3462: 4, 23 об.; ф. 131, оп. 1, д. 363: 26; д. 494: 145; ф. 427, д. 50: 212 об.

³ НАРБ, ф. 129, оп. 1, д. 462: 37 об.; д. 512: 42, 48; д. 590: 24; д. 687: 17; д. 3462: 4, 23; ф. 427, оп. 1, д. 50: 212.

ТРАНСФОРМАЦИЯ БУРЯТСКОГО СКОТОВОДСТВА: ПРИМЕР АГИНСКИХ СТЕПЕЙ*

Агинский Бурятский автономный округ расположен в Юго-Восточном Забайкалье. Его площадь составляет 19,6 тыс. кв. км. Название округа происходит от бурятского слова *ага*, что означает “большая равнина”. Так же называется и река, которая пересекает округ по линии: запад — восток. Река разбивает округ на две ландшафтные зоны: к северу левый берег — лесостепь и к югу, между Агой и Ононом, — степь. Климат в округе сухой, континентальный. Зимой снега почти не бывает, поэтому здесь можно пасти скот круглый год под открытым небом. На большей части данной территории устойчивый снежный покров зимой не образуется, а многие травы после окончания вегетации остаются на корню, сохраняя при этом достаточно высокие кормовые качества. Несмотря на низкую продуктивность открытых пастбищ, природные условия Агинских степей очень благоприятны для обитания копытных. Это дает возможность осуществлять их круглогодичный выпас, а своеобразный пересеченный рельеф, привязанный к долинам Онона и Аги, имеющий множество падей, позволяет находить источники питья и убежища от непогоды.

* The Transformation of Pastoralism in Buryatia: the Aginsky Steppe Example // Inner Asia, 2004. N 1. Vol. 6. P. 95–109. Все данные и выводы приведены по состоянию на 2003 год. В настоящее время экономическая и демографическая ситуация в округе изменилась. В частности, принято решение о выделении округа самостоятельному субъекту и включении его в состав ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Многочисленные археологические памятники кочевых культур свидетельствуют, что в этих районах с глубокой древности обитали помады. На рубеже средневековья и нового времени на территории округа расселяются буряты. В 1837 г. агинские буряты были выделены в самостоятельную степную думу. Тогда их количество составляло примерно 20 тыс. человек. В начале XX в. царское правительство пыталось проводить насильственную седентаризацию и административную реформу. К этому времени количество местного населения увеличилось в два раза. В советский период (в 1937 г.) здесь был создан Агинский Бурятский автономный округ, который входил в состав Читинской области. После распада СССР он был выделен из Читинской области как самостоятельный субъект Российской Федерации. Население округа в настоящее время составляет 78 тыс. человек, из них более 42 тыс. бурят.

Территория округа признана зоной рискованного земледелия. По этой причине местное население, как и в XVIII—XIX вв., до сих пор продолжает заниматься скотоводством. В советское время здесь стали разводить особую тонкорунную забайкальскую породу овец, шерсть которых особенно востребована текстильной промышленностью. Интересно проследить, какие традиционные черты помадного пасторализма сохранились до настоящего времени и какие новые элементы экономики в скотоводстве есть в современном период.

Количество животных и структура стада

Состав стада у агинских бурят был классическим для кочевников-скотоводов евразийских степей и включал все пять основных видов, разводимых номадами животных: лошадей, овец, коз, верблюдов и крупный рогатый скот. Буряты называли данное явление *табан хушуу мал*, т. е. “скот пяти видов”. Более половины составлял мелкий рогатый скот (овцы — 50% от всего поголовья). Количество крупного рогатого скота и лошадей было примерно равным (около 20%). В XIX в. обычное бурятское пасторальное хозяйство обладало стадом, состоящим из 4–8 лошадей (13–15%), 10–16 голов крупного рогатого скота (25–30%) и 20–40 овец (около 60%) (Солдатов, 1911: 276).

В течение XIX в. осуществлялся количественный рост населения и численности животных. За 100 лет население увеличилось примерно в 2 раза и достигло 36 000 человек. В начале XX в. более ощутимым становится влияние российской экономики на бурятское кочевое хозяйство. Увеличивается оседлость, появляется земледелие, бурятские номады начинают поставлять мясо на рынок. Меняется и состав стада. По этой причине увеличивается количество крупного рогатого скота за счет некоторого сокращения верблюдов и лошадей, а потом и овец. К началу Первой мировой войны (например, в 1915 г.) количество крупного рогатого скота стало больше овец.

Таблица 22

Количество скота в Агинской волости*

Год	Лошади	Рог. скот	Овцы	Козы	Верблюды	Свиньи	Всего
1850	19009	15485	41441	6217	1524	—	83676
1907	27271	52383	86892	25255	1119	—	192920
1915	26049	70144	68186	13225	2547	60	180211
1930	56073	129558	272767		3913	?	462311
1953	10889	18816	124685		—	508	154898
1991	13000	98400	771500		—	20600	903600
2000	10100	70900	189000		?	18300	288300

* НАРБ, ф. 129, оп. 1, д. 512: 42, д. 561: 13–14; ф. 131, оп. 1, д. 98: 10–11; д. 494: 141; ГАЧО, ф. 19, оп. 1, д. 122: 112; д. 143: 121–122. ф. Р–1058, оп. 1, д. 138: 1; ф. Р–1645, оп. 3, д. 1736: 21–22. д. 3278: 129.

На территории Агинского округа до 1917 г. существовал гибкий экологический баланс между размерами пастбищ, числом животных и количеством номадов. В советский период произошли сильные изменения, которые были вызваны включением бурятского номадизма в советскую систему экономики. Первоначально буряты были нацелены советским правительством на создание коллективных хозяйств вместо индивидуального пасторализма и восстановление поголовья стада и его увеличение. Проводились

также селекционные работы по выведению и размножению новых пород овец и крупного рогатого скота. Но их результаты были не очень удачными. Большая часть бурят продолжала жить в юртах и кочевать со стадами. Уже к 1930 г. численность животных стала более чем в два раза больше, чем до революции. Однако структура стада естественным образом стала возвращаться к оптимальной для номадов норме (58% овец, 12% лошадей, 27% крупного рогатого скота).

Увеличение поголовья животных привело к необходимости большего количества заготовки кормов для животных. Местные власти хотели решить эту проблему путем развития земледелия и выращивания специальных кормов. Среди бурят стали активно культивироваться седентеризация и земледелие. Началась насильственная модернизация кочевников. Если в конце XIX в. 99% агинских бурят кочевали в поисках пастбищ, то к концу советской эпохи более ¼ части земель были распаханы под земледельческие культуры и корм для скота. Но это не решало всех проблем. Сено и корма для скота завозили из других регионов страны. Буряты ездили косить сено в Монголию. Иногда туда гоняли животных зимовать на монгольских пастбищах. За это советское правительство поставляло в Монголию трактора, топливо и другие промышленные товары.

Во время Великой Отечественной войны отмечалась катастрофическая нехватка кормов. Большое количество овец и особенно крупного рогатого скота было забито для питания советских солдат. По этой причине общее поголовье животных сократилось почти в три раза. Процентное соотношение между мелким и крупным рогатым скотом сильно изменилось в пользу мелкого рогатого скота (см. табл. 22).

Такая новая структура стада сохранялась на протяжении всей второй половины XX столетия. Но главная причина заключалась в том, что в результате селекции ученых в середине 1950-х гг. была выведена особая тонкошерстная порода овец для стойлового содержания. Это было серьезным достижением сельскохозяйственной науки. Новая овца была более изнеженной, не могла зимой жить под открытым небом, но давала больше мяса и высококачественной шерсти. Если средняя масса монгольских и бурятских баранов

в XIX в. равнялась 55–65, а овец 40–50 кг, то баранов новой породы откармливали до 85–90 кг. Буряты XIX – начала XX в. настригали с одной овцы около 1 кг шерсти. С овец новой породы настригали более 5 кг, а с баранов – 8–13 кг шерсти (Крюков, 1895: 120; Линховоин, 1972: 7, 44; Тайшин, Лхасаранов, 1997: 21–23, 42).

Еще одно направление трансформации пасторальной экономики в СССР – это кампания КПСС по распашке пастбищ, которая активно проходила в 1950–1960-е гг. Эти процессы затронули и Агинский округ. В СССР более 28% земель округа были распашаны. Так как сухой климат Агинского округа неблагоприятен для земледелия, это было очень серьезной ошибкой. Вместо больших урожаев последовала массовая эрозия земель. В настоящее время около 60% полей эродированы. В этот период советское государство активно развивало седентеризацию. К началу 1970 г. почти все агинские буряты стали оседлыми. К этому времени население округа увеличилось по сравнению с 1917 г. почти в 2 раза и достигло 70 000 человек.

В результате трансформации скотоводства очень сильно было сокращено поголовье лошадей, коз и крупного рогатого скота. Почти исчезли верблюды. Но появились (в основном в индивидуальных хозяйствах) свиньи (критерий седентеризации!). Их число росло год от года. Рост потребности в шерсти и мясе требовал значительного увеличения стада. Общее поголовье в 1970–1980-е гг. достигало 700–900 тыс. животных. В структуре стада овец доходило до 85–90%. Местные жители называли новую породу “золотой”, потому что шерсть стоила очень дорого и труд пастухов очень высоко оплачивался. Зарботная плата хорошего чабана была выше зарботной платы профессора университета. Для колхозов 59–60% доходов давало овцеводство. Главные потребители продукции бурятского овцеводства в советское время – Читинский текстильный комбинат, фабрики по переработке шерсти в Улан-Удэ и Красноярском крае. Всем казалось, что округ процветает. Среди партийного руководства Агинского округа даже возникла волюнтаристическая идея выведения одного миллиона овец. За это можно было получить государственные награды и высокие должности в Москве.

Однако давление на природу стало причиной кризиса экосистемы. Переизбыток овец стал причиной увеличения нагрузки на пастбища. Овцы разбивали копытами верхний слой почвы, выедали и вытаптывали траву. Это привело к сильной пастбищной дегрессии, которая совпала с экономическим кризисом после 1991 г. По данным документов из администрации Агинского округа, в настоящее время около 30% пастбищ находится на последних стадиях сбоя. Для их восстановления потребуется 15–20 лет. К 2000–2001 гг. количество поголовья животных сократилось по сравнению со временем “расцвета” в годы существования СССР более чем в три раза (в основном за счет резкого сокращения мелкого рогатого скота). Поголовье крупного рогатого скота, лошадей и свиней уменьшилось ненамного. Но эти потери привели к изменению структуры стада, где очень упала доля мелкого рогатого скота (с 85% до 65%), и за счет этого возросла доля других видов домашних животных.

Организация выпаса и перекочевки

Частной собственности на землю у агинских бурят до 1917 г. не существовало. Земли находились в общинной собственности. Пользование пастбищами было свободным по праву “первозавхата” (Крюков, 1895: 103; Асалханов, 1963: 169–170, 173) в пределах той или иной административно-территориальной группы (булуков), а сенокосные угодья считались общинной собственностью и делились на пайки “по числу душ и разряду казенных и общественных сборов” (НАРБ, ф. 131, оп. 1, д. 98: 10–11; д. 146: 1–2; д. 363: 11–12; ф. 267, оп. 1, д. 6: 12–13, 131–132). Даже накануне революции отношение “инородцев” к земле законодательно определялось как “неразделенное владение” (НАРБ, ф. 131, оп. 1, д. 635, 66). Отсутствие зафиксированной юридически собственности на землю не означает, что у бурят не было выработанных многолетней практикой маршрутов перекочевок, закрепленных традицией летних и зимних пастбищ. В Материалах комиссии Куломзина сообщалось, что “при каждой перемене стойбы бурят ставят свою юрту на известном, так же раз и навсегда определенном месте, которое если и меняется, то очень редко” (МКК, 13: 74). Конфликты по

поводу использования земель возникали в основном не между бурятскими родами, а между бурятами и русскими крестьянами, бурятами и казаками.

Полное использование степной растительности затруднено из-за недостатка воды. Выпас скота может производиться только вблизи естественных источников и искусственных колодцев. Летники буряты предпочитали устраивать поближе к водою, тогда как зимние пастбища выбирали в местах покосов, по возможности защищенных от ветров, а также там, где оставалось много ветоши. В целом агинские буряты меняли свои стойбы, по разным данным, от 4 до 12 раз в год (ИБМАССР, 1954: 190). При этом их подавляющее большинство даже в первой половине XX в. перекочевывало с зимников на летники и обратно (НАРБ, ф. 129, оп. 1, д. 4030; РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 1242: 12).

Есть географические варианты смены пастбищ. В степной части округа к югу от р. Аги буряты устраивают летники поблизости многочисленных озер и озерных западин. Здесь они поят скот. К тому же пологие склоны озерных западин нередко питаются ключевыми водами, вследствие чего здесь более сочные травы (Григорьев, 1913а: 52). Лесостепная (северная от р. Аги) часть земли зимой несколько теплее, чем степная. Поэтому буряты перед наступлением холодов перекочевывали со своими стадами в северную половину Агинских степей. Они располагали свои зимники в лесной предгорной части Могойтуйского и Борщновочного хребтов (Григорьев, 1913б: 13).

При этом необходимо отметить одну весьма важную тенденцию. Чаще кочевали и использовали большее количество пастбищных территорий наиболее богатые скотоводы (Масанов, 1991: 342–33; 1995: 173). Это связано, во-первых, с тем, что они располагали большей численностью животных и для их выпаса требовалось большее количество ресурсов; во-вторых, богатые скотовладельцы имели в структуре стада больший процент лошадей и верблюдов, что обеспечивало более высокую скорость кочевания их стад; в-третьих, богатые и знатные номады обладали более высоким общественным статусом и могли авторитетом или силой отчуждать лучшие участки пастбищ в свое пользование.

В советское время система кочеваний изменилась. Номады оказались привязанными к границам колхозов. Но конфликтов между ними по поводу земли не было. Многие информаторы так отвечали на этот вопрос: «Конечно, бывали случаи, когда скот переходил на земли другого колхоза, но они решались без особых конфликтов». Именно в годы правления Хрущева и Брежнева произошло массовое оседание агинских бурят. В процессе внедрения «передовых» методов хозяйствования стала проводиться их массовая седентеризация. Местные власти строили деревни, переселяли туда семьи скотоводов. Некоторые из информаторов помнят, что еще в 1970 г. небольшая часть бурят жила в юртах. После создания оседлых поселений сформировалось несколько видов семейных проживаний. В одном случае скотовод с женой и малолетними детьми жили на стоянке, а дети школьного возраста учились в интернате. В другом случае на стоянке могли жить родители с взрослыми детьми, имевшими свои семьи. Было также распространено дислокальное поселение, когда семья колхозника находилась в деревне, а он пас колхозное стадо на зимних и летних пастбищах.

Перекочевки совершали два раза в год. В начале июня кочевали на летние пастбища, которые были расположены близко к природным источникам воды (реки, озера) или колодцам. В конце сентября уходили на зимние стоянки. Нередко эти стоянки располагались рядом с колхозными полями, где было много соломы, травы и зерен.

Типичная современная летняя стоянка представляет собой деревянный сарай с земляным полом. Внутри стоят кровати, стол, стулья. Обязательно есть небольшая печка и газовая плита для приготовления еды в теплое время. На улице — открытые загоны для овец и коров. Расстояние от летней стоянки до зимней приблизительно равно 10–20 км. Когда переезжают с одной стоянки на другую, то забирают с собой практически все имущество. Иногда основное имущество остается на зимних стоянках, но в таких случаях там обязательно летом живет сторож из числа стариков.

Зимняя стоянка более теплая, чем летняя. В доме можно жить зимой. Загоны для скота закрыты от ветра и утеплены землей или сухим навозом. Здесь, как правило, имеются подсобные здания, баня. Когда в 1970-е гг. провели свет, стало жить гораздо

комфортнее. Появились телевизоры, различные электроприборы, холодильники. Последнее обстоятельство несколько изменило структуру и характер питания. Раньше из-за невозможности длительное время хранить в летние периоды запасы мяса, буряты забивали его в исключительных случаях. Как только один из скотоводов забивал барана, он обязательно раздавал его соседям, так как не мог съесть все мясо сразу. Другие пастухи поступали так же. Это способствовало поддержанию горизонтальных реципрокных связей. С появлением холодильников стало возможным забивать животных летом, хранить молоко и другие продукты. Теоретически можно предположить, что это должно было бы способствовать развитию индивидуализма среди агинских бурят. Однако ничего подобного не произошло. Всякий раз агинские скотоводы, когда забивают животных, по обычаю приглашают на трапезу соседей или друзей.

Трансформация бурятского скотоводства

В начале 1990-х гг. округ находился на грани экологического кризиса. Количество овец значительно превышало продуктивность экологических ресурсов. Распад Советского Союза в 1991 г. и новая экономическая политика затормозили этот процесс. Перестали поступать дотации и льготные кредиты из центра. Государство почти не помогало ни оставшимся государственным скотоводческим хозяйствам, ни индивидуальным фермерам. Были закрыты многие колхозы, позднее разорились фермеры. Возникла огромная разница цен на закупку мяса и шерсти и ценами на электричество, бензин, искусственные корма для животных. Если соотношение себестоимости баранины и средней закупочной оптовой цены накануне распада СССР равнялось 1:1,5, то после отпуска цен такое соотношение стало 1:0,6. Накануне распада СССР шерсть реализовывалась почти с двойной выгодой (1:1,9). После отпуска цен производство шерсти стало убыточным при соотношении 1,1:1,0. Само овцеводство также стало убыточным.

Это привело к кризису скотоводства. Производство шерсти сократилось почти в два с половиной раза, производство баранины — почти в шесть раз. Животных стало невыгодно содержать, поэтому их в массовом порядке забивали. поголовье овец сократилось до

268 000 голов. Упадок животноводческой отрасли и низкие условия жизни привели к резкому уменьшению численности пастухов и специалистов. Кроме того, понизилась рождаемость, началась миграция молодежи в Читу и Улан-Удэ. Многие опытные пастухи в это время ушли на пенсию. Все это привело к тому, что были утрачены и вековые традиционные, и новые знания в области скотоводства. В разговорах с молодыми пастухами у меня сложилось мнение, что далеко не все из них знают вкусовые качества травы, не все умеют пользоваться приемами выпаса скота, которые применяли их родители. Нужно отметить, что утеря навыков традиционного природопользования началась не после 1991 г. Она началась еще в советское время, когда количество животных стало превышать объемы ресурсов пастбищ. Вера в то, что Коммунистическая партия всегда поможет — даст денежные дотации или обеспечит сеном и фуражом из других регионов, — сформировала потребительское, иногда паразитическое отношение скотоводов к природе.

В настоящее время ситуация углубления кризиса сельского хозяйства затормозилась. Снизилась нагрузка животных на пастбища. Травы стали восстанавливать свою продуктивность. В некоторых местах пастбищ так много, а животных настолько мало, что пастухи теперь живут стационарно только на зимних стоянках и даже не косят сено. Травы хватает на весь холодный период — до начала появления молодой травы.

Однако очевидного прогресса не наблюдается. Как для колхозных пастухов, так и для фермеров сейчас характерна натуральная форма экономики. Главная задача колхозных пастухов — сохранить поголовье стада. Зарплату им не платят. Один или два раза в год выдают продукты (макароны, муку, крупы и др.) вместо денег. Летом они питаются в основном молочными продуктами от своих и колхозных животных. Для мясного рациона также забивают баранов. Многие колхозы перестали вывозить молочные продукты на продажу, так как это не окупается. Последние несколько лет государство дает дотацию на молочную и мясную продукцию. Она свозится в центр округа — село Агинское — и реализуется централизованно в Читинскую область.

Цена на шерсть в последние годы также возросла. Это привело к некоторой активизации ее поставок. Шерсть продают в разные

места — на фабрики в Улан-Удэ, Омск и другие города, но не сами колхозники. Общее руководство по реализации шерсти осуществляет администрация Агинского округа. Патерналистская политика по отношению к колхозам проявляется во всем — от реализации продукции и перераспределения дотаций до ожидания самих людей, что государство в лице губернатора округа, Президента страны и Правительства обязательно позаботится о них в трудный период.

В конце осени колхозники забивают крупный рогатый скот. Мясо едят всю зиму, а также продают. На вырученные деньги покупают одежду, некоторые продукты и школьные учебники для детей. После окончания школы многие едут учиться в город. Деньги от продажи животных идут также на оплату их обучения.

Современная организация пасторального хозяйства: пример колхоза Кункур

Типичным примером современного хозяйства агинских бурят является, например, колхоз в селе Кункур в степной части, на юге округа на берегу р. Онон. В 2001 г. в этом колхозе проводились исследования. Кункур был создан в 1931 г. В нем проживает более 1200 человек, из них членами колхоза состоят 230. В селе также живут 4 фермера, но первоначально, в перестройку, было 20 фермерских хозяйств. Большинство из них разорились.

В советское время поголовье овец в Кункуре достигало 40 000 голов (по мнению информаторов из числа зоотехников, предел для экосистемы — 35 000 голов). Сейчас в колхозе всего 11 000 голов овец, 600 голов крупного рогатого скота, 400 лошадей. В последние годы спад поголовья приостановлен, однако особого прогресса не наблюдается.

Скотоводческая экономика организована на основе небольших стоянок. Колхозники живут в основном в деревне. Только пастухи проводят время на зимних и летних стоянках. Таких стоянок в колхозе 25. На 19 из них разводят овец, на 5 — крупный рогатый скот, на одной — лошадей. В колхозе есть своя мельница, молочная ферма и небольшой цех для стрижки овец. Кроме этого в колхозе 2500 гектаров засеяно зерном и столько же земли отдыхает

под паром. Основные культуры — пшеница, а также овес, немного ичменя и зеленой травы — все это для скота.

Таблица 23

Состав стада, принадлежащего населению колхоза
Кункур (1997 г.)

	Личные хозяйства	Колхоз	Фермеры (13 ферм)
Крупный рогатый скот	1503	590	141
Овцы	981	11097	472
Лошади	47	230	5
Свиньи	809	63	105

Из табл. 23 хорошо видны различия в структуре стада. В собственном хозяйстве преобладают крупный рогатый скот и свиньи. Это связано с тем, что животных большей частью забивают для питания и на продажу. В колхозе в основном разводят тонкорунных овец. Фермеры в основном специализируются на разведении овец, но крупный рогатый скот и свиньи имеют также важное значение.

Летние стоянки расположены или возле Онона, или около нескольких озер. Зимние стоянки находятся в 30–40 километрах от посевов. Зимой овцы лижут снег вместо воды. На некоторых стоянках есть колодцы с насосами.

Для стрижки баранов пригоняют в специальный цех. Пора стрижки приходится на 20-е числа июня. С одной головы получают 3 кг шерсти, что равно примерно 100 рублям. Государство еще дает дотацию — 30 руб. на одну голову. Эта дотация распространяется как на государственные учреждения, так и на индивидуальные хозяйства, зарегистрированные в местной администрации и налоговых органах. Деньги, прямо скажем, небольшие.

Поскольку заработную плату колхозники получают очень редко, они живут в основном за счет собственного домашнего хозяйства (см. табл. 23). Вырученные от реализации мяса крупного рогатого скота деньги тратят на оплату обучения детей в городе, закупку одежды, учебников, промышленных товаров, некоторых

продуктов, алкогольных напитков. Мелкий рогатый скот и свиней используют в основном для питания. Кроме того, на приусадебных участках выращивают картофель и овощи. Эти продукты в наше время также занимают важное место в системе питания бурят. Но, как и сто лет назад, по качеству возделывания огородов агинские буряты уступают русским крестьянам.

Интервьюирование фермеров показывает, что причинами их разорения стали как объективные факторы (рост цен на энергоносители, разрушение торговой инфраструктуры, чрезмерные налоги и т. д.), так и психологические: многие оказались неспособными жить в новых экономических условиях без патерналистской поддержки. Некоторых из фермеров в независимом статусе привлекает лишь то, что они стали меньше работать, чем в колхозе.

В целом наблюдается значительная натурализация хозяйства. Психологически большинство информаторов отмечает трудности выживания в современных условиях. Однако демографические показатели остаются стабильными. В селе достаточно высокая рождаемость. В семьях много детей. Все это свидетельствует о том, что многие проблемы трансформации пасторальной экономики в настоящее время обусловлены не только экономическим кризисом, но и психологическими причинами переходного периода.

* * *

Агинские буряты, проживающие в Восточном Забайкалье, сохранили язык, обычаи и традиции больше, чем другие группы бурят. До конца XIX в. они вели традиционный кочевой образ жизни. Основным занятием агинских бурят было скотоводство, отчасти охота. Состав их стада фактически не отличался от состава стада других монголоязычных кочевников евразийских степей. Более половины стада составляли овцы. Количество коз было незначительно. Примерно 25–30% приходилось на долю крупного рогатого скота и приблизительно 10–15% — на долю лошадей. Среднее хозяйство содержало 50–60 животных. Число богатых хозяйств составляло не более 2%, тогда как количество малоимущих хозяйств достигало приблизительно 20%. Около 5% хозяйств не имели скота вообще.

С последней четверти XIX в. усиливается влияние индустриальной экономики на кочевой образ жизни бурят. Это отразилось

на развитии седентеризационных процессов, нескотоводческих укладов, рыночной ориентации хозяйства, сокращении смертности, распространении грамотности и т. д. К началу XX в. население выросло почти в два раза и достигло 36 тыс. человек. Если в 1850 г. было не более 80 оседлых хозяйств, то в 1911 г. таковых уже стало более 650. Началась механизация труда, главным образом касающаяся сенокосения. В противоположность монголам агинские буряты все время заготавливали корм на зиму, и к концу XIX столетия сенокосением занималось около 70% бурятских домохозяйств.

В советское время бурятское скотоводческое хозяйство подверглось еще более активному вовлечению в процессы индустриализации. Можно выделить несколько этапов модернизационных процессов в Агинских степях. Во время гражданской войны и в период становления советской власти численность населения и количество животных несколько сократились. В процессе коллективизации индивидуальные хозяйства были объединены в колхозы, начались преследования богатых скотовладельцев. Те, кто не смог мигрировать в Монголию или Китай, были репрессированы. Архивных данных, относящихся к этому времени, очень мало.

С 1930-х гг. началась крупномасштабная коллективизация. Скотоводов объединяли в колхозы, но при этом большинство бурят продолжали жить в юртах и пасти скот небольшими группами. Отрицательный эффект оказало слияние небольших колхозов в крупные хозяйства, что привело к увеличению нагрузки на пастбища. В то же время процессы индустриализации сделали скотоводческое хозяйство более стабильным. Все это привело к общему удвоению поголовья животных по сравнению с дореволюционным временем. Правда, в период Великой Отечественной войны количество животных резко сократилось из-за масштабных заготовок мяса для фронта. В 1950-х гг. в результате селекции была выведена новая тонкорунная порода овец, что позволило переориентировать хозяйство на производство высококачественной шерсти. Общее поголовье увеличилось почти в пять раз и достигло 900 тыс. животных. Переизбыток мелкого рогатого скота со временем привел к увеличению нагрузки на пастбища. Овцы быстрее, чем

“пережитка”, а вследствие внутренних потребностей тех или иных групп (*Eisenstadt, Roniger, 1984*).

В традиционных обществах кочевников-скотоводов патронажно-клиентные отношения также широко распространены. В силу нестабильности, зависимостиномадного хозяйства от природно-климатических условий, а также существования в обществах кочевников частной собственности на скот в их среде всегда были люди, не имевшие достаточного количества животных для самостоятельного существования. По этой причине они были вынуждены вступать в отношения системы “патрон — клиент” с более обеспеченными владельцами скота.

Выделяются две основные формы патронажно-клиентных отношений у кочевников-скотоводов. Первая форма неравенства, когда богатый скотовладелец отдавал бедному пастуху скот на выпас, получила в отечественной литературе название *саун* от одноименного казахского термина, обозначающего это явление. Помимо отдачи скота на выпас существовал второй канал формирования зависимости — работа в семье “патрона” в качестве клиента, батрака, наемного работника, неполноправного сородича и пр. (*Шахматов, 1962; Тольбоков, 1971; Першиц, 1973; Марков, 1976; Khazanov, 1984; Масанов, 1984; 1995; Крадин, 1992* и др.).

В советской антропологии патронажно-клиентные отношения у кочевников было принято называть “патриархально-феодальными” в соответствии с бытовавшими тогда представлениями о господстве у номадов феодализма (подробнее о данной дискуссии см.: *Марков, 1976; 1998; Першиц, 1976; Коган, 1981; Халиль Исмаил, 1983; Khazanov, 1984; Gellner, 1988; Попов, 1986; Крадин, 1987; 1992, 2001; Масанов, 1995* и др.).

Агинские буряты представляют собой особую группу, которая была выделена в отдельную административную единицу в степном Забайкалье еще в первой половине XIX в. В ее состав вошли представители ряда родов хори-бурят, кочевавших со своими стадами по тучным долинам рек Онона и Аги. На большей части данной территории устойчивый снежный покров зимой не образуется, а многие травы после окончания вегетации остаются на корню, сохраняя при этом достаточно высокие кормовые качества. Поэтому, несмотря на низкую продуктивность открытых пастбищ,

природные условия Агинских степей очень благоприятны для обитания копытных. Это дает возможность осуществлять их круглогодичный выпас, а своеобразный пересеченный рельеф, привязанный к долинам Онона и Аги, позволяет находить источники питья и убежища от непогоды (*Крадин, 2000*).

Частной собственности на землю у агинских бурят до 1917 г. не существовало. Земли находились в общинной собственности. Пользование пастбищами было свободным по праву “первозахвата” (*Крюков, 1895: 103; Асалханов, 1963: 169–170, 173*) в пределах той или иной административно-территориальной группы (булуков), а сенокосные угодья находились в общинной собственности и делились на пайки “по числу душ и разряду казенных и общественных сборов” (НАРБ, ф. 131, оп. 1, д. 98: 10–11; ф. 267, оп. 1, д. 6: 12–13, 131–132). Даже накануне революции отношение “инородцев” к земле юридически определялось как “неразделенное владение” (НАРБ, ф. 131, оп. 1, д. 635: 66).

Согласно архивным источникам и материалам переписи 1897 г., у агинских бурят существовали многообразные формы неравенства и эксплуатации, в том числе саунные и клиентные отношения (*Асалханов, 1954: 311–315*). Богатые скотовладельцы использовали труд бедных. Некоторые хориинские и агинские богатеи имели так много скота, что они, по словам посещавших их кочевья русских, “считали лошадей оврагами” — загоняли животных в распадок, поскольку в нем могло одновременно поместиться определенное количество животных (*Козьмин, 1934: 14*).

Тем не менее число богатых скотовладельцев у агинцев было невелико. Согласно статистическим данным, на 1908 г. (с учетом общего ухудшения условий существования агинцев) было только 0,3% хозяйств, насчитывавших свыше 300 лошадей. Процент хозяйств, имевших большое количество других видов животных, также весьма мал. Так, только у 2% хозяйств было 500 овец. Лишь в 1,31% хозяйств было более 100 голов крупного рогатого скота, и всего в 0,01% хозяйств количество единиц рогатого скота превышало 300 (ГАЭ, 1911: 276). Это дает основание предположить, что не более 2% хозяйств может быть отнесено к богатым. В то же время большинство скотоводов имели количество животных, позволявшее им с трудом сводить концы с концами, примерно

20,7% хозяйств были вынуждены искать дополнительные источники существования, из них у 2,9% был только один какой-либо вид животных, а 5,7% хозяйств не имело скота вообще (там же, 226, 276).

В советский период богатые скотовладельцы были объявлены эксплуататорами и репрессированы. В процессе складывания колхозной системы у бурят, занимавшихся скотоводством в Забайкалье, была осуществлена коллективизация индивидуальных скотоводческих хозяйств, и все стада домашних животных перешли под контроль государства. В результате было установлено формальное равенство. Это, конечно, не означает, что все имели одинаковое количество скота и другого имущества. Одни жили чуть лучше, другие — чуть хуже. Это было связано с различными причинами, но в немалой степени и с успехами в трудовой деятельности. В целом, когда народное хозяйство было восстановлено, уровень жизни в Агинском автономном округе стал достаточно высоким. Такое положение было обусловлено закупочными ценами на овечью шерсть. По словам многих информаторов, руно считалось едва ли не "золотым", и они с ностальгией вспоминают это время.

После 1991 г. ситуация резко изменилась. В результате политики приватизации скотоводческое хозяйство агинских бурят оказалось в глубоком кризисе. Начиная с этого времени возродилась частная собственность на скот. Часть скотоводов выделилась в самостоятельные фермерские хозяйства. Обследуя эти хозяйства на территории степей Ононского левобережья в 2001 г., удалось зафиксировать весьма интересную ситуацию. У многих фермеров, а также у колхозных чабанов, которые раньше согласно государственным нормативам должны были пасти скот единолично, появились так называемые *помощники*. Нередко ими становились лица без определенного места жительства, бывшие заключенные, пенсионеры и безработные из соседних районов, люди с некоторыми психическими отклонениями, дальние родственники, не имеющие своего жилья и твердого заработка. Они пасут скот своего работодателя, за что он дает кров, кормит и одевает их. Иногда присутствует негласное соглашение о выплате заработной платы деньгами или скотом/приплодом.

Можно выделить два варианта таких отношений. В первом случае помощник живет вместе с хозяином и выполняет наиболее непрестижные и трудоемкие виды деятельности. Данная форма отношений типологически сопоставима с клиентеллой. Во втором случае сам работодатель живет в селе, тогда как все дела на стоянке ведет нанятый им помощник. Если он имеет семью, то по договоренности с хозяином может привезти ее на ферму (стоянку).

Для иллюстрации опишем одну из таких стоянок. Ее хозяин, по национальности бурят, сам живет в селе. На стоянке расположены дом, техника, зимняя кошара и хотон для скота. Из животных имеются 82 головы крупного рогатого скота, 6 овец, 11 свиней, кобыла с жеребенком. Все животные принадлежат работодателю. Семья работников, русских по национальности, состоит из семи человек (родители, четверо малолетних детей и племянник шестнадцати лет). Они пасут животных, следят за скотом, изготавливают сметану и творог, которые хозяин периодически вывозит на продажу. Семья работников одета очень бедно, что говорит о низком уровне жизни. Они приехали из Борзинского района Читинской области. Причина переезда — отсутствие работы в родном совхозе (мужчина работал там механизатором, а его жена — дояркой). Для выживания выращивают рядом со стоянкой картошку и овощи. Взрослые на вопросы об условиях работы по найму отвечают с нежеланием. Удалось установить, что хозяин стоянки обещал одеть детей к школе (возможно, во время учебного года им придется жить в интернате или в доме хозяина), несколько раз в течение года завозил на стоянку продукты (макаронны, крупы, соль, сахар и т. д.), а также обещал через год дать 3–4 головы скота. И это, вероятно, все.

Работодатели характеризуют данные отношения как благодеятельство. Один из них во время интервьюирования прямо назвал их проявлением степного гостеприимства. Работники стараются уйти от ответа, однако чувствуется их боязнь говорить на данную тему. Даже внешне видна разница в статусе между работодателями и их помощниками. Последние, как правило, одеты в старую, поношенную одежду, многие из них не имеют среднего образования, для них характерна очень низкая самооценка. Ряд лиц употребляют или употребляли наркотики, имеют физические недостатки, стра-

дают психическими и иными расстройствами. Среди них есть люди, отсидевшие в тюрьме, которым некуда возвращаться. Многие из них принадлежат не к бурятскому, а к русскому этносу. Они все время в работе и не присутствуют во время праздничного ужина в честь почетного гостя — антрополога. Они также не участвуют в беседах исследователя с информаторами, а при вступлении с ними в контакт для получения сведений видишь в их глазах постоянный страх. В данных случаях налицо восстановление патронажных связей, подобных классическим “саунным” отношениям у кочевников.

Можно ли считать подобные отношения эксплуататорскими? На этот счет в ходе дискуссии о “кочевом феодализме” были высказаны два противоположных взгляда. С точки зрения многочисленных сторонников существования у кочевников “патриархально-феодалных” отношений — это, безусловно, форма угнетения кочевыми феодалами “трудящихся масс”. Согласно представлениям критиков данной ортодоксальной парадигмы, подобные отношения имели нефеодалную и нередко взаимовыгодную для обеих сторон природу.

Очевидно, что было бы ошибочным идеализировать отношения системы “патрон — клиент” и усматривать в них либо только классовый антагонизм и эксплуатацию, либо только взаимовыгодные связи. По всей видимости, так называемые “саунные” отношения у кочевников (в широком смысле этого термина) представляли собой широкий спектр отношений, на одном полюсе которых находились механизмы безвозмездной взаимопомощи между родственниками и соплеменниками, а на другом — отношения доминирования и явная эксплуатация малоимущих кочевников богатыми скотовладельцами. Между этими полюсами существовало большое количество разнообразных промежуточных вариантов.

В то же время необходимо иметь в виду, что тезис о первобытном равенстве и отсутствии в догосударственную эпоху эксплуатации — это кабинетный миф. Обращение к исследованиям социологов, антропологов, а также к работам специалистов по социобиологии показывает, что тезис об отсутствии в первобытности неравенства и эксплуатации — это очень серьезное заблуждение, от которого давно пришло время отказаться. Неравенство и доминирование присутствуют в сообществах животных. Поскольку количество

ресурсов почти всегда ограничено, доступ к ним опосредуется различными механизмами доминирования, например, “порядком клеветания” (Глюксин, 1990; Дольник, 1994; Butovskaya, 2000).

Неравенство всегда существовало в истории человеческого общества. Даже в самых простейших из них, несмотря на видимость эгалитаризма, присутствовало половозрастное доминирование (за небольшим исключением). Наиболее удачливые охотники, искусные умельцы, лица, обладавшие редкими способностями (шаманы, знахари) и т. д., также занимали более высокое положение, чем остальные. Между различными общинами всегда имелось неравенство в доступе к полезным ресурсам (нефрит, обсидиан, соль, глина), и те, на чьей территории были расположены эти ресурсы, извлекали из своего положения определенные выгоды (Rousseau, 1985; Trigger, 1985: 49–51; Earle, 1997: 2; Artemova, 2000; Крадин, 2004).

Многие выдающиеся мыслители скептически рассматривали возможность создания общества без иерархии и стратификации. Еще в начале XX в. П. А. Сорокин привел множество примеров из истории, когда люди пытались создать общество равных. Но все эти попытки заканчивались безрезультатно. Христианство началось с эгалитарных общин, но возвело могущественную пирамиду с Папой, кардиналами и инквизицией. Святой Франциск создал институт монашества с этой же целью, но уже через семь лет от бывшего равенства не осталось ни следа (1990: 304–307 и др.).

Р. Михелс (Michels, 1911) на примере профсоюзных рабочих организаций рубежа XIX–XX столетия показал, как возникает организационная иерархия. Особую пикантность его анализу придает то, что он проделал его на примере социал-демократических партий. Согласно Михелсу, любая политическая партия или профсоюзная организация сталкивается в своей деятельности с различными проблемами (организация политических кампаний и выборов, печатная деятельность, ведение переговоров и т. д.). Данная деятельность отнимает много времени и иногда требует специальной подготовки. Если организация включает большое число членов, то нужны дополнительные усилия по их координации. Постепенно формируется управленческий аппарат, который занимается обеспечением жизнедеятельности организации, собирает взносы, ведет

переписку и пр. Партийные функционеры концентрируют в своих руках инфраструктуру организации, органы печати и финансовые средства. Со временем более высокий уровень доходов и доступ к каналам перераспределения средств своих организаций позволяют функционерам вести более комфортный образ жизни. Все это постепенно меняет их мировоззрение. Они уже стремятся не столько к выполнению программных установок своей партии, сколько к сохранению собственной стабильности. В этом, по Михелсу, заключается “железный закон олигархии”.

Исходя из вышеизложенного, необходимо признать, что неравенство и эксплуатация могут существовать во всех типах обществ. Вместе с тем, говоря о переходе России к рыночной экономике, многие почему-то предпочитают рассуждать только о позитивных ценностях — индивидуализме, свободе слова, демократических институтах власти. Однако индивидуальную эксплуатацию (государственная эксплуатация, которая существует при так называемом азиатском способе производства, социализме и других типах общества, в том числе и в современной России — это иная тема) при капитализме никто не отменял. Более того, свободная конкуренция невозможна без асимметрии экономических отношений со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому не стоит удивляться, что в процессе складывания новых форм хозяйствования и проникновения товарных отношений в скотоводстве возникают новые формы организации труда.

Другое дело, что описанные в данной главе отношения трудно отнести к товарно-денежным, капиталистическим. Речь должна идти о типичных для кочевников патронажно-клиентных связях. Думается, что подобные отношения должны существовать не только у бурят, но и у других скотоводческих народов в национальных республиках Российской Федерации и бывших среднеазиатских республиках СССР — ныне независимых государствах СНГ. Более того, я склонен предположить, основываясь на косвенных источниках, что в среднеазиатских республиках подобные отношения существовали и в советский период нашей истории. Просто по идеологическим причинам их не замечали или старались не замечать. Задача антропологической науки — выявить и по возможности достоверно описать эти реликты социально-экономической жизни с тем, чтобы можно было решать, что с ними делать в будущем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная книга написана на основе статей и докладов автора, опубликованных после 2000 г. Книга состоит из шести частей, характеризующих определенный вклад автора в ту или иную область кочевниковедения. Каждая из них включает три главы. Первая часть “Историография номадизма” посвящена проблемам историографии. В первой главе “Кочевничество в современных теориях исторического процесса” дается общий обзор дебатов в кочевниковедении в конце XX — начале XXI века. Существует несколько влиятельных тесрий исторического процесса, к которым относятся однолинейные теории стадий (марксизм, неозволюционизм, теория модернизации), многолинейные подходы, а также цивилизационный и мир-системный подходы. Больше внимание теории кочевников было уделено в рамках марксизма. Были созданы специальные теории, самая популярная из них — идея особого “кочевого феодализма”. Постепенно были выработаны альтернативные подходы — концепция дофеодалного общества у кочевников и теория особого кочевого способа производства. Еще позже появилась концепция особого ксенократического (экзополитарного) способа производства в кочевых империях, а также концепция суперсложного вожества.

Вторая и третья главы (“Н. Н. Козьмин и дискуссия о кочевом феодализме”, “Эрнст Геллнер и дебаты о кочевом феодализме”) посвящены анализу трудов двух исследователей. Первый — русский историк и этнограф Николай Козьмин, убежденный марксист и революционер. В 1930-е гг. он был профессором Иркутского университета. В одно время с Б. Я. Владимирцовым и

С. П. Толстовым Н. Н. Козьмин выдвинул свою версию “кочевого феодализма”. Ученый был репрессирован и в 1938 г. расстрелян, а его имя предано забвению. Другой исследователь — известный британский антрополог Эрнст Геллнер. Он написал очень интересную книгу о советской антропологии — “State and Society in Soviet Thought”, в которой одна глава посвящена дискуссии о “кочевом феодализме”. В третьей главе данной книги подробно анализируется труд Геллнера, который был знаком с исследованиями советских ученых только по некоторым работам, но он достаточно адекватно раскрыл данную тему.

Вторая часть книги “Теория кочевого мира” посвящена теории номадизма. В четвертой главе “Комплексные общества номадов в кросс-культурной перспективе” сделана попытка разработать методологию, позволяющую сравнивать разные типы обществ и затем в рамках этой методологии определить уровень стадийной сложности обществ кочевников в сравнении с обществами земледельцев. Для этих целей использован подход, предложенный Дж. Мёрдоком (*Murdock, Provost, 1973*). Результаты кросс-культурного исследования 15 обществ номадов показывают, что у кочевников и скотоводов можно выделить примерно три–четыре уровня культурной (и политической) сложности. Самые простые — это сегментарные акефальные общества, не имеющие органов управления. Следующая ступень — это “вторичные” племена, конфедерации племен, простые вожества. Еще более развитую структуру имеют сложные и суперсложные вожества. Последние представлены в наиболее масштабном виде кочевыми империями, а также квазиимперскими обществами несколько меньшего размера (подобно татарским ханствам после крушения Золотой Орды), независимыми и полунезависимыми ханствами нового времени (жузы казахов, ханство калмыков и др.). Наиболее сложными являются те кочевые империи, которые включали в свой состав земледельческое население.

В последние годы очень многие ученые пишут об особой цивилизации кочевников. Пятая глава “Кочевничество и теория цивилизаций” посвящена анализу этих взглядов. Идея, согласно которой кочевники составляют особую цивилизацию, предложена А. Тойнби в 1934 г., но она не была особенно популярной до распада Советского Союза. Только в последние 15–20 лет у нее

появилось много приверженцев. Автор считает, что кочевничество действительно особый мир, оппозиционный миру земледельцев. Но кочевая цивилизация — это, скорее, метафора, чем научное понятие. Большинство из признаков так называемой цивилизации номадов имеют стадийный характер и свойственны для определенного уровня развития. Более корректно надо говорить об отдельных цивилизациях кочевников (арабской, тюркской, монгольской и др.). В качестве характерных для них признаков выделяли такие черты, как крыльевое управление, десятичная система, схожие обряды интронизации, праздники и др. Однако несложно установить, что многие из этих признаков характерны не для цивилизации, а для империй, созданных кочевниками.

Шестая глава называется “Роль кочевников в мир-системных процессах”. В ней показано, что есть корреляция между расцветом оседлых цивилизаций и кочевых империй, которые существовали за счет вымогания дани и набегов на земледельцев и горожан. В Восточной Азии эта корреляция особенно видна, так как здесь имелись большие пастбища, позволяющие проживать значительному числу кочевников-скотоводов. Так, династия Хань и Хуннская империя возникли в течение одного десятилетия. Расцвет Тюркского и Уйгурского каганатов тесно коррелирует с расцветом династий Суй и Тан. И, напротив, периоды кризиса в IV–V и X столетиях в Китае вели к политической энтропии в степных областях.

И. Валлерстайн связывал становление мир-системы с обменом большими товарами и грузами. Однако исследования последних лет показывают, что гораздо большее значение для мировых систем имели информационные сети (прежде всего технологическая и военная информация). Поэтому формирование мировых систем начинается даже не в XIII столетии (что было написано в книге Абу-Лухода (*Abu-Lughod, 1989*), но на несколько тысяч лет ранее. С точки зрения этого подхода кочевники выполняли важные посреднические функции между региональными империями и городскими цивилизациями. Подобно мореплавателям, они обеспечили связь потоков товаров, финансов, технологической и культурной информации между островами земледельческо-городских цивилизаций.

В третью часть “История кочевых империй” включены седьмая, восьмая и девятая главы. В седьмой главе “Имперская конфедерация Хунну: социальная организация суперсложного вождества” показана эволюция первой кочевой империи во Внутренней Азии. Главная причина образования Хуннской державы — необходимость противостояния объединившемуся Китаю. Кроме того, следует учесть и роль личностного фактора — выдающиеся способности основателя Хуннской державы вождя (шаньюя) Модэ. Хуннская держава была племенной империей. Она была основана на племенных консенсуальных связях во внутренних отношениях, но выглядела как завоевательное *ксенократическое* государство. Каждый кочевник был включен в племенные и родовые связи. Параллельно каждый мужчина входил в десятичную военную иерархию. Баланс власти шаньюя зависел от его способностей организовывать военные кампании и перераспределять захваченную добычу. Раздавая подарки своим подданным, шаньюй получал от них право на монополию международных контактов. На основе внешней политики можно выделить несколько этапов истории хунну. На первом этапе (200—133 гг. до н. э.) хунну эксплуатировали китайцев на дистанции. Они чередовали набеги с вымоганием подарков. Второй этап (129—71 гг. до н. э.) был периодом активной экспансии Китая на север при императоре У-ди. Эта война обескровила обе стороны, но не определила победителя. Третий этап (56 г. до н. э. — 9 г. н. э.) был периодом гражданской войны в Степи, после чего между странами восстановились мирные дружеские отношения, сопровождавшиеся большими подарками кочевникам за мир. Четвертый этап (9—48 гг. н. э.) аналогичен первому. В течение 250 лет Китай так и не решил хуннской проблемы. Кочевая империя хунну погибла из-за экологической катастрофы 44—46 гг. н. э. и переизбытка элиты, приведшей к новой гражданской войне.

В восьмой главе “Общественный строй Жужаньского каганата” показана эволюция жужаньского общества. С созданием каганата сформировалась троичная геополитическая структура во Внутренней Азии. На юге Китая — типичные китайские королевства, в Северном Китае — буферная полукочевая империя Тоба Вэй, на севере — имперская конфедерация жужаней. Для каганата были характерны типичные черты кочевых империй Евразии: эксплуа-

тация земледельческих обществ на расстоянии, десятичная военная система, двухкрыльевая административная организация, титул кагана и другие. Внешняя политика жужаней была основана на традиционных принципах кочевников Внутренней Азии. Жужани практиковали метод дистанционного давления на Китай, чередуя набеги с периодами мирного вымогательства богатых подарков.

Девятая глава называется “Структура “варварской империи”: киданьская династия Ляо”. В данной главе показано, что Киданьская империя открыла новый этап во взаимоотношениях кочевников и Китая. Впервые почти целиком Северный Китай оказался под властью кочевников. В этом многонациональном государстве число кочевников-киданей достигало только пятой части населения (750 тыс. человек). Традиционные предгосударственные органы власти киданей не были приспособлены к управлению сложной экономикой земледельческой цивилизации с многочисленными городами. Требовался более сложный механизм. Для лучшего управления зависимыми территориями была создана дуальная система политического контроля. Северная администрация занимала более высокое положение, а также контролировала кочевников и другие северные народы (“метрополия”). Южная администрация копировала бюрократическую систему Китая, управляла оседло-земледельческими территориями. По мере того как степное “варварство” трансформировалось в “цивилизацию”, представители элиты завоевателей одевались в одежды побежденных, перенимали их этикет и письменность либо создавали свое письмо. Кидани возводили крупные города, в которых воздвигали храмы и роскошные дворцы, где селились императорский двор и чиновники. С расширением территории империи за счет включения новых земледельческих областей Северного Китая процесс китаизации киданьской аристократии шел все более быстрыми темпами.

Четвертая часть “Социальная археология хунну” включает десятую, одиннадцатую и двенадцатую главы, посвященные методике социологических реконструкций в археологии. Десятая глава называется “Социальная структура ранних кочевников (по данным археологии)”. В качестве методологии для изучения социальной стратификации по археологическим источникам можно принять идею Р. Адамса, согласно которой величина власти обусловлена масш-

табом контроля над источниками энергии (продуктивные ресурсы, военная добыча, товарооборот и др.), накопителями энергии (склады, у номадов — стада, сокровищницы и пр.) и контролем над перераспределением энергетических потоков. Чем выше статус индивида, тем нередко более пышным был опущенный с ним в могилу инвентарь (одежда, украшения, оружие, предметы быта, пища, импортные товары). К сожалению, очень многие так называемые “царские” погребения древних цивилизаций и культур ограблены. По этой причине можно согласиться с теми исследователями, которые полагают, что такой критерий, как количество энергозатрат при возведении погребальных сооружений, как правило, коррелируется с рангом умершего, объемом его власти при жизни и может быть применим для реконструкции социальной структуры архаического общества. Предлагаемая в данной главе методика исследования предполагает необходимость проведения ряда последовательных операций: 1) выделение особенностей погребального обряда, составление списка признаков, ввод информации в компьютерную базу данных (для этих целей была использована специализированная программа STATISTICA 5.0 for WINDOWS); 2) выявление факторов, значимых для возрастного деления совокупности; 3) разделение совокупности на взрослые и детские погребения; 4) выявление факторов, значимых для полового деления массива взрослых погребений; 5) разделение совокупности на мужские и женские погребения; 6) изучение отличий в погребальном отряде в пределах однородных половозрастных групп посредством кластерного анализа; 7) выявление существенных факторов, связывающих те или иные внутригрупповые кластеры с различными категориями сопроводительного инвентаря; 8) интерпретация результатов.

Эти принципы были реализованы в двух следующих главах книги. В одиннадцатой главе “Социальная структура населения Иволгинского городища” эти принципы применены к изучению населения всемирно известного памятника хунну в Забайкалье — Иволгинского городища, расположенного около современного г. Улан-Удэ. По данным анализа жилищ городища были выделены четыре социальные группы. Эти результаты коррелируют с результатами изучения одновременного городища могильника, где были выделены четыре страты у мужчин и пять страт у женщин, а также три страты в детских погребениях.

Двенадцатая глава “Степная Бурятия в составе Хуннской империи” посвящена изучению социальной структуры хунну, проживающих около Байкала. Можно констатировать, что территория степной Бурятии представляла собой отдельную провинцию Хуннской державы. В период расцвета степной империи здесь могло кочевать примерно 12–26 тыс. кочевников. Это около 5 тыс. воинов, что соответствовало административно-территориальной единице в ранге “тумы”. Кроме номадов на данной территории проживало оседло-земледельческое население, снабжавшее их продукцией земледелия и ремесла. Анализ погребальных памятников выявил наличие социальной дифференциации среди различных половозрастных групп в разных могильниках на территории Бурятии. Самые богатые захоронения сконцентрированы в могильнике Ильмовая падь. Мужские захоронения Черемуховой пади и Дэрестуйского Култука объединяются в несколько разных групп, которые, возможно, отражают характер их деятельности при жизни. В Иволгинском могильнике выявлено четыре иерархических ранга у мужчин и пять у женщин. Среди детских захоронений можно проследить определенную дифференциацию на “богатых” и “бедных” (наиболее отчетливые отличия в Иволгинском могильнике, где выделяются 3–4 группы). Однако необходимо иметь в виду, что часть детских погребений, в том числе и не самых бедных, возможно, была связана с жертвоприношениями.

Пятая часть “Антропология власти Чингиз-хана” посвящена наиболее популярной теме последних лет — империи Чингиз-хана. В тринадцатой главе “Власть в империи Чингиз-хана с точки зрения престижной экономики” показан фундамент власти в средневековом монгольском обществе. Стабильность степных империй напрямую зависела от умения высшей власти организовывать получение шелка, продуктов земледелия, ремесленных изделий и изысканных драгоценностей от оседлых обществ. Политические связи между племенами и органами управления степной империи не были чисто автократическими. Надплеменная власть сохранялась в силу того, что, с одной стороны, членство в “имперской конфедерации” обеспечивало племенам политическую независимость от соседей и ряд других важных выгод, а, с другой стороны, правитель кочевой державы и его окружение гарантировали племенам определенную

внутреннюю автономию в рамках империи. Механизмом, соединявшим “правительство” степной империи и племена, служили институты престижной экономики. Манипулируя подарками и раздавая их соратникам и вождям племен, правитель кочевой империи увеличивал свое политическое влияние и престиж “щедрого хана”. Одновременно он связывал получивших дар “обязательством” отдаривания. Племенные вожди, получая “подарки”, могли, с одной стороны, удовлетворять личные аппетиты, а с другой — повышать свой внутрплеменной статус путем раздач даров соплеменникам или посредством организации церемониальных праздников. Кроме того, получая от правителя дар, племенной вождь как бы приобретал от него часть сверхъестественной харизмы, что дополнительно способствовало росту его собственного престижа.

Четырнадцатая глава “Монгольская империя и дискуссия о происхождении государственности у кочевников” раскрывает взгляды автора на проблему государственности у кочевников. Известно, что этот вопрос является дискуссионным, и, в частности, одни ученые полагают, что средневековое монгольское общество может быть охарактеризовано как феодальное государство, тогда как другие считают, что это предгосударственное образование. Все кочевые империи имели двойственную природу. Внешне они выглядели как мощные завоевательные государства, поскольку были созданы для эксплуатации своих соседей. Такие общества можно назвать *ксенократическими* (от греческих слов “ксено” — наружу и “кратос” — власть). Однако изнутри они являлись племенными конфедерациями, основанными на родственных связях. Власть хана держалась на его способностях организовать военные походы и справедливо перераспределять добычу. С этой точки зрения империю Чингиз-хана правильнее было бы считать не государством, а сверхсложным вождейством (англ. *chiefdom*). Настоящие государственные институты возникают при сыне Чингиз-хана Угедее, когда были завоеваны Китай и Средняя Азия. Чтобы управлять этими территориями, стала нужна бюрократия. Именно с этого времени можно говорить о становлении государственности у монголов.

В пятнадцатой главе “Чингиз-хан и доиндустриальная глобализация: мир-системная перспектива” показана роль Монгольской империи в глобальной истории средневековья. Создание империи

Чингиз-хана и монгольские завоевания в XIII в. пришлись на новый период влажности в степях Внутренней Азии и Восточной Европы, а также совпали с демографическим и экономическим подъемом во всех частях Старого Света. Монголы замкнули цепь международной торговли в единый комплекс сухопутных и морских путей. Впервые все крупные региональные ядра (Европа, исламский мир, Индия, Сунский Китай, Золотая Орда) оказались объединенными в первую мир-систему. В Степи подобно фантастическим миражам возникли гигантские города — центры политической власти, транзитной торговли, многонациональной культуры и идеологии (Каракорум, Сарай-Бату). С этого времени границы Ойкумены значительно раздвинулись, политические и экономические изменения в одних частях света стали играть гораздо большую роль в истории других регионов мира. Таким образом, монголы способствовали средневековой глобализации XIII века — первой глобализации в истории человечества. Однако эта глобализация стала в конечном счете причиной гибели средневековой мир-системы XIII—XIV вв. из-за распространившейся по всему миру чумы. Это важный урок для нас, поскольку сейчас, когда средства коммуникации позволяют связываться с другим полушарием Земли в считанные секунды, а расстояние между континентами измеряется в часах пути, этот вопрос приобрел особую актуальность. Достаточно представить, какие катастрофические последствия может иметь в современном мире распространение СПИДа, атипичной пневмонии, птичьего гриппа и других эндемических заболеваний. Мы всегда должны помнить главный урок, который следует извлечь человечеству из истории монгольской эпохи, — как хрупок наш мир и как легко он может быть разрушен нашими же руками.

Последняя, шестая часть “Этнология агинских бурят” включает главы, которые основаны на этнографических исследованиях бурят в Агинском Бурятском округе в Забайкалье. В шестнадцатой главе “Кочевое хозяйство агинских бурят во второй половине XIX — начале XX века” на основе изучения архивных источников показана история местного народа. Агинский Бурятский автономный округ расположен в Юго-Восточном Забайкалье. Название округа происходит от бурятского слова *ага*, что означает “большая равнина”. Так же называется река, которая пересекает округ линии запад — восток.

Река разбивает округ на две ландшафтные зоны: к северу левый берег — лесостепь и к югу, между Агой и Ононом, — степь. Климат в округе сухой, континентальный. Зимой снега почти не бывает, поэтому здесь можно пастись скот круглый год под открытым небом. Бурятское население известно здесь с XVII—XVIII вв. Состав стада у агинских бурят был классическим для кочевников-скотоводов евразийских степей и включал все пять основных видов, разводимых номадами животных: лошадей, овец, коз, верблюдов и крупный рогатый скот. Русская администрация сформировала здесь в 1837 г. Агинскую степную думу. Тогда здесь кочевало примерно 20 тыс. кочевников. В начале XX в. российское правительство попыталось осуществлять здесь административные реформы и перевести кочевников на оседлость. К тому времени население достигло 40 тыс. человек.

Семнадцатая глава “Трансформация бурятского скотоводства: пример Агинских степей” раскрывает структуру экономики местных кочевников и изменения за последние 150 лет. До конца XIX в. агинские буряты сохраняли традиционный кочевой образ жизни. Основным их занятием было скотоводство, отчасти охота. С последней четверти XIX в. усиливается влияние индустриальной экономики на кочевой образ жизни бурят. Это отразилось на развитии седентеризационных процессов, нескотоводческих укладов, рыночной ориентации хозяйства, сокращении смертности, распространении грамотности и т. д. В советское время бурятское скотоводческое хозяйство подверглось еще более активному вовлечению в процессы индустриализации. С 1930-х гг. началась крупномасштабная коллективизация. Скотоводов объединяли в колхозы, но при этом большинство бурят продолжали жить в юртах и пастись скот небольшими группами. В 1950-х гг. в результате селекции была выведена новая тонкорунная порода овец, что позволило переориентировать хозяйство на производство высококачественной шерсти. Общее поголовье увеличилось почти в пять раз и достигло 900 тыс. животных. В начале 1990-х гг. округ находился на грани экологического кризиса. Однако крупномасштабный экологический кризис не успел развиваться, поскольку развал СССР (1991 г.) и политика приватизации (1993–1994 гг.) привели к глубокому экономическому кризису и упадку скотоводства в округе. Поголовье

сократилось в 3–4 раза. В настоящее время кризисная ситуация затормозилась, однако значительного прогресса не наблюдается.

Наконец, последняя, восемнадцатая глава “Складывание патронажно-клиентных отношений в современном скотоводческом хозяйстве агинских бурят” посвящена изучению саунной системы в постсоветском обществе. До советского периода существовала система отдачи скота на выпас, которая интерпретировалась одними учеными как эмбриональный феодализм, а другими как первобытная форма помощи. В советской время, после коллективизации земли и скота, эти отношения исчезли. Богатые скотовладельцы были репрессированы. В постсоветский период, когда скот снова перешел в частную собственность, такие отношения появились снова. Автор обнаружил эти отношения у бурят. Однако их распространение шире — их можно найти во всех пасторальных культурах в постсоциалистических обществах Азии.

ЛИТЕРАТУРА

Абрамзон С. М. Некоторые вопросы социального строя кочевых обществ // СЭ. 1970. № 6. С. 61–73.

Абу-Луход. Переструктурируя миросистему, предшествующую новому времени // Время мира. Вып. 2. Новосибирск, 2001. С. 449–461.

Абылхожин Ж. Б. Традиционная структура Казахстана. Социально-экономические аспекты функционирования и трансформации: 1920–1930-е гг. Алма-Ата: Наука, 1991.

Авляев Г. О. Происхождение калмыцкого народа (середина IX–I четверть XVIII в.). М.-Элиста: Этнолог-Центр, 1994.

Акишев К. А. Экономика и общественный строй Южного Казахстана и Северной Киргизии в эпоху саков и усуней (V в. до н. э. – V в. н. э.). Научный доклад, представленный в качестве докт. дис. М., 1986.

Алаев Л. Б. Опыт типологии средневековых обществ Азии. Типы общественных отношений на Востоке в средние века. М., 1982. С. 6–59.

Алексин В. А. Социальная структура и погребальный обряд древнеземледельческих обществ. Л.: Наука, 1986.

Алпатов В. М. Советское востоковедение в оценках II. Поше // Mongolica-III. СПб., 1994. С. 38–46.

Андреанов Б. В., Марков Г. Е. Хозяйственно-культурные типы и способы производства // Вопросы истории. 1980. № 8. С. 3–15.

Андреанов Б. В. Неоседлое население мира. М.: Наука 1985.

Артемова О. Ю. Первобытные эгалитарные и неэгалитарные общества // Архаическое общество: Узловые проблемы социологии развития / Отв. ред. А. В. Коротаев и В. В. Чубаров. Вып. 1. М., 1991. С. 44–91.

Артемова О. Ю. Охотники собиратели и теория первобытности. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 2004.

Асалханов И. А. [Гл. 12] Развитие капиталистических отношений в деревнях и улусах Иркутской губернии и Забайкальской области // История Бурят-Монгольской АССР / Отв. ред. П. Г. Хаптаев. Т. I. Улан-Удэ, 1954. С. 295–319.

Асалханов И. А. Социально-экономическое развитие Юго-Восточной Сибири во второй половине XIX в. Улан-Удэ: Бурятское книжное изд-во, 1963.

Афанасьев Г. Е. Донские аланы: Социальные структуры алано-ассо-буртасского населения бассейна Среднего Дона. М.: Наука, 1993а.

Афанасьев Г. Е. Перекрестное сравнение методик реконструкции социальной стратификации общества // Социальная дифференциация общества (поиски археологических критериев) / Отв. ред. Г. Е. Афанасьев. М., 1993б. С. 3–12.

Бадмаев А. А. Ремесла у агинских бурят (К проблеме этнокультурных контактов). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск, 1995.

Балков М. Н. Бурятский крупный рогатый скот, его происхождение и пути улучшения. Улан-Удэ, 1962.

Барг М. А. Категория “цивилизация” как метод сравнительно-исторического исследования // История СССР. 1991. № 5. С. 70–86.

Барфинд Т. Мир кочевников скотоводов. Кочевая альтернатива социальной эволюции / Отв. ред. Н. Н. Крадин, Д. М. Бондаренко. М., 2002. С. 59–85.

Батуев Б. Б. Буряты в XVII–XVIII вв. Улан-Удэ: ОНЦ “Сибирь”, 1996.

Батуева И. Б. Традиционные формы скотоводства у бурят во второй половине XIX – начале XX века (Опыт историко-этнографического исследования). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1986.

Батуева И. Б. Буряты на рубеже XIX–XX веков. (Хозяйство бурят. Скотоводство в дореволюционный период) // Историко-этнографический очерк. Улан-Удэ, 1992.

Батуева И. Б. История развития хозяйства забайкальских бурят в XIX веке. Улан-Удэ: Издательско-полиграфический комплекс ВСГАКИ, 1999.

Бентли Дж. Образы всемирной истории в научных исследованиях XX века // Время мира. Альманах. Вып. 1. Новосибирск, 1998. С. 27–66.

Бентли Дж. Межкультурные взаимодействия и периодизация всемирной истории // Время мира. Вып. 2. Новосибирск, 2001. С. 171–203.

Березкин Ю. Е. Инки. Исторический опыт империи. Л.: Наука, 1991.

Березкин Ю. Е. Апатани и древнейший Восток: альтернативная модель сложного общества // Кунсткамера. Этнографические тетради. 1994. № 4. С. 5–19.

Берент М. Безгосударственный полис. Раннее государство и древнегреческое общество // Альтернативные пути к цивилизации / Отв. ред. Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев, Д. М. Бондаренко, В. А. Лынша. М.: Логос, 2000. С. 235–258.

Бернабей М., Бондиоли Л., Гунди А. Социальная структура кочевников савроматского времени // Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Вып. 1. Савроматская эпоха / Отв. ред. М. Г. Мошкова. М.: 1994. С. 159–184.

Бернштам А. Н. Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрок VI–VIII веков. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1946.

Бернштам А. Н. Очерк истории гуннов. Л.: Изд-во ЛГУ, 1951.

Берсенева Н. А. Погребальная обрядность населения Среднего Прииртышья в эпоху раннего железа: социальные аспекты (по материалам саргатской культуры). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2005.

Бичурин Н. Я. История первых четырех ханов из Дома Чингисова. СПб., 1829.

Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. II. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 19506. [1851].

Бишони Р. Погребальный обряд как источник для исторической реконструкции // Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Вып. 1. Савроматская эпоха / Отв. ред. М. Г. Мошкова. М., 1994. С. 153–157.

БНМАУ-ын туух [История МНР]: Бугд Найрамдах Монгол Ард Улсын Туух. Боть 1. Нэн эртнээс XVII зуун / Тэргүүн редактор Ш. Нацагдорж. Улаанбаатар: Улсын Хэвлэлийн Хэрэг Эрхлэх Хорос, 1966.

Бобровиков В. П., Бобровиков И. П. STATISTICA – Статистический анализ и обработка данных в среде WINDOWS. М.: Филинь, 1997.

Бойко Ю. Н. Социальный состав населения бассейна р. Ворсклы в скифское время (VII–III вв. до н. э.). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1986.

Бокшанин А. А. Очерк истории государственных институтов в Китайской империи // Феномен восточного деспотизма / Отв. ред. Н. А. Иванов. М., 1993. С. 273–333.

Бондаренко Д. М. Многолинейность социальной эволюции и альтернативы государству // Восток. 1998. № 1. С. 195–202.

Бондаренко Д. М., Коротаев А. В. Политогенез. “гомологические ряды” и нелинейные модели социальной эволюции (к кросс-культурному тестированию некоторых политантропологических гипотез) // Общественные науки и современность. 1999. № 5. С. 128–138.

Бондаренко Д. М., Коротаев А. В., Крадин Н. Н. Введение: социальная эволюция, альтернативы, номадизм // Кочевая альтернатива социальной эволюции / Отв. ред. Н. Н. Крадин и Д. М. Бондаренко. М., 2002. С. 9–36.

Бонитировка бурятских овец номадного содержания / Отв. ред. С. Б. Помишин, Н. В. Стариков, В. А. Тайшин, Б. Б. Лхасаранов. Улан-Удэ, 1995.

Боровкова Л. А. Восстание “красных войск” в Китае. М.: Наука, 1971.

Бунятян Е. П. Рядовое население степной Скифии IV–III вв. до н. э. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Киев, 1981.

Бунятян Е. П. Методика социальной реконструкции по данным рядовых скифских могильников // Теория и методы архео-

логических исследований / Отв. ред. В. Ф. Генинг. Киев, 1982. С. 136–84.

Бунятян Е. П. Методика социальных реконструкций в археологии (на материале скифских могильников IV–III вв. до н. э.). Киев: Наукова думка, 1985.

Бунятян Е. П. О формах собственности у кочевников // Археология и методы исторических реконструкций / Отв. ред. В. Ф. Генинг. Киев, 1985а. С. 21–43.

Бурдые П. Социология социального пространства. М.-СПб.: Алетейя, 2005.

Буровский А. М. Степная скотоводческая цивилизация: критерии описания, анализа и сопоставления // Цивилизации. Вып. 3. М., 1995. С. 151–164.

Вайнштейн С. И. Историческая этнография тувинцев // Проблемы кочевого хозяйства. М.: Наука, 1972.

Вайнштейн С. И. Мир кочевников центра Азии. М.: Наука, 1991.

Валлерстайн И. Миросистемный анализ // Время мира. Альманах. Вып. 1. Историческая макросоциология в XX в. Новосибирск, 1998. С. 105–123.

Васильев Л. С. Проблемы генезиса Китайского государства. М.: Наука, 1983.

Васильев Л. С. История Востока. Т. 1–2. М.: Высшая школа, 1993.

Васильев Л. С. Возникновение и эволюция частной собственности на Востоке // Частная собственность на Востоке / Отв. ред. Л. С. Васильев. М., 1998. С. 23–63.

Васильев Д. Д., Горелик М. В., Кляшторный С. Г. Формирование имперских культур в государствах, созданных кочевниками. М., 1993.

Васютин С. А. Социальная организация кочевников Евразии в отечественной археологии. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Барнаул, 1998.

Васютин С. А. Типология потестарных и политарных систем кочевников // Кочевая альтернатива социальной эволюции / Отв. ред. Н. Н. Крадин и Д. М. Бондаренко. М., 2002. С. 86–98.

Вернадский Г. В. Монголы и Русь. Тверь-М.: ЛЕАН, АГРАФ, 1997.

Викторин В. М. Потестарно-политические и правовые отношения у кочевых народов (взаимосвязь внутренних и внешних факторов) // Философские проблемы государства и права. Саратов, 1988. С. 123–135.

Владимирцов Б. Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. Л.: Изд-во АН СССР, 1934.

Войтов В. Е. Могильники Каракорума (по материалам работ 1976–1981 гг.) // Археологические, этнографические и антропологические исследования в Монголии. Новосибирск, 1990. С. 132–149.

Волков С. В. Чиновничество и аристократия в ранней истории Кореи. М.: Наука, 1987.

Волков С. В. Служилые слои на традиционном Дальнем Востоке. М.: Восточная литература РАН, 1999.

Волков Ю. Г., Мостовая И. В. Социология. М.: Гардарики, 1998.

Воробьев М. В. Маньчжурия и Восточная Внутренняя Монголия (с древнейших времен до IX в. включительно). Владивосток: Дальнаука, 1994.

Воробьев М. В. Чжурчжэни и государство Цзинь (X в. – 1234 г.). М.: Наука, 1975.

Гаврилюк Н. А. Домашнее производство и быт степных скифов. Киев: Наукова думка, 1989.

Гаврилюк Н. А. История экономики Степной Скифии. VI–III вв. до н. э. Киев: Изд-во ИА НАНУ, 1999.

Гаврилюк Н. А. Степная Скифия VI–IV вв. до н.э. (эколого-экономический аспект). Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. СПб., 2000.

Гарутт В. Е., Юрьев К. Б. Палеофауна Иволгинского городища по данным археологических раскопок 1949–1959 гг. // Археологический сборник. Вып. 1. Улан-Удэ, 1959. С. 80–82.

Гей А. Н. Проблема социальной дифференциации и эволюции общества степных скотоводов бронзового века (на примере новотиторовской и катакомбной культур степного Прикубанья) // Социальная дифференциация общества (поиск археологических критериев) / Отв. ред. Г. Е. Афанасьев. М., 1993. С. 42–77.

Гскеньян Х. Западные сообщения по истории Золотой Орды и Поволжья 1223–1556 // Источниковедение истории Улуса Джучи

чи (Золотой Орды). От Калки до Астрахани. 1223–1556 / Отв. ред. М. А. Усманов. Казань, 2002. С. 82–110.

Генинг В. Ф. Проблема социальной структуры общества кочевых скифов IV–III вв. до н. э. по археологическим данным // Фридрих Энгельс и проблемы истории древних обществ (К столетию выхода работы Фридриха Энгельса “Происхождение семьи, частной собственности и государства”) / Отв. ред. В. Ф. Генинг. Киев, 1984. С. 215–234.

Генинг В. Ф., Борзунов В. А. Методика статистической характеристики и сравнительного анализа погребального обряда // Вопросы археологии Урала. Вып. 13. Свердловск, 1975. С. 42–72.

Генинг В. Ф., Бунятян Е. П., Пустовалов С. Ж., Рычков Н. А. Формализованно-статистические методы в археологии (анализ погребальных памятников). Киев: Наукова думка, 1990.

Геродот. История. Л.: Наука, 1972.

Годинер Э. С. Политическая антропология о происхождении государства // Этнологическая наука за рубежом: проблемы, поиски, решения / Отв. ред. С. Я. Козлов, П. И. Пучков. М., 1991. С. 51–78.

Голден П. Государство и государственность у хазар: власть хазарских каганов // Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти / Отв. ред. Н. А. Иванов. М., 1993. С. 211–233.

Гохман И. И. Антропологическая характеристика черепов из Иволгинского городища // Труды Бур. КНИИ СО АН СССР. Вып. 3. 1960. С. 166–173.

Грач А. Д. Принципы и методика историко-археологической реконструкции форм социального строя (по курганным материалам скифского времени Казахстана, Сибири и Центральной Азии) // Социальная история народов Азии / Отв. ред. А. М. Решетов и Ч. М. Таксами. М., 1975. С. 158–182.

Грач А. Д. Древние кочевники в центре Азии. М.: Наука, 1980.

Грачева Г. Н. Отражение хозяйственного и общественного укладов в погребениях народностей Северо-Западной Сибири // Социальная история народов Азии / Отв. ред. А. М. Решетов и Ч. М. Таксами. М., 1975. С. 126–142.

Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950.

Григорев М. П. Оро-гидроогический очерк Агинской степи // Труды Агинской экспедиции. Вып. 1. Иркутск, 1913а.

Григорев М. П. Климат // Труды Агинской экспедиции. Вып. 2. Иркутск, 1913б.

Грин В. Периодизация в европейской и мировой истории // Время мира. Альманах. Вып. 2. Новосибирск, 2001. С. 39–79.

Гуляев В. И. Проблемы интерпретации погребального обряда в археологии // Краткие сообщения Института археологии АН СССР. 1990. Вып. 201. С. 103–109.

Гумилев Л. Н. Хунну. М.: ИВЛ, 1960.

Гумилев Л. Н. Древние тюрки: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Л., 1961.

Гумилев Л. Н. Древние тюрки. М.: Наука, 1967.

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера земли. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989.

Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии. М.: Прогресс, 1993.

Давыдова А. В. К вопросу о роли оседлых поселений в кочевом обществе сиюнну // Краткие сообщения Института археологии. М., 1978. № 154. С. 55–59.

Давыдова А. В. Об общественном строе хунну // Первобытная археология Сибири / Отв. ред. А. Н. Манделъштам. Л., 1975. С. 141–145.

Давыдова А. В. О социальной характеристике населения Забайкалья по данным Иволгинского могильника // СА. 1982. № 1. С. 132–42.

Давыдова А. В. Иволгинский комплекс (городище и могильник) — памятник хунну в Забайкалье. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985.

Давыдова А. В. Иволгинский археологический комплекс. Т. I. Иволгинское городище. СПб.: Центр “Петербургское востоковедение” (Археологические памятники сиюнну), 1995. Вып. 1.

Давыдова А. В. Иволгинский археологический комплекс. Т. II. Иволгинский могильник. СПб.: Центр “Петербургское востоковедение” (Археологические памятники сиюнну), 1996. Вып. 2.

Далай Ч. Монголия в XIII–XIV веках. М.: Наука, 1983.

Данилевский Н. И. Россия и Европа. СПб.: Изд-во товарищества “Общественная польза”, 1871.

Данилов С. В. Жертвоприношения животных в ритуалах древних племен Забайкалья как источник по истории религиозных верований скотоводческих народов. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Кемерово, 1988.

Данилов С. В. Раскопки здания на хуннском городище Баян-Ундэр в Джидинском районе Республики Бурятия // Археология и этнология Дальнего Востока и Центральной Азии / Отв. ред. Н. Н. Крадин. Владивосток, 1998. С. 111–114.

Даньшин А. В. Государство и право киданей. Дис. ... канд. юр. наук. Л., 1985.

Дигар Ж.-П. Отношения между кочевниками и оседлыми племенами на Среднем Востоке // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций / Отв. ред. В. М. Массон. Алма-Ата, 1989. С. 33–54.

Динесман Л. Г., Болд Г. История выпаса скота и развития пастбищной дегрессии в степях Монголии // Историческая экология диких и домашних копытных: история пастбищных экосистем / Отв. ред. Л. Г. Динесман. М., 1992. С. 172–216.

Динесман Л. Г., Киселева Н. К., Князев А. В. История степных экосистем Монгольской Народной Республики. М.: Наука, 1989. С. 214.

Добролюбский А. О. О реконструкции социальной структуры общества кочевников средневековья по данным погребального обряда // Археологические исследования Северо-Западного Причерноморья. Киев, 1978. С. 107–119.

Добролюбский А. О. О принципах социологической реконструкции по данным погребального обряда // Теория и методы археологических исследований. Киев, 1982. С. 54–68.

Доде Э. В. Символы легитимации принадлежности к империи в костюме кочевников Золотой Орды // Восток. 2005. № 4. С. 25–35.

Дольник В. Естественная история власти // Знание – сила. 1994аб. № 10. С. 12–21; № 11. С. 36–45.

Доржсурэн Ц. Үмард хунну [Северные хунну]. Улаанбаатор, 1961.

Дулов В. И. Социально-экономическая история Тувы (XIX – начало XX в.). М.: Изд-во АН СССР, 1956.

Думан Л. И. К истории государств Тоба Вэй и Ляо и их связей с Китаем // Ученые записки Института востоковедения. Т. IX. М., 1955. С. 3–36.

Е Лун ли. История государства киданей (Цидань го чжи) / Пер. В. С. Таскина. М.: Наука, 1979.

Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды. М.: Наука, 1985.

Железняков А. С. Монголия в классических и современных схемах мировой цивилизации // Проблемы истории и культуры кочевых цивилизаций Центральной Азии. Материалы международной конференции. Т. IV. Улан-Удэ, 2000. С. 100–123.

Железчиков Б. Ф. Вероятная численность савромато-сарматов Южного Приуралья и Заволжья в VI в. до н. э. – I в. н. э. по демографическим и экологическим данным // Древности Евразии в скифо-сарматское время / Отв. ред. А. И. Мелюкова и др. М., 1984. С. 65–68.

Жоужань цзыляо цзылу [Свод сведений по истории жуужаней]. Пекин, 1965.

Жуковская Н. Л. Категории и символика традиционной культуры монголов. М.: Наука, 1988.

Завадский-Краснопольский А. К. Русское царство. Приаральский край. СПб., 1874.

Задыхина К. Л. Пережитки возрастных классов у народов Средней Азии. Родовое общество // Труды Института этнографии. Нов. сер. Т. XIV. М., 1951. С. 157–179.

Залкинд Е. М. Присоединение Бурятии к России. Улан-Удэ, 1958.

Зиманов С. З. Общественный строй казахов первой половины XIX в. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1958.

Златкин И. Я. Основные закономерности развития феодализма у скотоводческих народов // Типы общественных отношений на Востоке в средние века / Отв. ред. Л. Б. Алаев. М., 1982. С. 255–268.

История Бурят-Монгольской АССР / Отв. ред. П. Г. Хаптаев. Т. I. Улан-Удэ, 1954.

Ивакин Г. Ю. Историческое развитие Южной Руси и Батыево нашествие // Русь в XIII в. Древности тёмного времени / Отв. ред. Н. А. Макаров, А. В. Чернецов. М., 2003. С. 59–65.

Иванов И. В., Васильев И. Б. Человек, природа и почвы Рын-песков Волго-Уральского междуречья в голоцене. М.: Интеллект, 1995.

Иванов М. С. Племена Фарса. Кашкайские, хасе, кухгилуйе, мамасани // Труды Института этнографии. Нов. сер. Т. LXIII. М., 1961.

Ивлиев А. Л. Городища киданей // Материалы по древней и средневековой археологии юга Дальнего Востока СССР и смежных территорий. Владивосток, 1983. С. 120–133.

Илющечкин В. П. Сословно-классовое общество в истории Китая. М.: Наука, 1986.

Иметхенов А. Б. Эволюция природной среды бассейна озера Байкал. Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук. Иркутск, 1993.

Иметхенов А. Б. Природа переходной зоны на примере Байкальского региона. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1997.

Ионов И. Н. Теория цивилизаций и эволюция научного знания // Общественные науки и современность, 1997. № 6. С. 118–135.

Ионов И. Н. Глобальная история: основные направления и существенные особенности // Цивилизации. Вып. 5. М., 2002. С. 83–117.

Ионов И. Н., Хачатурян В. М. Теория цивилизаций от античности до конца XIX века. СПб.: Алетейя, 2002.

История Монгольской Народной Республики. 2-е изд. М.: Наука, 1967.

История Монгольской Народной Республики. 3-е изд. М.: Наука, 1983.

Кадиева Е. К. Керамика из усадьбы г. Владимира конца XII–XIII века (по материалам раскопок 1993–1998 гг. в квартале 22) // Русь в XIII в. Древности тёмного времени / Отв. ред. Н. А. Макаров, А. В. Чернецов. М., 2003. С. 315–339.

Казакевич В. Проблемы истории Монголии и Южной Сибири в новом освещении [Рец. на:] Козьмин Н. Н. “К вопросу о турецко-монгольском феодализме” // СЭ. 1934. № 5.

Калиновская К. П. Возрастные группы народов Восточной Африки. М.: Наука, 1976.

Калиновская К. П. Скотоводы Восточной Африки в XIX–XX вв. М.: Наука, 1989.

Калиновская К. П. Рец. на: Н. Н. Крадин “Кочевые общества”. Владивосток, 1992 // Этнографическое обозрение. 1994. № 4. С. 151–155.

Калиновская К. П. О кочевничестве в связи с книгой В. В. Матвеева “Средневековая Северная Африка” // Восток. 1996. № 4. С. 153–158.

Калиновская К. П., Марков Г. Е. Скотоводы Азии и Африки. Проблемы исторической типологии // Вестник МГУ. Сер. история. 1985. № 5. С. 59–72.

Калиновская К. П., Марков Г. Е. Общественное разделение труда у скотоводческих народов Азии и Африки // Вестник МГУ. Сер. история. 1987. № 6. С. 56–69.

Качановский Ю. В. Рабовладение, феодализм или азиатский способ производства? М.: Наука, 1971.

Киселев С. В. Древние города Монголии // СА. 1957. № 2. С. 91–101.

Киселев С. В. (отв. ред.). Древнемонгольские города. М.: Наука, 1965.

Кислый А. Е. К вопросу о половозрастной дифференциации в среде срубных племен // Археология и методы исторических реконструкций / Отв. ред. В. Ф. Генинг. Киев, 1985. С. 169–177.

Классен Х. Дж. М. Проблемы, парадоксы и перспективы неозволюционизма // Альтернативные пути к цивилизации / Отв. ред. Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев, Д. М. Бондаренко и В. А. Лынша. М., 2000. С. 6–23.

Клейн Л. С. Феномен советской археологии. СПб.: Фанн, 1993.

Кляшторный С. Г. Рабы и рабыни в древнетюркской общине (по материалам рунической письменности Монголии) // Древние культуры Монголии / Отв. ред. Р. С. Васильевский. Новосибирск, 1985. С. 1591–68.

Кляшторный С. Г., Савинов Д. Г. Степные империи Евразии. СПб.: Фанн, 1994.

Кляшторный С. Г., Султанов Т. И. Государства и народы евразийских степей. Древность и средневековье. СПб.: Петербургское востоковедение, 2000.

Книга Марко Поло / Пер. И. П. Минаева. М., 1956.

Кобищанов Ю. М. Полудье: явление отечественной и всемирной истории. М.: РОССПЭН, 1995.

Коган Л. С. Проблемы социально-экономического строя кочевых обществ в историко-экономической литературе (на примере дореволюционного Казахстана). Автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 1981.

Козьмин Н. Н. К вопросу о турецко-монгольском феодализме. М.-Иркутск: ОГИЗ, 1934.

Козьмин Н. Н. Предисловие. К. Д'Оссон // История монголов от Чингиз-хана до Тамерлана. Т. I. Иркутск, 1937.

Колесников А. Г. Некоторые вопросы половозрастной стратификации позднетрипольского населения Среднего Поднепровья // Археология и методы исторических реконструкций / Отв. ред. В. Ф. Генинг. Киев, 1985. С. 152–168.

Коллинз Р. Золотой век макроисторической социологии // Время мира. Вып. 1. Новосибирск, 1998. С. 72–89.

Коллинз Р. Геополитические и экономические миросистемы, основанные на родстве аграрно-принудительных обществ // Время мира. Вып. 2. Новосибирск, 2001. С. 462–476.

Коновалов П. Б. Хунну в Забайкалье (погребальные памятники). Улан-Удэ: Бурятское кн. изд-во, 1976.

Коновалов П. Б. Некоторые итоги и задачи изучения хунну // Древние культуры Монголии / Отв. ред. Р. С. Васильевский. Новосибирск, 1985. С. 41–50.

Коновалов П. Б. О происхождении и ранней истории Хунну // Международная конференция "100 лет гуннской археологии. Номадизм — прошлое, настоящее в глобальном контексте и исторической перспективе. Гуннский феномен. Тез. докл. Ч. I. Улан-Удэ, 1996. С. 58–63.

Коренько В. А. Степное население юго-востока Европы в эпоху перехода от бронзы к железу (по материалам погребений). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1979.

Коротаев А. В. Некоторые экономические предпосылки классовообразования и политогенеза // Архаическое общество: Узловые проблемы социологии развития / Отв. ред. А. В. Коротаев и В. В. Чубаров. Ч. 1. М., 1991. С. 136–191.

Коротаев А. В. Апология трайбализма: Племя как форма социально-политической организации сложных непервобытных обществ // Социологический журнал. 1995б. № 4. С. 68–86.

Коротаев А. В. От вожества к племени? Некоторые тенденции эволюции политических систем Северо-Восточного Йемена за последние две тысячи лет // Этнографическое обозрение. 1996. №2. С. 81–91.

Коротаев А. В. Сабейские этюды. Некоторые общие тенденции и факторы эволюции сабейской цивилизации. М.: Восточная литература РАН, 1997.

Коротаев А. В. Вожества и племена страны Хашид и Бакил. М.: ИВ РАН, 1998.

Коротаев А. В. Тенденции социальной эволюции // Общественные науки и современность. 1999. № 4. С. 112–125.

Коротаев А. В. Социальная эволюция. М.: Восточная литература, 2003.

Коротаев А. В., Крадин Н. Н., Лынша В. А. Альтернативы социальной эволюции (вводные замечания) // Альтернативные пути к цивилизации / Отв. ред. Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев и др. М., 2000. С. 24–83.

Коротаев А. В., Малков А. С., Халтурина Д. А. Законы истории. Математическое моделирование исторических макропроцессов. Демография, экономика, войны. М.: Комкнига, 2005.

Косарев М. Ф. Древняя история Западной Сибири: Человек и природная среда. М.: Наука, 1991.

Крадин Н. Н. Социально-экономические отношения у кочевников в советской исторической литературе. Деп. в ИНИОН АН СССР. 1987. № 29892.

Крадин Н. Н. Социально-экономические отношения у кочевников (Современное состояние проблемы и ее роль в изучении средневекового Дальнего Востока). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Владивосток, 1990.

Крадин Н. Н. Кочевые общества. Владивосток: Дальнаука, 1992.

Крадин Н. Н. Некоторые проблемы этносоциальной истории древних ухуаней // Проблемы этнокультурной истории Дальнего Востока и сопредельных территорий / Отв. ред. Б. С. Сапунов. Благовещенск, 1993. С. 33–41.

Крадин Н. Н. Социальный строй Сяньбийской державы // Медиевистские исследования на Дальнем Востоке России / Отв. ред. Э. В. Шавкунов. Владивосток: Дальнаука, 1994. С. 22–36.

Крадин Н. Н. Вождество: современное состояние и проблемы изучения // Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности / Отв. ред. В. А. Попов. М., 1995. С. 11–61.

Крадин Н. Н. Империя Хунну. Владивосток: Дальнаука, 1996.

Крадин Н. Н. Империя Хунну (структура общества и власти). Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. СПб., 1999.

Крадин Н. Н. Кочевое хозяйство агинских бурят во второй половине XIX — начале XX века // *Studia ethnologica Instituti Historiae Academiae Scientiarum Mongoli*. XII (11), 2000. С. 213–244.

Крадин Н. Н. Кочевничество в современных теориях исторического процесса // *Время мира. Альманах. Вып. 2. Структуры истории*. Новосибирск, 2001. С. 369–396.

Крадин Н. Н. Империя Хунну. 2-е изд. М.: Логос, 2002.

Крадин Н. Н. Новые интерпретации исторического процесса // *Вестник ДВО РАН*. 2003. № 4. С. 72–81.

Крадин Н. Н. Политическая антропология. 2-е изд. М.: Логос, 2004.

Крадин Н. Н. Археологические признаки цивилизации // *Раннее государство, его альтернативы и аналоги* / Отв. ред. Л. Е. Гришин и др. Волгоград, 2006. С. 184–208.

Крадин Н. Н., Бондаренко Д. М. (ред.). Кочевая альтернатива социальной эволюции. М., 2002.

Крадин Н. Н., Данилов С. В., Коновалов П. Б. Социальная структура хунну Забайкалья. Владивосток: Дальнаука, 2004.

Крамаровский М. Г. Золото Чингисидов: культурное наследие Золотой Орды. СПб.: Слава, 2001.

Краткие отчеты экспедиции по исследованию Северной Монголии в связи с Монгольско-Тибетской экспедицией П. К. Козлова. Л., 1925.

Крупник И. И. Арктическая этноэкология. М.: Наука, 1989.

Крюков М. В., Переломов Л. С., Софронов М. В., Чебоксаров Н. Н. Древние китайцы в эпоху централизованных империй. М.: Наука, 1983.

Крюков Н. А. Восточное Забайкалье в сельскохозяйственном отношении. СПб., 1895.

Крюков Н. А. Западное Забайкалье в сельскохозяйственном отношении. СПб., 1896.

Куббель Л. Е. Сонгайская держава. М.: Наука, 1974.

Куббель Л. Е. Очерки потестарно-политической этнографии. М.: Наука, 1988.

Кудрявцев Ф. А. Экономическое развитие Бурят-Монголии в период разложения феодального строя и роста капиталистических отношений в России // *История Бурят-Монгольской АССР* / Отв. ред. П. Т. Хаптаев. Т. I. Улан-Удэ, 1954. С. 173–205.

Кузьмин Ю. В. Вопросы монголоведения в исследованиях профессора Н. Н. Козьмина // VI Арсеньевские чтения. Тез. докл. Уссурийск, 1992.

Кульпин Э. С. Человек и природа в Китае. М.: Наука, 1990.

Кульпин Э. С. Золотая Орда (проблемы генезиса российского государства). М.: Московский лицей, 1998.

Кульпин Э. С. Цивилизация Золотой Орды // *Монгольская империя и кочевой мир*. Улан-Удэ, 2004. С. 167–186.

Курочкин Г. Н. Гипотетическая реконструкция погребального обряда скифских царей VIII–VII вв. до н. э. и курган Аржан // *Скифо-сибирское культурно-историческое единство* / Отв. ред. А. И. Мартынов. Кемерово, 1980. С. 105–118.

Кшибеков Д. И. Кочевое общество: генезис, расцвет, упадок. Алма-Ата: Наука, 1984.

Кычанов Е. И. Собственность на людей в киданьском государстве Ляо (916–1124 гг.) // *Рабство на Востоке в средние века* / Отв. ред. О. Г. Большаков, Е. И. Кычанов. М., 1986. С. 185–192.

Кычанов Е. И. Государство жуаньжуаней // *Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока*. Ч. I. М., 1987. С. 109–115.

Кычанов Е. И. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М.: Восточная литература, 1997.

Кычанов Е. И. Сведения из "Истории династии Юань" (Юань ши) о Золотой Орде // *Источниковедение истории Улуса Джучи*

(Золотой Орды). От Калки до Астрахани. 1223–1556 / Отв. ред. М. А. Усманов. Казань, 2002. С. 30–42

Лашук Л. П. О характере классовобразования в обществах ранних кочевников // Вопросы истории. 1967. № 7. С. 105–121.

Лидай гэцзу чжуаньцзи хуйбянь [Собрание сведений о народах различных исторических эпох] / Сост. Цзянь Боцзань и др. Т. I. Пекин, 1958.

Линховоин Л. Заметки о дореволюционном быте агинских бурят. Улан-Удэ, 1972.

Лот А. Туареги Ахагара. М.: Наука, 1989.

Лубо-Лесниченко Е. И. Китай на Шелковом пути. М.: Восточная литература, 1994.

Лубсан Данзан. Алтан Тобчи (“Золотое сказание”) / Пер. Н. П. Шастиной. М.: Наука, 1973.

Ма Жэньнань. Гуаньюй сюнну нули чжиды жогань вэньти [Некоторые вопросы о рабовладельческом строе у сюнну] // Чжунго ши яньцзю. 1983. № 3.

Ма Чаншоу. Лунь сюнну булу гоцзяди нуличжи [Относительно рабовладельческой системы хуннского племенного государства] // Лиши Яньцзю. 1954. № 5.

Ма Чаншоу. Бэй ди юй сюнну [Северные ди и хунну]. Пекин. 1962.

Майский И. М. Современная Монголия. Иркутск, 1921.

Макаров Н. А. Русь в XIII в.: Характер культурных изменений // Русь в XIII в. Древности тёмного времени / Отв. ред. Н. А. Макаров, А. В. Чернецов. М., 2003. С. 5–11.

Мак-Нил У. Восхождение Запада: История человеческого сообщества. Киев – Москва: Ника-центр; Старклайт, 2004.

Максимов А. А. Природные циклы: Причины повторяемости экологических процессов. Л.: Наука, 1989.

Макфедьен Э. Экология животных. М., 1965.

Малков А. С. Динамические модели исторических процессов аграрных обществ. Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук. М., 2005.

Мандельштам А. Н. Характеристика тюрков IX в. в “Послании Фахту ибн Хакану” ал Джахиза // Труды Института истории и этнографии АН КазССР. Т. I. Алма-Ата, 1956.

Маннай-Оол М. Х. Тува в эпоху феодализма. Кызыл, 1986.

Марков Г. Е. Кочевники Азии (Хозяйственная и общественная структура скотоводческих народов Азии в эпохи возникновения, расцвета и заката кочевничества). Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. М., 1967.

Марков Г. Е. Некоторые проблемы общественной организации кочевников Азии. СЭ. 1970. № 6. С. 74–89.

Марков Г. Е. Кочевники Азии. М.: Изд-во МГУ, 1976.

Марков Г. Е. Теоретические проблемы номадизма в советской этнографической литературе // Историография этнографического изучения народов СССР и зарубежных стран / Отв. ред. Г. Е. Марков. М., 1989. С. 54–75.

Марков Г. Е. Из истории изучения номадизма в отечественной литературе: вопросы теории // Восток. 1998. № 6. С. 110–123.

Мартынов А. И. О степной скотоводческой цивилизации I тыс. до н. э. Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций / Отв. ред. В. М. Массон. Алма-Ата, 1989. С. 284–292.

Мартынов А. И. Модель цивилизационного развития в степной Евразии // Социально-демографические процессы на территории Сибири (древность и средневековье). Кемерово, 2003. С. 7–15.

Масанов Н. Э. Проблемы социально-экономической истории Казахстана на рубеже XVIII–XIX вв. Алма-Ата: Наука, 1984.

Масанов Н. Э. Типология скотоводческого хозяйства кочевников Евразии // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций / Отв. ред. В. М. Массон. Алма-Ата, 1989. С. 55–81.

Масанов Н. Э. Специфика общественного развития кочевников-казахов в дореволюционный период: историко-экологические аспекты номадизма. Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. М., 1991.

Масанов Н. Э. Кочевая цивилизация казахов (основы жизнедеятельности номадного общества). Алматы: Социнвест; М.: Горизонт, 1995.

Масао Мори. Чугоку кодай ни океру юбоку кокка то ноко кокка [Кочевые государства и земледельческие государства в древнем Китае] // Рекишигаку кенкю. Т. 147. Токио, 1950.

Массон В. М. Экономика и социальный строй древних обществ (в свете данных археологии). Л.: Наука, 1976.

- Массон В. М. Первые цивилизации. Л.: Наука, 1989.
- Матвеев В. В. Средневековая Северная Африка (Развитие феодальных отношений в VII–IX вв.). М.: Наука, 1993.
- Матвеева Н. П. Социально-экономические структуры населения Западной Сибири в раннем железном веке (лесостепная и подтаежная зоны). Новосибирск: Наука, 2000.
- Материалы по истории сюнну (по китайским источникам). Вып. 1 / Введ., перевод и коммент. В. С. Таскина. М.: Наука, 1968.
- Материалы по истории сюнну (по китайским источникам). Вып. 2 / Введ., перевод и коммент. В. С. Таскина. М.: Наука, 1973.
- Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху. Введ., перевод и коммент. В. С. Таскина. М.: Наука, 1984.
- Медведев А. П. Ранний железный век лесостепного Подонья. Археология и этнокультурная история I тысячелетия до н. э. М.: Наука, 1999.
- Медведев А. П. Исследования по археологии и истории лесостепной Скифии. Воронеж: Истоки, 2004.
- Мелко М. Природа цивилизаций // Время мира. Альманах. Вып. 2 Структуры истории. Новосибирск, 2001. С. 306–327.
- Мертон Р. К. Социальная теория и социальная структура // Социологические исследования. 1992. № 2. С. 118–24.
- Меховский М. Трактат о двух Сарматиях. М.-Л., 1936.
- Миняев С. С. “Социальная планиграфия” погребальных памятников сюнну // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения). Тез. докл. Ч. 1. Кемерово, 1989. С. 114–117.
- Миняев С. С. Дырестуйский могильник // Археологические памятники сюнну. Вып. 3. СПб.: Азиатика, 1998.
- Материалы высочайше утвержденной под председательством статс-секретаря Куломзина комиссии для исследования землевладения и землепользования в Забайкальской области. Вып. 13. СПб., 1998.
- Мосс М. Общества. Обмен. Личность // Труды по социальной антропологии. М.: Восточная литература, 1996.

- Мошкова М. Г. (отв. ред.). Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Вып. 1. Савроматская эпоха. М., 1994.
- Мошкова М. Г. (отв. ред.). Статистическая обработка погребальных погребальных памятников Азиатской Сарматии. Вып. 2. Раннесарматская культура (IV–I вв. до н. э.). М., 1997.
- Мункуев Н. Ц. Китайский источник о первых монгольских ханах. Надгробная надпись на могиле Елюй Чу-цая. М.: Наука, 1965.
- Мункуев Н. Ц. Комментарии. Мэн-да бэй-лу (полное описание монголо-татар). М., 1975. С. 89–199.
- Мурзаев Э. М. Монгольская Народная Республика. Физико-географическое описание. 2-е изд. М.: Гос. изд-во географич. лит-ры, 1952.
- Мэн-да бэй-лу (полное описание монголо-татар) / Пер. Н. Ц. Мункуева. М.: Наука, 1975.
- Нагель Т. Тимур-завоеватель и исламский мир позднего средневековья. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.
- Нацагдорж Ш. Основные черты феодализма у кочевых народов. Улан-Батор, 1975.
- Неусыхин А. И. Дофеодальный период как переходная стадия развития от родоплеменного строя к феодальному (на материале истории Западной Европы раннего средневековья) // Проблемы истории докапиталистических обществ / Отв. ред. Л. В. Данилова. М., 1968. С. 596–617.
- Нефедов С. А. Метод демографических циклов в изучении социально-экономической истории допромышленного общества. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 1999.
- Нефедов С. А. Теория демографических циклов и социальная эволюция древних и средневековых обществ Востока // Восток. 2003. № 3. С. 5–22.
- Нибур Г. Рабство как система хозяйства. Этнологическое исследование. М., 1907.
- Павленко Ю. В. Раннеклассовые общества (генезис и пути развития). Киев: Наукова думка, 1989.
- Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. Київ: Либідь, 1996.

Павленко Ю. В. Альтернативные подходы к осмыслению истории и проблема их синтеза // *Философия и общество*. 1997. № 3. С. 24–39.

Павленко Ю. В. История мировой цивилизации. Философский анализ. Киев: Феникс, 2002.

Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект-Пресс, 1998.

Певцов М. В. Путешествия по Китаю и Монголии. М.: Географиздат, 1951.

Першиц А. И. К вопросу о саунных отношениях // *Основные вопросы африканистики*. М., 1973. С. 104–110.

Першиц А. И. Некоторые особенности классовообразования и раннеклассовых отношений у кочевников-скотоводов // *Становление классов и государства* / Отв. ред. А. И. Першиц. М., 1976. С. 280–313.

Першиц А. И. Война и мир на пороге цивилизации. Кочевые скотоводы // *Война и мир в ранней истории человечества*. М., 1994. С. 129–244.

Петров К. И. Очерки социально-экономической истории Киргизии. VI – начало XIII вв. Фрунзе: Ылым, 1981.

Пиков Г. Г. Рабство в империи киданей // *Социальные группы традиционных обществ Востока*. Ч. 1. М., 1985. С. 31–41.

Плано Карпини Дж. История Монгалов. Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука / Отв. ред. Н. П. Шастина. М., 1957. С. 23–83.

Плетнева С. А. Кочевники средневековья. М.: Наука, 1982.

Плюснин Ю. М. Проблемы биосоциальной эволюции. Новосибирск: Наука, 1990.

Покотиллов Д. И. История восточных монголов в период династии Мин. 1368–1634 (по китайским источникам). СПб., 1893.

Покровский М. Н. О русском феодализме, происхождении и характере абсолютизма в России // *Борьба классов*. 1931. № 2.

Полосьмак Н. В. Пазырыкская культура: реконструкция мировоззренческих и мифологических представлений. Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Новосибирск, 1997.

Полубояринова М. Д. Русские люди в Золотой Орде. М.: Наука, 1978.

Полянский Ф. Я. Типология феодализма. Деп. ИНИОН АН СССР. № 11493. 1982.

Пономарев А. Л. Деньги Золотой Орды и Трапезундской империи (квантитативная нумизматика и процессы средневековой экономики). М.: Изд-во МГУ, 2002.

Попов А. В. Теория “кочевого феодализма” академика Б. Я. Владимирцова и современная дискуссия об общественном строе кочевников // *Mongolica*. Памяти академика Б. Я. Владимирцова. 1884–1931. М., 1986. С. 183–193.

Попов В. А. Половозрастная стратификация и возрастные классы древнеаканского общества: (к постановке проблемы) // *СЭ*. 1981. № 6. С. 89–97.

Попов В. А. Этносоциальная история аканов в XVI–XIX вв. Проблемы генезиса и стадияльно-формационного развития этнополитических организмов. М.: Наука, 1990.

Поппер К. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983.

Потапов Л. П. О сущности патриархально-феодальных отношений у кочевников Средней Азии и Казахстана // *Вопросы истории*. 1954. № 6. С. 73–89.

Пржевальский Н. М. Монголия и страна тангутов. Т. I. СПб., 1875.

Пуляркин В. А. Экономико-географические процессы в сельском хозяйстве развивающихся стран. М.: Наука, 1976.

Пустовалов С. Ж., Черных Л. А. Опыт применения формализованно-статистических методов для половозрастного анализа погребений // *Методологические и методические вопросы археологии* / Отв. ред. В. Ф. Генинг. Киев, 1982. С. 105–140.

Пэрлээ Х. К истории древних городов и поселений Монголии // *СА*. 1957. № 3. С. 43–53.

Пэрлээ Х. К вопросу о древней оседлости в Монгольской Народной Республике // *Бронзовый и ранний железный век Сибири*. Новосибирск, 1974. С. 271–274.

Пэрлээ Х. Некоторые вопросы истории кочевой цивилизации древних монголов. Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Улан-Батор, 1978.

Радлов В. В. К вопросу об уйгурах (Приложение к LXXII тому Записок Импер. Акад. наук. № 2). СПб., 1893.

Радлов В. В. Из Сибири. Страницы дневника. М.: Наука, 1989.

Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. III. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1946.

Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. I. Кн. 2. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1952аб.

Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. II. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1960.

Решетов А. И. Николай Николаевич Козьмин: основные направления научной деятельности // Репрессированные этнографы / Отв. ред. Д. Д. Тумаркин. М., 1999. С. 81–100.

Розов Н. С. На пути к обоснованным периодизациям всемирной истории // Время мира. Вып. 2. Новосибирск, 2001. С. 222–305.

Розов Н. С. Философия и теория истории. Кн. 1. Прологемы. М.: Логос, 2002.

Рубрук Г. Путешествие в восточные страны // Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука / Отв. ред. Н. П. Шастина. М., 1957. С. 85–194.

Руденко С. И. К вопросу о формах скотоводческого хозяйства и о кочевниках // Материалы по этнографии (Доклады ГО). 1961. Вып. 1. С. 2–15.

Руденко С. И. Культура хуннов и ноинулинские курганы. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1962.

Савенко С. Н. Характеристика социального развития аланского общества по материалам катакомбных могильников X–XII вв. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1989.

Савинов Д. Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984.

Салинз М. Экономика каменного века. М.: ОГИ, 1999.

Сандерсон С. Мегаистория и ее парадигмы // Время мира. Вып. 1. Новосибирск, 1998. С. 67–71.

Свинин В. В. Профессор ИГУ Н. Н. Козьмин: его имя и книги вернулись к нам. Иркутский университет, 25 сентября. Иркутск, 1999.

Семенов Ю. И. Кочевничество и некоторые общие проблемы теории хозяйства и общества // СЭ. 1982. № 2. С. 48–59.

Семенов Ю. И. Об "архаическом обществе", классогенезе, политогенезе и еще десятке подобного же рода сюжетов // Восток. 1993. № 5. С. 197–209.

Семенов Ю. И. Всемирная история в самом сжатом изложении // Восток. № 2. 1997. С. 5–34.

Семенюк Г. И. К проблеме рабства у кочевых народов // Изв. АН КазССР. Сер. истории, археологии и этнографии. Алма-Ата, 1958. Вып. 1. С. 55–82.

Семенюк Г. И. Проблемы истории кочевых племен и народов периода феодализма. Калинин: Изд-во КГУ, 1974.

Серебренников Н. И. Буряты, их хозяйственный быт и землепользование. Верхнеудинск, 1925.

Симада Масао. Рёдай сянай си кэнкю [Исследование социальной истории Ляо]. Киото, 1952.

Сиратори Куракити. Дунху миньцзо као [Исследование народов, входящих в группу дунху]. Шанхай, 1935.

Ситнянский Г. Ю. Сельское хозяйство киргизов: традиции и современность. М., 1998.

Скрынникова Т. Д. Харизма и власть в эпоху Чингис-хана. М.: Восточная литература, 1997.

Слудский А. А. Джуты в пустынях Казахстана и их влияние на численность животных // Труды Института зоологии АН КазССР. Т. II. 1953. С. 3–30.

Смелзер Н. Социология. М.: Феникс, 1998.

Смирнов К. Ф. Савроматы. М.: Наука, 1964.

Смирнов Н. Рец. на: *Владимирцов Б. Я.* Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. Л., 1934 // Историк-марксист. 1935. № 4.

Солдатов В. В. Хозяйственный быт инородцев Агинской степи. Труды Агинской экспедиции. Вып. 7. Чита, 1911. С. 95–306.

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992.

Стукалова Т. Ю. Французский королевский двор при Филиппе I и Людовике VI (1060–1137) // Двор монарха в средневековой Европе: явление, модель, среда. Вып. 1. М., 2001. С. 68–80.

Сухбаатар Г. Хунну нарын нийгмийн байгууллын тухай асуудлаас [К вопросу об общественном строе хуннов] // Туухийн судлал. Т. Х. Улаанбаатар, 1975. С. 145–175.

Сухбаатар Г. Некоторые вопросы истории хуннов (сюнну) // III International Congress of Mongolists. Vol. 1. Ulan-Bator, 1978. С. 262–265.

Сухбаатар Г. Хунну нарын аж ахуй, нийгмийн байгуулал, соёл, угсаа гарал (м. э. ё. IV — м. э. II зуун) [Хозяйство, общественный строй, культура, этническое происхождение гуннов (IV в. до н.э. — II в. н. э.)]. Улан-Батор, 1980.

Сухбаатар Г. Монгол нирун улс (330–550 он) [Монголо-нирунское государство]. Улаанбаатар, 1992.

Сэр-Оджав Н. Древняя история Монголии (XIV в. до н. э. — XII в. н. э.). Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Новосибирск, 1971.

Сэр-Оджав Н. Монголын эртний туух [Древняя история Монголии]. Улаанбаатар, 1977.

Сюн Цуньжуй. Сяндинь сюнну цзи цз югуаньди цзигэ вэньти [Доциньские сюнну, а также связанные с ними некоторые вопросы] // Шэхуй кэсюэ чжаньсянь. 1983. № 1.

Тайшин В. А., Лхасаранов Б. Б. Аборигенная бурятская овца. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ, 1997.

Талько-Грынцевич Ю. Д. Материалы к палеоэтнологии Забайкалья / Под ред. С. С. Миняева // Археологические памятники сюнну. Вып. 4. СПб.: Фонд Азиатика, 1999.

Таскин В. С. Скотоводство у сюнну по китайским источникам // Вопросы истории и историографии Китая / Отв. ред. Л. И. Думан. М., 1968. С. 21–44.

Таскин В. С. Введение. Значение китайских источников в изучении древней истории монголов // Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху / Введ., перевод и комментарии. В. С. Таскина. М., 1984. С. 3–62.

Таскин В. С. О титулах шаньюй и каган // Mongolica. Памяти академика Б. Я. Владимирцова 1884–1931. М., 1986. С. 213–218.

Тёкен Ф. К теории общественных формаций. М.: Прогресс, 1975.

Тизенгаузен В. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. I. СПб., 1884.

Тизенгаузен В. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. II. М.-Л., 1941.

Тишкин А. А., Дашковский П. К. Социальная структура и система мировоззрений населения Алтая скифской эпохи. Барнаул: Алтайский университет, 2003.

Толстов С. П. Генезис феодализма в кочевых скотоводческих обществах // Изв. ГАИМК. 1934. Вып. 103. С. 165–199.

Толстов С. П. Древний Хорезм. М.: Изд-во МГУ, 1948.

Тольбеков С. Е. Кочевое общество казахов в XVII — начале XX века. Политико-экономический анализ. Алма-Ата: Наука, 1971.

Тортика А. А., Михеев В. К., Куртиев Р. И. Некоторые эколого-демографические и социальные аспекты истории кочевых обществ // Этнографическое обозрение. 1994. № 1. С. 49–62.

Трепавлов В. В. Государственный строй Монгольской империи XIII в.: Проблема исторической преемственности. М.: Наука, 1993.

Трепавлов В. В. Ногайская альтернатива: от государства к вождеству и обратно // Альтернативные пути к ранней государственности / Отв. ред. Н. Н. Крадин и В. А. Лынша. Владивосток, 1995. С. 199–208.

Тумунов Ж. Ж. Очерки из истории агинских бурят. Улан-Удэ. Бурятское кн. изд-во, 1988.

Тянь Гуанцзинь, Го Сусинь. Нэй Мэнгу Алучжайдэн фасяньды сюнну му [Хуннские вещи, найденные в Алучжайдэн, Внутренняя Монголия] // Каогу. 1980. № 4.

Тянь Гуанцзинь, Го Сусинь. Сигоупань сюнну му фаньиньды чжу вэньти [Проблемы, связанные с хуннским могильником Сигоупань] // Вэньу. 1980а. № 7.

Уайт Л. Избранное. Наука о культуре. М.: РОССПЭН, 2004.

Уасон П. Монументальные сооружения, религия, социальный статус и коммуникации в неолите // Человек, среда, время. Материалы научного семинара / Отв. ред. М. В. Константинов. Чита, 2003. С. 163–171.

Уилкинсон Д. Центральная цивилизация // Время мира. Вып. 2. Новосибирск, 2001. С. 397–423.

- Урбанаева И. С. Человек у Байкала и мир Центральной Азии: философия истории. Улан-Удэ, 1995.
- Уэскотт Р. Исчисление цивилизаций // Время мира. Вып. 2. Новосибирск, 2001. С. 328–344.
- Федоров-Давыдов Г. А. Общественный строй Золотой Орды. М.: Изд-во МГУ, 1973.
- Федоров-Давыдов Г. А. Общественный строй кочевников в средневековую эпоху // Вопросы истории. 1976. № 8. С. 39–48.
- Федоров-Давыдов Г. А. Золотоордынские города Поволжья. М.: Изд-во МГУ, 1994.
- Феннел Дж. Кризис средневековой Руси. 1200–1304. М., 1989.
- Фролова М. А. Политическая стратификация. М.: Институт практической психологии. Воронеж: НПО "МОДЭК", 1995.
- Фрэйзер Дж. Золотая ветвь. М., 1986.
- Фудзита Тоёхати. О названии государства жуаньжуаней и прозвищах каганов // Тоё гакухао [Научные сообщения по востоковедению]. Т. 13. Киото, 1968.
- Фурсов А. И. Нашествия кочевников и проблема отставания Востока // Взаимодействие и взаимовлияние цивилизаций на Востоке. Т. 1. М., 1988. С. 182–185.
- Фурсов А. И. Революция как имманентная форма развития европейского исторического субъекта // Французский ежегодник 1987. М., 1989. С. 278–328.
- Фурсов А. И. Восток, Запад, капитализм // Капитализм на Востоке во второй половине XX века / Отв. ред. В. Г. Растянников. М., 1995. С. 16–133.
- Хазанов А. М. Социальная история скифов. Основные проблемы развития древних кочевников евразийских степей. М.: Наука, 1975.
- Хазанов А. М. Кочевники и внешний мир. 3-е изд. Алматы: Дайк-Пресс, 2000.
- Хазанов А. М. Кочевники евразийских степей в исторической ретроспективе // Кочевая альтернатива социальной эволюции / Отв. ред. Н. Н. Крадин, Д. М. Бондаренко. М., 2002. С. 37–58.
- Халиль Исмаил. Исследование хозяйства и общественных отношений кочевников Азии (включая Южную Сибирь) в советс-

- кой литературе 1950–1980 гг. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1983.
- Хандсурэн Ц. К вопросу о происхождении жужаней и их столицы Мумо-чэн // Олон Улсын Монголч Эрдэмтний II их Хурал. Б. 2. Улаанбаатар, 1973. С. 203–207.
- Хандсурэн Ц. Жужаньское ханство // Этническая история народов Южной Сибири и Центральной Азии / Отв. ред. Б. Р. Зориктуев. Новосибирск, 1993. С. 66–106.
- Харке Г., Савенко С. Н. Проблемы исследования древних погребений в западноевропейской археологии // Российская археология. 2000. № 1. С. 217–226.
- Харке Г., Савенко С. Н. Проблемы исследования древних погребений в американской археологии // Российская археология. 2000а. № 2. С. 212–220.
- Хафизова К. Ш. Китайская дипломатия в Центральной Азии XIV–XIX вв.. Алматы: Ғылым, 1995.
- Хеллер К. Золотая Орда и торговля с Западом // Источниковедение истории Улуса Джучи (Золотой Орды). От Калки до Астрахани. 1223–1556 / Отв. ред. М. А. Усманов. Казань, 2002. С. 111–128.
- Холл Т. Монголы в мир-системной истории // Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ, 2004. С. 136–166.
- Хорд Д. Древо цивилизаций // Время мира. Альманах. Вып. 2. Структуры истории. Новосибирск, 2001. С. 355–368.
- Хрусталева Д. Г. Русь: от нашествия до "ига" (30–40 гг. XIII в.). СПб.: Евразия, 2004.
- Худяков Ю. С. Памятники уйгурской культуры в Монголии // Центральная Азия и соседние территории в средние века. Новосибирск, 1990. 84–89.
- Цэвэндорж Д. Новые данные по археологии хунну (по материалам раскопок 1972–1977 гг.) // Древние культуры Монголии / Отв. ред. Р. С. Васильевский. Новосибирск, 1985. С. 51–87.
- Чейз-Данн К., Холл Т. Две, три, много миросистем // Время мира. Вып. 2. Новосибирск, 2001. С. 424–448.
- Чистяков В. Ф. Глобальные вариации светимости Солнца и колебания климата Земли // Вестник ДВО РАН. 1996. № 2. С. 75–85.

Шавкунов Э. В. Об археологической разведке отряда по изучению средневековых памятников // Археология и этнография Монголии. Новосибирск, 1978. С. 16–23.

Шарапова С. В., Берсенева Н. А. Социальная символика: система понятий и проблемы изучения // Уральский исторический вестник. № 14. Екатеринбург, 2006. С. 25–35.

Шахматов В. Ф. О происхождении двенадцатилетнего животного цикла летосчисления кочевников // Вестник АН КазССР. 1955. № 1.

Шахматов В. Ф. Патриархально-феодалные отношения в Казахстане: вопросы зарождения, специфики и эволюции: Доклад д-ра ист. наук. Алма-Ата, 1962.

Шемякин Я. Г. Проблема цивилизации в советской научной литературе 60–80-х годов // История СССР. 1991. № 5. С. 86–103.

Шишлина Н. И. Заметки о характере скотоводческого хозяйства в современной Республике Калмыкия // Степь и Кавказ. М., 1997. С. 106–109 (Труды ГИМ 97).

Шишлина Н. И. (отв. ред.). Сезонный экономический цикл населения северо-западного Прикаспия в бронзовом веке. М., 2000 (Труды ГИМ 120).

Шнирельман В. А. Позднепервобытная община земледельцев-скотоводов и высших охотников, рыболовов и собирателей // История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины / Отв. ред. Ю. В. Бромлей. М., 1986. С. 236–426.

Шнирельман В. А. Возникновение производящего хозяйства. М.: Наука, 1989.

Штаерман Е. М. К проблеме возникновения государства в Риме // Вестник древней истории. 1989. № 2. С. 76–94.

Эванс-Причард Э. Нуэры. М.: Наука, 1985.

Эйгенсон М. С. Очерки физико-географических проявлений солнечной активности. Львов: Изд-во Львовского ун-та. 1957.

Эрдниева К. О. К истории изучения вопроса о специфике феодальных отношений у кочевых народов в советской исторической литературе // Известия Северокавказского научного центра высшей школы. Общественные науки. 1985. № 1. С. 47–53.

Юпатов А. А. Изучение растительности Монголии за 25 лет // Труды Комитета наук МНР. Т. 2. Улан-Батор, 1946.

Яковец Ю. В. Ритм смены цивилизаций и исторические судьбы России. М., 1994.

Якубовский А. Ю. Развалины Ургенча // Известия ГАИМК. Т. VI. 1930. Вып. 2.

Якубовский А. Ю. Кн. Б. Я. Владимирцова “Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм” и перспективы дальнейшего изучения Золотой Орды // Исторический сборник. Т. V. М.-Л., 1936.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Политиздат, 1991.

Abrams E. M. Architecture and Energy: An Evolutionary Perspective. Archaeological Method and Theory. Vol. I / Ed. by M. B. Schiffer. Tucson, 1989. P. 47–87.

Abu-Lughod J. Before European hegemony: The World-System A. D. 1250–1350. New York: Oxford University Press, 1989.

Abu-Lughod J. Restructuring the Premodern World-System // Review, XIII (2). 1990. P. 273–286.

Adams R. Energy and Structure. A Theory of Social Power / Austin and L.: University of Texas Press, 1975.

Allsen T. Mongol Imperialism: The policies of the Grand Qan Monke in China, Russia and the Islamic lands, 1251–1259. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1987.

Allsen T. Commodity and Exchange in the Mongol Empire: a Cultural History of Islamic Textiles. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Allsen T. Culture and Conquest in Mongol Eurasia. Cambridge, 2001.

Allsen T. The Circulation of Military Technology in the Mongolian Empire // Warfare in Inner Asian History (500–1800) / Ed. by N. Di Cosmo. Leiden, 2002. P. 265–293.

Allsen Technical Transfers in the Mongolian Empire. Bloomington, 2002.

Amitai-Press R., Morgan D. (eds.) The Mongol Empire & its Legacy. Leiden: Brill, 1999.

Artemova O. Yu. Initial phases of politogenesis. Civilizational models of politogenesis / Ed. by D. M. Bondarenko, A. V. Korotayev. Moscow, 2000. P. 54–70.

Ashed S. A. M. Central Asia in World History. N.Y.: Palgrave, 1993.

Ayalon D. The Great Yasa of Chingiz Khan, A Re-examination // *Studia Islamica*. Vol. 33. 1971. P. 97–140 (part A).

Bacon E. Obok. A Study of Social Structure of Eurasia. New York: Wenner-Gren foundation for anthropological research, 1958.

Barfield T. The Hsiung-nu Imperial Confederacy: Organization and Foreign Policy // *Journal of Asian Studies*. XLI (1). 1981. P. 45–61.

Barfield T. The Perilous Frontier: Nomadic Empires and China, 221 BC to AD 1757. Cambridge: Blackwell, 1992 (First published in 1989).

Barfield T. The Nomadic Alternative. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1993.

Barfield T. The Shadow Empires: Imperial State Formation along the Chinese-Nomad Frontier. Empires / Ed. by C. Sinopoli, T. D'Altroy, K. Morrison and S. Alcock. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Bargatsky T. Evolution, sequential hierarchy and areal integration: the case of traditional Samoan society. State and society: The emergence and development of social hierarchy and political centralization / Ed. by J. Gledhil, B. Bender and M. T. Larsen. London, 1988. P. 43–56.

Berent M. Stateless polis. Unpublished PhD. Thesis. Cambridge, 1994.

Berent M. The stateless polis: towards a new anthropological model of the ancient Greek community. Sociobiology of Ritual and Group Identity: A Homology of Animal and Human Behaviour. Concepts of Humans and Behaviour Patterns in the Cultures of the East and the West: Interdisciplinary Approach / Ed. by M. Butovskaya, A. Korotayev and O. Khristoforova. Moscow, 1998. P. 97–98.

Berent M. The Stateless Polis: The Early State and the ancient Greek Community. Alternatives of Social Evolution / Ed. by N. N. Kradin, A.V. Korotayev et al. Vladivostok, 2000. P. 225–241.

Berent M. The Stateless Polis: A Reply to Critics // *Social Evolution & History*. 5 (1). 2006. P. 141–163.

Berezkin Yu. E. Alternative Models of the Middle Range Society. "Individualistic" Asia VS "Collectivistic" America? Alternative Pathways to Early State / Ed. by N. N. Kradin and V. A. Lynsha. Vladivostok: Dalnauka, 1995. P. 75–92.

Best P. J., Rai B. R., Walsh D. F. Politics in Three Worlds: An Introduction to Political Science. New York and London: Macmillan, 1986.

Binford L. Mortuary Practices: Their Study and Their Potential. *Memories of the Society for American Archaeology*. Vol. 25. 1971. P. 6–28.

Bira Sh. Studies in Mongolian history, culture and historiography (Selected papers). Ulaanbaatar, 2001.

Biran M. The Mongol Transformation: From the Steppe to Eurasian Empire. *Eurasian Transformations, Tenth to Thirteenth Centuries* / Ed. by J. Arnason and B. Wittrock. Leiden, 2004. P. 339–361.

Blanton R., Feinman G., Kowalewski S., Peregrine P. A dual-processual theory for the evolution of Mesoamerican civilization // *Current Anthropology*. 37 (1). P. 1–14, 73–86.

Bondarenko D. M., Korotayev A. V. (eds.). *Civilizational Models of Politogenesis*. Moscow: Center of Civilizational Studies of the Russian Academy of Sciences, 2000.

Bondarenko D. M., Korotayev A. V. "Early State" in Cross-Cultural Perspective: A Statistical Re-Analysis of Henri J. M. Claessen's Database. *Cross-Cultural Research // The Journal of Comparative Social Science*. 37 (1). 2003. P. 105–132.

Bonte P. L'organisation économique des Touaregs Kel Gress // *Elements d'Ethnologie* / Ed. R. Creswell. Paris, 1975. P. 166–215.

Bonte P. Non stratified social formations among pastoral nomads // *The Evolution of Social Systems* / Ed. by J. Friedman and M. J. Rowlands. London, 1978. P. 173–200.

Bonte P. Marxist Theory and Anthropological Analysis: The Study of Nomadic Pastoralist Societies // *The Anthropology of Precapitalist Societies* / Ed. by J. S. Khan and J. Llobera. London, 1981. P. 22–55.

Bonte P. French Marxist Perspectives on Nomadic Societies // Nomads in a Changing World / Ed. by C. Salzman and J. G. Galaty. Naples, 1990. P. 49–101.

Bourdieu P. Sur le pouvoir symbolique // Annales. Economie. Société. Civilizations, No 3. 1977. P. 405–411.

Brown J. A. The Search for Rank in Prehistoric Burials. The Archaeology of Death / Ed. by R. Champan, I. Kinnes and K. Randsborg. Cambridge, 1981. P. 25–37.

Butovskaya M. L. Biosocial preconditions for sociopolitical alternativity // Civilizational models of politogenesis / Ed. by D. M. Bondarenko, A. V. Korotayev. Moscow, 2000. P. 35–53.

Carneiro R. A theory of the origin of the state // Science. 169 (3947). 1970. P. 733–738.

Carneiro R. Scale Analysis, Evolutionary Sequences and the Rating of Cultures // A Handbook of Method in Cultural Anthropology / Ed. by R. Narrol and R. Cohen. New York and London, 1973a. P. 834–871.

Carneiro R. The Four faces of Evolution // Handbook of social and cultural anthropology / Ed. by J. J. Honigman. Chicago, 1973b. P. 89–110.

Carneiro R. The Calusa and the Powhatan. Native Chiefdoms of North // America. Reviews in Anthropology. 1992. Vol. 21. P. 27–38.

Chapman R., Randsborg K. Approaches to the archaeology of death // The Archaeology of Death / Ed. by R. Champan, I. Kinnes and K. Randsborg. Cambridge, 1981. P. 1–24.

Chase-Dunn Chr. Comparing world-systems: toward a theory of semiperipheral development // Comparative civilizations review 19. 1988. P. 29–66.

Chase-Dunn Chr., Hall T. Rise and Demise: Comparing World-Systems Boulder, CO.: Westview Press, 1997.

Childe V. G. The Urban revolution // Town Planning Review. 21. 1950. P. 3–17.

Claessen H. J. M. Evolutionism in Development: Beyond Growing Complexity and Classification // Kinship, Social Change and Evolution. Horn-Wien, 1990. P. 231–247 (Wiener Beiträge zur Ethnologie und Anthropologie, Bd. 5).

Claessen H. J. M. State and economy in Polynesia. Early State Economics / Ed. by H. J. M. Claessen and P. van de Velde. New Brunswick & London, 1991. P. 291–325.

Claessen H. J. M. Structural Change: Evolution and Evolutionism in Cultural Anthropology. Leiden: Research School CNWS, Leiden University, 2000.

Claessen H. J. M., Skalnik P. (eds.). The Early State. The Hague: Mouton, 1978

Claessen H. J. M., Skalnik P. (eds.). The Study of the State. The Hague etc.: Mouton, 1981

Cohen R., E. Service E. (eds.). The Origin of the State. Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues, 1978.

Copans J. Mode de production: formation sociale, ou ethnic? Les leçons d'un long silence de l'anthropologie marxiste française // Canadian Journal of African Studies. Vol. 20 (1). 1986. P. 74–90.

Cribb R. Nomads in archaeology. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Dalton G. Economic anthropology and Development, Essays of tribal and peasant economies. New York: Academic Press, 1971.

Derevencki J. C. Linking age and gender as social variables // Ethnographische-archäologische Zeitschrift. 38 (3–4). 1997. S. 485–493.

Dewey H. W. Russia's debt to the Mongols in suretyship and collective responsibility // Comparative studies in society and history. Vol. 30. 1988. No 2. P. 250–270.

Di Cosmo N. State Formation and Periodization in Inner Asian History // Journal of World History. 10 (1). 1999. P. 1–40.

Di Cosmo N. Ancient China and its Enemies: The Rise of Nomadic Power in East Asian History. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Earle T. Chiefdoms in archaeological and ethnohistorical perspective // Annual Review of Anthropology. 16. 1987. P. 279–308.

Earle T. (ed.). Chiefdoms: Power, Economy and Ideology. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Earle T. How Chiefs Come to Power: The Political Economy in Prehistory. Stanford (Cal.): Stanford University Press, 1997.

Earle T. Bronze Age Economics. Boulder: Westview Press, 2002.

Egami Namio. The economic activities of the Hsiung-nu // Труды XXV Международного конгресса востоковедов. Т. 5. М., 1963. С. 353–354.

Ehrenreich R. M., Crumley C. L. and Levy J. E. (eds.). Heterarchy and the Analysis of Complex Societies. Washington, D. C.: American Anthropological Association, 1995.

Eisenstadt S. The Political Systems of Empires. London: Collier-Macmillan, 1963.

Eisenstadt S., Roniger L. Patrons, Client and Friends. International Relations and the Structure of Trust in Society. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

Ekholm K. External Exchange and Transformation of Central African Social Systems // The Evolution of Social Systems / Ed. by J. Friedman and M. Rowlands. London, 1977. P. 115–136.

Ekholm K., Friedman J. "Capital" imperialism and exploitation in ancient world systems // Power and propaganda. A symposium on ancient empires / Ed. by M. T. Larsen. Copenhagen, 1979. P. 41–58.

Enkhtuvshin B. Nomadic society and some aspects of civilizations studies // Chinggis Khaan and Contemporary Era / Ed. by B. Enkhtuvshin, J. Tsolmon. Ulaanbaatar, 2003. P. 65–90.

Enkhtuvshin B., Tumurjav M., Chuluunbaatar G. Nomads: Civilizations, Culture and Development // International Symposium on "Nomads and use of Pastures today". Ulaanbaatar, 2000. P. 5–19.

Escedy I. Nomads in History and Historical Research // Acta Orientalia Hungarica. Vol. XXXV. 1981. P. 201–227.

Escedy I. On the social and economic structure of nomadic societies // Primitive Society and Asiatic Mode of Production / Ed. by F. Tokei. Budapest, 1989. P. 69–90.

Feinman G. and Marcus J. (eds.). Archaic states. Santa Fe: School of American Research, 1999.

Fletcher J. The Mongols: ecological and social perspectives // Harvard Journal of Asiatic Studies. 46 (1). 1986. P. 11–50.

Frank A. G., Gills B. The World System: 500 or 5000 Years? London: Routledge, 1994.

Franke H. The forest peoples of Manchuria: Kitans and Jurchens. Cambridge History of Early Inner Asia / Ed. by D. Sinor Cambridge, 1990. P. 400–423.

Fried M. The Evolution of Political Society: an essay in political anthropology. N.Y.: Columbia University Press, 1967.

Galley C., Patterson T. (eds.). Power Relations and State Formation. Washington, D. C., 1988.

Gellner E. Foreword. *Khazanov A. M.* Nomads and the Outside World. Cambridge, 1984. P. IX–XXV

Gellner E. State and Society in Soviet Thought. Oxford: Oxford University Press, 1988.

Gellner E., Waterbury J. (eds.). Patrons and clients. London: Duckworth, 1977.

Gibson G. Anthropological archaeology. New York: Columbia University Press, 1984.

Gills B., Frank A. G. World System Cycles, Crises and Hegemonial Shifts 1700 BC to 1700 AD // Review. Vol. XV (4). 1992. P. 621–687.

Godelier M. La notion de "production asiatique" et les schemas Marxistes d'évolution des sociétés. Sur le mode de production asiatique / Ed. by R. Garaudy. Paris, 1969. P. 7–100.

Golden P. B. An Introduction to the History of the Turkic Peoples: Ethnogenesis and State Formation in Mediaeval and Early Modern Eurasia and the Middle East. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1992.

Golden P. B. Ethnicity and State Formation in Pre-Chinggisid Turkic Eurasia. Bloomington, IN: Indiana University, Department of Central Eurasian Studies, 2001.

Goldstein L. G. Mississippian mortuary practices: a case study of two cemeteries in the Lower Illinois valley. Evanston, Illinois (Northwestern University Archaeological Program, Scientific Papers. No 4), 1980.

Haas J. The Evolution of the Prehistoric State. N.Y.: Columbia University Press, 1982.

Haas J. The Evolution of the Prehistoric State. N.Y.: Columbia University Press, 1982.

Haas J. (ed.). From leaders to rulers. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2001.

Hall T. D. Civilizational change and role of nomads // Comparative civilizations review. 24. 1991. P. 34–57.

- Halperin Ch. J.* Russia and the Mongol Empire in comparative perspective // *Harvard Journal of Asiatic Studies*. 1983. Vol. 43. No 1–2. 1983. P. 239–261.
- Halperin Ch. J.* Russia and the Golden Horde. Bloomington: Indiana University Press, 1985.
- Hayashi T.* Agriculture and Settlements in the Hsiung-nu // *Bulletin of the Ancient Orient Museum*. Vol. VI. Tokyo, 1984. P. 51–92.
- Hodder I.* Reading the Past: Current approaches to interpretation in archaeology. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- Hodson F. R.* Cluster analysis and archaeology: some new developments and applications. *World archaeology*. Vol. 1. 1970. P. 299–320.
- Hodson F. R.* Inferring status from burials in Iron Age Europe: some recent attempts // *Space, Hierarchy and Society* / Ed. by B. C. Burnham, J. Kingsbury. Oxford, 1979. P. 23–30.
- Hollpice C.* The Principles of Social Evolution. Oxford: Clarendon Press, 1986.
- Hsiao Ch'i-ch'ing.* The Military Establishment of the Yüan Dynasty. Cambridge, Mass, 1978.
- Irons W.* Political Stratification Among Pastoral Nomads. Pastoral Production and Society. Cambridge, 1979. P. 361–374.
- Ito Shuntaro.* A framework for comparative study of civilizations // *Comparative civilizations review*. No 36. 1997. P. 4–15.
- Jaksic M.* Azijski nacini proizvodnje: istorijat diskusije. Beograd: Naucna knjiga, 1991.
- Johnson A. W., Earle T.* The Evolution of Human Societies: From Foraging Groups to Agrarian State. Stanford (Cal.): Stanford University. Press, 1987.
- Juvaini Genghis Khan.* The history of the World-Conqueror by 'Ala ad-Din 'Ata-Malik Juvaini / Trans. by J. A. Boyle. Manchester: Manchester University Press, 1997.
- Khazanov A. M.* The Early State Among the Eurasian Nomads. The Study of the State / Ed. by H. J. M. Claessen and P. Skalnik. The Hague etc., 1981. P. 156–73.
- Khazanov A. M.* Nomads and the Outside World. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- Kirch P.* Polynesian prehistory: cultural adaptation in island ecosystems // *American Scientist*. Vol. 68. No 1. 1980. P. 39–48.

- Kirch P.* The Evolution of the Polynesian Chiefdoms. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- Kollautz A., Miyakawa H.* Geschichte und Kultur eines volkerwanderungszeitlichen Nomadenvolks: die Jou-jan der Mongolei und die Awaren in Mitteleuropa. 2 vols. Klagenfurt: Rudolf Habelt Verlag, 1970.
- Konig W.* Zur Fragen der Gesellschaftsorganisation der Nomaden. Die Nomaden in Geschichte und Gegenwart. Berlin, 1981. P. 25–30.
- Korotayev A. V.* Ancient Yemen: Some General Trends of Evolution of the Sabaic Language and Sabaean Culture. Oxford: Oxford University. Press, 1995.
- Korotayev A. V.* Pre-Islamic Yemen: Socio-Political Organization of the Sabaean Cultural Area in the 2nd and 3rd Centuries A. D. Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag, 1996.
- Korotayev A. V.* A Compact Macromodel of World-System Evolution. *Journal of World-System Research*, Vol. 11. No 1. 2005. P. 79–93.
- Kottak C.* Anthropology: The Exploration of Human Diversity. 7th ed. New York etc.: McGraw-Hill Companies, Inc, 1997.
- Krader L.* Social Organization of the Mongol-Turkic Pastoral Nomads. The Hague: Mouton, 1963.
- Krader L.* Formation of the State. Englewood Cliffs, 1968.
- Kradin N. N.* Social Evolution among the Pastoral Nomads // XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences (Forli – Italy – 8/14 September 1996). Section 16. The Prehistory of Asia and Oceania. Colloquium XXXI. The Evolution of Nomadic Herding Civilizations in the Northern European Steppes: the Tools of Archaeology and History Compared. Forli, 1996. P. 11–15.
- Kradin N. N.* Nomadism, Evolution and World-Systems: Pastoral Societies in Theories of Historical Development // *Journal of World-System Research*. VIII (3). 2002. P. 368–388.
- Kradin N. N.* From Tribal Confederation to Empire: the Evolution of the Rouran Society // *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae*. 58 (2). 2005. P. 149–169.
- Kradin N. N., Bondarenko D. M., Barfield T.* (eds.) Nomadic pathways in social evolution. Moscow: Center for Civilizational Studies, 2003.

Kristiansen K., Rowlands M. Social Transformations in Archaeology: Global and Local Perspectives. London and New York: Routledge, 1998.

Kroeber A. Disposal of the Dead. *American Anthropologists*. Vol. 27. 1927. P. 308–315.

Kwanten L. Imperial nomads: A history of Central Asia, 500–1500. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1979.

Lattimore O. Inner Asian Frontiers of China. New York etc.: American Geographical Society, 1940.

Lenski G. Power and Privilege. N.Y.: McGraw Hill, 1966.

Lenski G. Macht und Privileg. Eine Theorie der sozialen Schichtung. Frankfurt am Main: Suhramp Vwrlag, 1973.

Liu Mau-tsai Die Chinesische Nachrichten zur Geschichte der Ost-Turken (Tu-kue). Bd. I. Wiesbaden, 1958.

Mann M. The Sources of Social Power. Vol. I: A History of Power From the Beginning to A. D. 1760. Cambridge etc.: Cambridge Univ. Press, 1986.

Mann M. The Sources of Social Power. Vol. I: A History of Power From the Beginning to A. D. 1760. Cambridge etc.: Cambridge University Press, 1987.

Marcus J. The iconography of power among the Classic Maya. *World Archaeology*. Vol. 6. 1974. P. 83–94.

McNeill W. Plagues and Peoples. Garden City, New York: Doubleday, 1976.

McNeil W. Information and transportation nets in world history // *World System History: The Social Science of Long-Term Change*. London, 2000. P. 201–214.

Michels R. Zur Sociologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens. Leipzig, 1911.

Miyakawa H., Kollautz A. Die Mongolei in der Epoche der Jōnan (5 und 6 Jahrhundert n. Chr.) // *Central Asiatic Journal*. 12 (3), 1969.

Moran P. A. P. The statistical analysis of the Canadian lynx cycle. II Synchronization and meteorology // *Australian Journal of Zoology*. 1953. Vol. 1. P. 291–298.

Mori Masao. Reconsideration of the Hsiung-nu state — a response to Professor O. Pritsak's criticism // *Acta Asiatica*. 1973. Vol. 24. P. 20–34.

Morris B. The Power of Animals: An Ethnography. Oxford and New York: Berg, 1998.

Murdock G. Ethnographic Atlas. Pittsburgh: The University of Pittsburgh Press, 1967.

Murdock G. and Provost C. Measurement of Cultural Complexity // *Ethnology* 12 (4). 1973. P. 379–392.

O'Shea J. Social configurations and the Archaeological Study of Mortuary Practices: A Case Study // *The Archaeology of Death* / Ed. by R. Champan, I. Kinnes and K. Randsborg. Cambridge, 1981. P. 39–52.

O'Shea J. Mortuary Variability: An Archaeological Investigation. Orlando: Academic Press, 1984.

Owen L. R. Geschlechterrollen und die Interpretation von Grabbeigaben: Nadeln, Pfeilspitzen. *Ethnographische-archaologische Zeitschrift*. S. 38 (3–4). 1997. P. 502–504.

Pader E. J. Symbolism, Social Relations and the Interpretation of Mortuary Remains. *British Archaeological Reports International Series*, 130. Oxford, 1982.

Parker-Pearson M. Mortuary practices, Society and Ideology: an Ethnoarchaeological Study // *Symbolic and Structural Archaeology* / Ed. by I. Hodder. Cambridge, 1982.

Parker-Pearson M. The Archaeology of Death and Burial. College Station: Texas A&M University Press, 2001.

Patterson T. Some Theoretical Tension within and between the Processual and Postprocessual Archaeologies // *Journal of Anthropological Archaeology*. Vol. 9. 1990. P. 189–200.

Peebles C. S., Kus S. M. Some archaeological correlates of ranked societies. *American Antiquity*. Vol. 42. 1977. P. 421–428.

Peregrine P. Archaeology and World-Systems Theory. A World-Systems Reader: New Perspectives on Gender, Urbanism, Cultures, Indigenous Peoples and Ecology. Lanham, 2000. P. 59–68.

Polanyi K. Primitive, archaic and modern Economics / Ed. by G. Dalton. New York: Anchor, 1968.

Pritsak O. Die 24 Ta-ch'en: Studie zur Geschichte des Verwaltungsaufbaus der Hsiung-nu Reiche // *Oriens Extremus*. 1. 1954. S. 178–202.

de Rachewiltz I. In the Service of the Khan: Eminent Personalities of the early Mongol-Yuan Period (1200–1300) / Ed. by I. de Rachewiltz et al. Wiesbaden, 1993.

de Rachewiltz I. The Secret History of the Mongols // *A Mongolian Epic Chronicle of the Thirteenth Century* / Transl. with a historical and philological commentary by I. de Rachewiltz. Vol. 1–2. Leiden and Boston: Brill, 2004.

Randsborg K. Social stratification in early bronze age Denmark // *Prähistorische Zeitschrift*. Bd. 49. No 1. 1974. P. 38–61.

Randsborg K. Burial, Succession and Early State formation in Denmark // *The Archaeology of Death* / Ed. by R. Champan, I. Kinnes and K. Randsborg. Cambridge, 1981. P. 105–121.

Ranta E., Kaitala V., Lindstrom J., Helle E. The Moran effect and synchrony in population dynamics. *OIKOS*. Vol. 78. 1997. P. 136–142.

Ratchnevsky P. Cinggis-khan: Sein Leben und Wirken. Wiesbaden: Münchener Ostasiatische Studien, 1983.

Rathje W. The Origin and Development of Lowland Maya Classic Civilization // *American Antiquity*. 36. 1971. P. 275–285.

Renfrew C. The Emergence of Civilization: the Cyclades and Aegean in the third millennium B. C. London: Methuen, 1972.

Renfrew C. Approaches to Social Archaeology. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1984.

Rochhill W.W. The Journey of William of Rubruck to the Eastern parts of the World 1253–1255 as narrated by himself, with two accounts of the earlier journey of John of Plan de Carpine / Trans. from the Latin and edited with an Introductory Notice. London: The Hakluyt Society, 1900.

Rousseau J. The Ideological Prerequisites of Inequality // *Development and Decline. The Evolution of Sociopolitical Organization* / Ed. by H. J. M. Claessen and P. van de Velde. South Hadley, 1985. P. 36–45.

Russel B. Rower: A New Social Analysis. New York: W. W. Norton, 1938.

Sahlins M. Tribesmen. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1968.

Sanderson S. K. Social Evolutionism. A Critical History. Cambridge (Mass.) and Oxford: Blackwell, 1990.

Sanderson S. K. Social Transformations: A General Theory of Historical Development. Oxford and Cambridge: Blackwell, 1995.

Sanderson S. K. Social Transformations: A General Theory of Historical Development, expanded edition. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1999.

Saxe A. A. Social dimension of mortuary practices // Ph. D. Dissertation. University of Michigan, 1970.

Schlette F. Zur Lebensweise und Stellung der Frau bei den skythischen Stämmen // *Ethnographisch-Archaeologische Zeitschrift*. 28 (2). 1987. S. 232–48.

Schneider J. Was There a Pre-Capitalist World-System? Peasant Studies. Vol. 6. No 1. 1977. P. 20–29.

Schorkowitz D. Die Sociale und politische Organization bei den Kalmucken (Oiraten) und Prozesse der Akkulturation vom 17. Jahrhundert bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Frankfurt am Main etc.: Peter Lang, 1994.

Schurmann H. F. The Economic Structure of the Yüan Dynasty. Cambridge, Mass., 1956.

Seaman G. Worlds Systems and State Formation on the Inner Asia Periphery // *Rulers from the Steppe: State Formation on the Eurasian Periphery* / Ed. by G. Seaman and D. Marks. Vol. 2. Los-Angeles, 1991. P. 1–61.

Service E. Primitive Social Organization. N.Y.: Radmon House, 1971 (First published in 1962).

Service E. Origins of the State and Civilization. N.Y.: Norton, 1975.

Skalnik P. Chiefdom: a universal political formation? // *Focaal*, 43 (1). 2004. P. 76–98.

Southall A. Alur Society. Cambridge: W. Heffer and Sons, 1953.

Southall A. The Segmentary State: From the Imaginary to the Material Means of Production // *Early State Economics* / Ed. by H. J. M. Claessen & P. van de Velde. New Brunswick & London, 1991. P. 75–96.

Spengler O. Decline of the West. New York: Knopf, 1918.

Straussfogel D. World-Systems Theory in the Context of Systems Theory: An Overview // *A World-Systems Reader: New Perspectives on Gender, Urbanism, Cultures, Indigenous Peoples and Ecology*. Lanham, 2000. P. 169–180.

Tabak F. Ars longa, vita brevis? A geohistorical perspective on Pax Mongolia // *Review*. Vol. 19 (1). 1996. P. 23–48.

Tainter J. A. Social inference and mortuary practices: an experiment in numerical classification // *World Archaeology*. 7. 1975. 1–15.

Tainter J. A. Mortuary practices and the study of prehistoric social systems // *Advances in archaeological method and theory*. Vol. 1 / Ed. by M. Schiffer. New York etc., 1978. P. 106–141.

Tamura Jitsuzo. Chugoku seitoku oche-no kenkyu [Study of Conquest Dynasties in China]. Vol. 1–3. Kyoto, 1974.

Teggart F. Rome and China: A Study of Correlation in Historical Events. Berkeley: University of California Press, 1939.

Thapar R. The State as Empire // *The Study of the State* / Ed. by H. J. M. Claessen and P. Skalnik. The Hague, 1981. P. 409–426.

Toynbee A. A Study of History. Vol. I–XII. London, 1934–1961.

Trigger B. Generalized Coercion and Inequality: The Basis of State Power in the Early Civilizations. Development and Decline // *The Evolution of Sociopolitical Organization* / Ed. by H. J. M. Claessen and P. van de Velde. South Hadley, 1985. P. 46–61.

Trigger B. Understanding Early Civilizations: A Comparative Study. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Turchin P. Historical Dynamics: Why States Rise and Fall. Princeton: Princeton University Press, 2003.

Turchin P., Hall T. Spatial Synchrony Among and Within World-Systems: Insights From Theoretical Ecology // *Journal of World-System Research*. IX (1). 2003. P. 37–64.

Ucko P. Ethnography and archaeological interpretation of funerary remains // *World Archaeology*. Vol. 1. No 2. 1969. P. 262–280.

Van Bacel M. The Political Economy of an Early State: Hawaii and Samoa Compared // *Early State Economics* / Ed. by H. J. M. Claessen and P. van de Velde. New Brunswick and London, 1991. P. 265–290.

Wallerstein I. The Modern World-System. Vol. 1. New York: Academic Press, 1974.

Wallerstein I. The politic of the world-economy. Paris: Maison de Science de l'Homme, 1984.

Wason P. K. The Archaeology of Rank. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Watson B. Records of the Grand Historian of China from the Shih Chi of Ssu-ma Ch'en. Vol. 1–2. New York: Columbia University Press, 1961.

Webb M. The Flag Follows Trade: An Essay on the Necessary Interaction of Military and Commercial Factors in State Formation. Ancient Civilization and Trade / Ed. by C. Lamberg-Karlovski and J. Sabloff. Albuguerque, 1975. P. 155–210.

Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Tubingen: Verlag von J. C. B. Mohr, 1922 (P. Siebeck).

Welskopf E. C. Die Produktionsverhältnisse im Alten Orients und in der grechisch-römischen Antike. Ein Diskussionbeitrag. Berlin, 1957.

Wittfogel K. Oriental Despotism. New Haven: Yale University Press, 1957.

Wittfogel K. A., Feng Chia-Sheng. History of Chinese Society. Liao (907–1125). Philadelphia, 1949 (Transactions of the American Philosophical Society. New series, 36).

Woina R. Weliki swiat nomadow. Warsawa: Wiedza Powszechna, 1983.

Wolf E. Europe and the Peoples without History. Berkeley: University of California Press, 1982.

Wright D. Wealth and War in Sino-nomadic Relations // *The Tsing Hua Journal of Chinese Studies*, n. s. Vol. 25. No 3. 1995. P. 295–308.

Wright H. and Johnson G. Population, exchange and early state formation in Southwestern Iran // *American Anthropologist*. 77 (2). 1975. P. 267–289.

Yamada Nobuo. Formation of the Hsiung-nu nomadic state // *Acta Orientalia Hungaricae*. XXXVI (1–3). 1982. P. 575–582.

Yu Ying-shih. Trade and Expansion in Han China. Berkeley: University of California Press, 1967.

ТҮЙІН

Кітапқа Ресейдің белгілі көшпенділертанушысы Н. Н. Крадиннің әртүрлі басылымдарда жарияланған, соңғы жылдардағы халықаралық конференциялардағы баяндамаларында айтылған неғұрлым қызықты еңбектері енгізілген. Автордың бірегей тұжырымдамасы көшпенділерге әлеуметтік эволюцияның өзіндік ерекшелігі бар жолы тән болғанын көрсетеді. Бірқатар сюжеттер көшпенділертанудың тарихнамасына, енді бір тараулар Еуразия көшпенділері тарихының, археологиясы мен этнографиясының бірқатар аспектілеріне арналған. Көшпенділер әлемінің тарихы мен мемлекеттілігі қалыптасуының теориялық мәселелеріне, тарихи процестің қазіргі заманғы теорияларына, жылнамалық деректемелердің тарихи-антропологиялық оқылуының ерекшелігіне, археологиялық материалдарға компьютерлік талдау жасаудың әдістемесіне көп көңіл бөлінген. Кітап хронологиялық тұрғыдан ежелгі замандардан қазіргі кезге дейінгі көшпенділерге — ғұндарға, моңғолдарға, буряттарға және т. б. — арналған тараулардан тұрады.

SUMMARY

This book contains the most important publications of Nikolai Kradin, the Russian researcher of the nomadic culture. They are divided into 6 parts in which the author had made his contribution in the nomadology. The original conception of the author declares that the nomads had their specific path of social evolution. The most part of the book devoted to the problems of historiography, history, archeology, ethnography in the studying of the nomadic life. The theoretical problems of the history, statehood, reading and interpretation of sources, computer analyzing of archeological data are discussing on the materials of Eurasia. Chronologically the book comes through the ancient Hsiung-nu, Turks, Jou-Jan, Liao, Mongols to the our-days' Buryats.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5	Экономика степной империи.....	123
Часть I. ИСТОРИОГРАФИЯ НОМАДИЗМА ...	9	Отношения власти	129
Глава 1. Кочевничество в современных теориях исторического процесса	11	Общественная структура	133
Марксистские периодизации	14	Эволюция социально-политической организации.....	137
Цивилизационные альтернативы марксизму	17	Суперсложное вождество и раннее государство ..	141
Культурный эволюционизм.....	25	Глава 8. Общественный строй Жужаньского каганата.....	146
Многолинейные теории.....	32	Образование каганата	148
Глава 2. Н. Н. Козьмин и дискуссия о кочевом феодализме	38	Степная империя.....	153
Глава 3. Эрнст Геллнер и дебаты о кочевом феодализме	47	Отношения с Китаем.....	156
Часть II. ТЕОРИЯ КОЧЕВОГО МИРА	59	Власть и наследование	159
Глава 4. Комплексные общества кочевников в кросс-культурной перспективе	61	Общественная структура	163
Методология исследования	65	Динамика политической организации.....	167
Источники исследования	71	Глава 9. Структура “варварской империи”: киданьская династия Ляо (907–1125)	174
Обсуждение результатов.....	77	Часть IV. СОЦИАЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ ХУННУ	195
Глава 5. Кочевничество и теория цивилизаций	86	Глава 10. Социальная структура ранних кочевников (по данным археологии).....	197
Глава 6. Роль кочевников в мир-системных процессах.....	95	Глава 11. Социальная структура населения Иволгинского городища	211
Часть III. ИСТОРИЯ КОЧЕВЫХ ИМПЕРИЙ... 109		Методология и методика исследования	212
Глава 7. Имперская конфедерация Хунну: социальная организация суперсложного вождества	111	Список признаков	214
Образование Хуннской державы.....	115	Социальный состав Иволгинского могильника	220
		Социальная топография Иволгинского городища.....	231
		Глава 12. Степная Бурятия в составе Хуннской империи	250
		Часть V. АНТРОПОЛОГИЯ ВЛАСТИ ЧИНГИЗ-ХАНА.....	261
		Глава 13. Власть в империи Чингиз-хана с точки зрения престижной экономики	263

Глава 14. Монгольская империя и дискуссия о происхождении государственности у кочевников..... 272

Глава 15. Чингиз-хан и доиндустриальная глобализация: мир-системная перспектива 287

Часть VI. ЭТНОЛОГИЯ АГИНСКИХ БУРЯТ 307

Глава 16. Кочевое хозяйство агинских бурят во второй половине XIX — начале XX века..... 309

Глава 17. Трансформация бурятского скотоводства: пример Агинских степей..... 332

Количество животных и структура стада 333

Организация выпаса и перекочевки 337

Трансформация бурятского скотоводства 340

Современная организация пасторального хозяйства:

пример колхоза Кункур 342

Глава 18. Складывание патронажно-клиентных отношений в современном скотоводческом хозяйстве агинских бурят..... 347

Заключение 355

Литература 366

Түйін 410

Summary 411

ББК 63.3 (5 Каз)

К 78

Крадин Н. Н.

Кочевники Евразии. — Алматы: Дайк-Пресс, 2007. — 416 с.

ISBN 9965-798-46-X

В данную книгу включены наиболее интересные работы известного русского кочевниковеда Н. Н. Крадина, опубликованные в различных изданиях, а также прочитанные в качестве докладов на международных конференциях последних лет. Оригинальная авторская концепция показывает, что для кочевников был характерен особый, своеобразный путь социальной эволюции. Ряд сюжетов посвящен историографии кочевниковедения, другие разделы — различным аспектам истории, археологии и этнографии кочевников Евразии. Большое внимание уделено теоретическим вопросам истории кочевого мира и происхождения государственности, современным теориям исторического процесса, специфике историко-антропологического прочтения летописных источников, методике компьютерного анализа археологических материалов. Хронологически книга включает разделы, посвященные кочевникам самых различных эпох — от древности до наших дней: хунну, монголам, бурятам и др.

Книга предназначена для историков, этнографов-антропологов, археологов, а также для всех, кто интересуется далеким прошлым мира кочевников-скотоводов. Книга может использоваться в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений.

К 0503020905
00 (05) — 07

ББК 63.3 (5 Каз)

ISBN 9965-798-46-X

Научное издание

“КАЗАХСТАНСКИЕ ВОСТОКОВЕДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ”

Серия основана в 1998 году

Крадин Николай Николаевич

Кочевники Евразии

Редактор Н. Галкина

Корректор Н. Леонова

Художник К. Карпун

Компьютерная верстка Г. Шаккозовой

Подписано в печать 5.09.2007 г. Формат 60x84/16.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура “Академия”.

Усл. печ. л. 26,0. Уч.-изд. л. 24,11

Тираж 1000 экз. Заказ №980.

Издательство “Даик-Пресс”,

050010, г. Алматы, ул. Курмангазы, 29.

Тел.: 261-28-35, 261-32-75

e-mail: daikpress@mail.ru, daiksof@mail.ru

Директор **Б. А. Казгулов**

ISBN 9965-798-46-X



9 789965 798467

Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика на Полиграфкомбинате

ТОО «Корпорация «Атамұра»

Республики Казахстан,

050002, г. Алматы, ул. Макатаева, 41